



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

891.78

T650

Z47ru

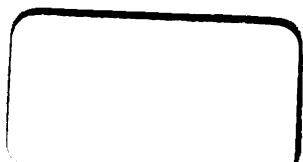
1888a

v. 5

PROPERTY OF
*University of
Michigan
Libraries*

1817

ADTES SCIENTIA VERITAS



pl 5
Zelma

**THIS "O-P BOOK" IS AN AUTHORIZED REPRINT OF THE
ORIGINAL EDITION, PRODUCED BY MICROFILM-XEROX BY
UNIVERSITY MICROFILMS, INC., ANN ARBOR, MICHIGAN, 1963**

Zelinskiĭ, Vasilĭi Apollanovich.

РУССКАЯ

КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНИЯХЪ

Л. Н. ТОЛСТОГО.

**ХРОНОЛОГИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ КРИТИКО-
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.**

Часть пятая.

СОВРАЛЪ

В. Зелинскій.

МОСКВА.

Типографія А. Г. Кольчугина, Волхонка, д. Михайлова.

1897.

891.78
T650
Z47m
1888a
v.5

W.O. 11280 O.P 8481 PART 5.

КНИГИ, СОСТАВЛЕННЫЯ И ИЗДАННЫЯ

Василіемъ Аполлоновичемъ Зелинскимъ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМЪ МЕТОДИКИ РУССКАГО ЯЗЫКА.

I. Пособія по изученію русскаго языка:

1. Справочникъ по русскому правописанію, съ приложеніемъ орфографическаго словаря и полного списка коренныхъ и производныхъ словъ, въ которыхъ пишется буква Ъ. Составленъ по „Руководству“ Академіи Наукъ. Выпускъ I. Изд. 8-е. М. 1895 г. Ц. 50 к.

Примѣчаніе. Эта книга, выдержавшая въ короткое время восемь изданій, обнимаетъ всѣ этимологическіе случаи правописанія. Она состоитъ изъ орфографическихъ правилъ, орфографическаго словаря и списка всѣхъ словъ съ буквою ъ. Изложеніе ея алфавитное, — почему она полезна даже незнакомымъ съ грамматикой. Справляться по ней очень просто: при помощи приложеннаго „Указателя“ открывается страница на букву, которая служитъ предметомъ затрудненія въ какомъ либо словѣ, и тутъ въ указанномъ § читается отвѣтъ. Легкость и быстрота справки упрощается еще тѣмъ, что справляться можно и подъ буквами, которыя слѣдуетъ писать въ данномъ случаѣ, и подъ буквами, которыя только предполагаются въ томъ же случаѣ, а равно и подъ буквой, начинающей данное слово. Какъ, напр., написать: извозчикъ, извощикъ, извозчикъ, извощикъ или изножникъ? Справляйтесь подъ любой изъ сомнительныхъ буквъ: з, с, ч, ш, а также и въ орфографическомъ словарѣ подъ буквой и — вслѣдъ получится отвѣтъ. По отзывамъ преподавателей русскаго языка, эта книга весьма полезна учащимся при исполненіи ими письменныхъ работъ не только дома, но и въ классѣ, такъ какъ при небольшомъ навыкѣ, приобретающемся нешею чѣмъ въ часѣ, справка по ней дѣлается въ нѣсколько секундъ.

2. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ II. Указатель (систематическій и алфавитный) при разстановкѣ знаковъ препинанія. Изд. 2-е. М. 1895 г. Ц. 50 к.

3. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ III. Корнесловъ русскаго языка. Изд. 2-е. М. 1896 г. Ц. 50 к.

4. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ IV. Правописание, этимологическое происхожденіе и объясненіе иностранныхъ словъ, наиболѣе употребляющихся въ русскомъ литературномъ языкѣ. М. 1898 г. Ц. 50 к.

5. Грамматическій задачникъ для письменныхъ и устныхъ упражненій по русскому языку. Припособленъ къ элементарной грамматикѣ К. Гонорова. Изд. 3-е. М. 1893 г. Ц. 25 к.

6. Зрительный диктантъ. Самодиктованіе и самоисправленіе. Новая система для практическаго самоизученія русскаго правописанія. Часть первая. Изд. 7-е. М. 1897 г. Ц. 50 к.

7. Зрительный диктантъ. Часть вторая. Знаки препинанія. Изданіе 4-е. М. 1896 г. Ц. 40 к.

Задачи и цѣли „Зрительнаго диктанта“. Удовлетворяя всѣмъ требованіямъ, какия обыкновенно предъявляются къ сборникамъ для систематическихъ диктовокъ со слуха, это руководство, сверхъ того, имѣетъ еще слѣдующія особенности: 1) оно представляетъ собою неразрывно-соединенную практику орфографіи съ ея теоріей; 2) кромѣ послѣдовательнаго, изученія орфографіи, тутъ

РУССКАЯ
КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
О ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ
Л. Н. ТОЛСТОГО.

**ХРОНОЛОГИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ КРИТИКО-
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.**

5
Часть пятая.

СОСТАВЛЪ
В. Золотокій.



МОСКВА.
Типографія А. Г. Кольчугина, Волхонка, д. Михайлова.
1897.

slav 4354.2.1020

✓

61-314591

Sept. 9, 1943

Prof. George R. Lewis

1621
43-214
36-2

Оглавленіе.

Критика шестидесятихъ годовъ.

„Война и Миръ“.

Критическія статьи 1869 года:

М. Драгомирова. „Война и Миръ съ военной точки зрѣнія“	1
Изъ „Сѣверной Пчелы“. „1812 годъ въ Войнѣ и Мирѣ“	29
Изъ „Виржевыхъ Вѣдомостей“. „Герои отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому“	30
Изъ „Сына Отечества“. „Новыя книги“. Статья А. Х.	
Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“. „Новыя книги. Война и Миръ, соч. гр. Л. Н. Толстого, т. V. Статья Z (В. Буренина)	82
Изъ „Голоса“. „Библиографія“. Статья Ю—ова.	97
„Сѣверной Пчелы“. „Война и Миръ (по поводу романа гр. Л. Н. Толстого)“. Статья Н. С—ва.	108
П. Ахшарумова. „Война и Миръ, сочиненіе гр. Толстого, томъ V“	116
Изъ „Всѣобщей Газеты“. „Война и Миръ“. Статья Книжника.	136
Изъ „Русскаго Инвалида“. „Библиографическія замѣтки. Война и Миръ, V томъ.	141
Г. Даниловскаго. „Историки-очевидцы“	143
Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“. „Журналистика“. Статья Z (В. Буренина).	146
Изъ „Голоса“. „Московская жизнь“. Статья С. П.	148
Изъ „Новороссійскаго Теллографа“. „Война и Миръ, томъ шестой“. Статья А. Воишинникова.	149
Изъ „Голоса“. „Библиографія. Война и Миръ. Соч. гр. Л. Н. Толстого, т. VI.	157

Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“. „Война изъ-за Войны и Мира“. Статья До-Пуло.	167
Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“. „Журнали- стика“. Статья Z (В. Буренина).	175
Изъ „Петербургской Газеты“. „Послѣднее слово о Войнѣ и Мирѣ“. Статья П. П.	176
П. Страхова. Отрывокъ изъ обширной статьи его, напечатанной въ „Зарѣ“.	178

Критика семидесятихъ годовъ.

Критическія статьи 1870 года:

Изъ „Новороссійскаго Телеграфа“. „Война и Миръ. Соч. гр. Л. П. Толстого. Томъ шестой“. Статья А. Вонциникова.	189
Изъ „Петербургской Газеты“. „Шестой томъ ро- мана <i>Война и Миръ</i> , соч. гр. Л. П. Толстого. Статья П.	209
Изъ „Русскаго Инвалида“. „Война и Миръ, т. VI. Сочиненіе гр. Толстого. Статья ***.	214
Изъ „Сына Отечества“. „Новыя книги“. Статья з-ъ.	218
Изъ „Военнаго Сборника“. „Военныя сцены изъ ро- мана <i>Война и Миръ</i> , графа Толстого, т. VI“.	223
Изъ „Вирженныхъ Вѣдомостей“. „Война и Миръ“. Сочиненіе графа Л. Н. Толстого. Томъ ше- стой. Москва 1869 г.“	237

КРИТИКА ШЕСТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

„Война и Миръ“.

*) Авторъ „Войны и Мира“ не ограничивается однимъ изображеніемъ военныхъ сценъ и военныхъ типовъ, но вдается и въ теоретическія разсужденія по поводу такихъ, напр., вопросовъ: возможна ли какая-нибудь теорія въ военномъ искусствѣ? Какое значеніе главнокомандующаго въ арміи? Какія причины вызвали міровое движеніе 1812 года? Рѣшенія на эти вопросы даетъ иногда онъ самъ, иногда герой его романа, кн. Андрей. Въ разборѣ мнѣніи относительно этихъ вопросовъ намъ придется нѣсколько повторяться, такъ какъ одна и та же мысль повторяется иногда по нѣскольку разъ и въ сочиненіи, только въ измѣненной формѣ.

Хотя во взглядахъ кн. Андрея и автора есть много общаго, но отдѣлять эти взгляды необходимо, по той причинѣ, что кн. Андрей, и по своимъ личнымъ свойствамъ, и по времени, въ которое жилъ, не могъ смотрѣть на нѣкоторыя вещи иначе, какъ заставляетъ его авторъ смотрѣть на нихъ. При томъ же авторъ—живописецъ; кн. Андрей мечталъ быть практическимъ дѣятелемъ: вслѣдствіе этого односторонняго разсужденія того и другого объясняются причинами совершенно различными, что при разборѣ не-

*) „Оружейный Сборникъ“ 1869 г., № 1. Статья М. Драгомирова, подъ заглавіемъ: „Война и Миръ“ съ военной точки зрѣнія“.

обходимо принимать въ расчетъ. То, что въ кн. Андреѣ является слѣдствіемъ жизненныхъ неудачъ, въ авторѣ есть не болѣе, какъ увлеченію, неизбежное въ художникѣ, когда онъ выходитъ изъ сферы творчества, свойственной его таланту.

Кн. Андрей принадлежитъ къ числу тѣхъ, порѣдко встречаемыхъ характеровъ, которые, по странному капризу природы, представляютъ соединеніе громадныхъ претензій съ недостаткомъ силъ для ихъ удовлетворенія. Гр. Толстой воспроизвелъ этотъ типъ художественно вѣрно; несмотря на всю свою симпатію къ кн. Андрею, онъ выставилъ этого послѣдняго, опрометчивымъ, рѣшающимъ вопросы, иногда очень сложные, съ плеча, способнымъ отъ природы, но пустымъ въ практическомъ смыслѣ—*capable de tout et pigré à rien* *), какъ говорятъ французы. Не подвинувъ авторъ своему герою, но распорядился какъ истинный художникъ: взявъ извѣстныя данныя характера, онъ безпопачно до конца развилъ всѣ ихъ послѣдствія. Просимъ припомнить появленію кн. Андрея на сцену: въ свѣтъ онъ щурится, одна отвѣчаетъ, всѣхъ и вся третируетъ съ высоты своего величія; передъ вами человѣкъ, который изъ всѣхъ силъ бьется, чтобы не быть, а казаться, который играетъ роль, который не есть сила, а только претензія на силу. Замѣтная пустота сферы, къ которой принадлежалъ, кн. Андрей уже и это вмѣнилъ себѣ въ особенную заслугу: иначе онъ бы не рисовался такъ своимъ презрѣніемъ, не старался бы съ такой аффектаціей его проявлять.

Открывается война 1805 года: кн. Андрей, не стѣняясь, пользуется привилегіями той среды, которую, повидимому, такъ презираетъ, и поступаетъ адъютантомъ къ Кутузову, съ мечтою обрѣсти на полѣ сраженія свой „Тулонъ“, т. е. попасть въ Наполеоны. А въ ожиданіи Тулона, кн. Андрей, сдѣлавшись адъютантомъ, весьма легко и скоро усвоиваетъ себѣ права передней главнокомандующихъ, примѣняя къ дѣлу „неписанную“ субординацію не

*) Ко всему способнымъ, ни на что негоднымъ. См. „Оруж. Сборникъ“ 1868 г., № 4.

хуже любого Жеркова. Вместе съ тѣмъ, какъ личность, по своему собственному убѣжденію высокоодаренная, онъ считаетъ для себя лишнимъ то тяжелое, трудовое пребываніе въ подмастерьяхъ, которое одно дѣлаетъ мастеромъ: онъ, не выдавши ни разу войны лицомъ къ лицу, является на нее съ готовыми и законченными военными взглядами.

Прочитавъ, съ грѣхомъ пополамъ, съ полдюсятка Фулей подъ разными заглавіями и фаміліями, онъ вообразилъ, что знаетъ до такой степени глубоко военное дѣло, что, выйдя на практику, можетъ только другихъ учить, по самому ему учиться нечему.

По счастливой случайности, онъ попадаетъ въ завидное положеніе: получаетъ возможность наблюдать шагъ за шагомъ работу такихъ учениковъ суворовской школы, какъ Кутузовъ, Багратионъ. Кажется, чего лучше? Присматривайся, размышляй, и вводи въ свои теоретическіе взгляды тѣ поправки, которыя даетъ высшая изъ книгъ—книга жизни. Не тутъ то было: какъ неисправимый доктринеръ, онъ не можетъ допустить мысли, что онъ ошибается; нѣтъ, скорѣе лжетъ жизнь.

И вотъ онъ удивляется ничеюнедѣлянью Багратиона, собирается заявить свой планъ Аустерлицкаго сраженія на военномъ совѣтѣ, въ который попалъ не по праву, а по личнымъ отношеніямъ къ Кутузову. А факты, между тѣмъ, развиваются своимъ чередомъ, обнаруживая несостоятельность и военныхъ взглядовъ и претензій кн. Андрея. Ничего нѣтъ удивительнаго послѣ этого, что онъ, убѣдившись изъ горькаго опыта, какъ трудно съ одного скачка попасть въ Наполеоны, начинаетъ проповѣдовать, что и Наполеонъ — вздоръ, и дѣло, которымъ этотъ послѣдній такъ геніально орудовалъ,—тоже вздоръ.

Иначе и быть не могло: кн. Андрей до такой степени вѣровалъ въ свои таланты и неогрѣшимость, что, извѣдавъ несостоятельность *своей* теоріи, неминуемо долженъ былъ придти къ выводу, что и не можетъ быть никакой теоріи въ военномъ дѣлѣ. Искать, двадцать разъ падать и двадцать разъ подниматься, проходя черезъ всю муку со-

миѣній и разочарованій,—было не въ натурѣ кн. Андрея. Богъ знаетъ почему, онъ воображалъ, что ему все должно легко даваться. Самъ онъ говоритъ, хотъ и по другому поводу, что *онъ прощать не способенъ*; какъ же ему было простить теоріи военнаго искусства? Вѣдь, онъ такъ жестоко на ней оѣлся...

Жаль его: человѣкъ честный, до извѣстной степени; пожалуй, даже способный и съ характеромъ; но практически пустой. Ищетъ онъ своего призванія вездѣ; но нигдѣ его не находитъ, нигдѣ, такъ сказать, корней пустить не можетъ; однимъ словомъ — маленькій великій человѣкъ, ко всему способный, ни на что негодный.

Правда, онъ былъ живымъ упрекомъ Кутузову въ Бухарестѣ по своей дѣятельности, и сдѣлалъ много практическихъ нововведеній у себя въ деревнѣ; но авторъ *разсказываетъ это отъ себя*, не обрисовывая своего героя въ сказанныхъ двухъ положеніяхъ ни одной сценой.

По нашему миѣнію, это признакъ большого художественнаго такта со стороны автора: сцены, въ которыхъ кн. Андрей явился бы плодотворнымъ практическимъ дѣятелемъ, были бы диссонансомъ въ общемъ обликѣ этого характера: авторъ отъ нихъ и воздержался.

Позволяемъ себѣ думать, что въ этой характеристикѣ кн. Андрея мы ничего не навязали ему отъ себя; факты взяты изъ творенія гр. Толстого; намъ принадлежитъ только освѣщеніе тѣхъ сторонъ ихъ, которыя авторъ оставилъ въ тѣни, изъ чувства совершенно понятной симпатіи къ своему герою.

Послѣ всего сказаннаго станетъ понятно, почему кн. Андрей относился къ дѣлу, въ которомъ ему не повезло, съ предвзитою, хотъ, можетъ быть, и незавѣдомою для него, т. е. совершенно искреннею, односторонностью. Онъ долженъ былъ: или признать возможность искусства въ военномъ дѣлѣ и свое въ немъ неискусство, или же оставаться при вѣрѣ въ свои великія способности, и тогда отрицать возможность военнаго искусства и военнаго гонія. Онъ выбралъ, конечно, послѣднее. Это подтверждается вполнѣ

двумя мѣстами IV части „Войны и Мира“, въ которыхъ кн. Андрей высказываетъ свои военные взгляды. Первое изъ нихъ — размышленіе кн. Андрея по поводу военнаго совѣта, имѣвшаго слѣдствіемъ оставленіе Дрисскаго лагеря; второе — разговоръ его съ гр. Пьеромъ на Бородинскомъ полѣ...“ (Далѣе слѣдуетъ выписка изъ романа, начинающаяся словами: „Пренія продолжались долго, и чѣмъ дольше они продолжались, тѣмъ больше разгорались споры...“ Выписка кончается словами: „И только въ этихъ рядахъ можно служить съ увѣренностью, что ты полезенъ!“).

„Не трудно видѣть, что эта тирада не имѣетъ собственно никакого отношенія къ Дрисскому военному совѣту, а есть плодъ болѣзненно-желчнаго настроенія, охватившаго кн. Андрея послѣ неудачной попытки попасть въ Наполеоны, и съ тѣхъ поръ его не покидаващаго. Дѣйствительно: если неурядица этого военнаго совѣта и могла привести безпристрастнаго членѣмъ къ какому-либо заключенію, то развѣ къ тому, которое о совѣтахъ высказано еще Евгениемъ Савойскимъ: *„лучшее средство ни на что не рѣшиться—это спросить мнѣніе у военнаго совѣта *).* Поэтому то военные люди, понимающіе какъ дѣла дѣлаются, собираютъ совѣты не за тѣмъ, чтобы получить отъ нихъ рѣшеніе, а напротивъ—затѣмъ, чтобы вдохнуть въ нихъ свою собственную рѣшимость. Таковъ былъ совѣтъ Кутузова въ Филяхъ, Наполеона послѣ Аспернской неудачи, Фридриха передъ Лейтенскимъ сраженіемъ. Всякому извѣстно, что въ собраніи сколько головъ, столько и умовъ: нечего, слѣдовательно, и ожидать отъ собранія постановки какой нибудь одной мысли или цѣли: это принадлежность единичной головы; собраніе, въ свою очередь, получивъ мысль, разрабатываетъ подробности ея осуществленія и разноситъ ее по всему воинскому организму. Дрисскому совѣту предоставлена была роль, совѣту посвойственная, и будь онъ составленъ не изъ Армфельдовъ, Фулей и проч., а хоть изъ Наполеоновъ,—онъ ни къ чему иному не привелъ бы, кромѣ пустыхъ, безплодныхъ споровъ и пререканій.

*) Un général, ayant envie de ne rien entreprendre, n'a qu'à tenir conseil de guerre.

Военное искусство тутъ ни при чемъ. Князю же Андрею кажется, будто неурядица этого совѣта служить подтвержденіемъ того, что нѣтъ и не можетъ быть ни науки, ни теоріи въ военномъ дѣлѣ, ни, наконецъ, военнаго генія *): но очевидно ли, что дѣло тутъ не въ совѣтѣ, но въ томъ либо другомъ фависѣ военнаго дѣла, а въ томъ только, чтобы лишній разъ сказать себѣ, что нѣтъ ни военнаго искусства ни военнаго генія? Развитію рѣчи вполнѣ подтверждаетъ это: чтобы увѣрить себя въ несуществованіи противной теоріи военнаго искусства, кн. Андрей опирается, между прочимъ, и на то даже, что у всякаго изъ присутствовавшихъ былъ свой особенный планъ на одно и то же дѣло: неужели же ему была недоступна та простая и осязательная мысль, что къ каждой практической цѣли ведутъ тысячи путей, и что дѣло въ томъ, чтобы дойти до нея, а не въ томъ, что бы дойти непременно извѣстнымъ путемъ? Въдѣ, и въ математикѣ одно уравненіе со многими неизвѣстными получаетъ безчисленное множество рѣшеній; въдѣ, и математика не даетъ правилъ на то, какъ составлять изъ вопроса уравненіе; но слѣдуетъ ли изъ этого, что теорія математики не имѣетъ положительнаго значенія?

Смѣшанъ понятія о наукѣ и о теоріи, кн. Андрей силится доказать, что въ военномъ дѣлѣ нѣтъ ни науки ни теоріи, и, следовательно (!), не можетъ быть военнаго генія: опять выводъ, показывающій одно, что кн. Андрей былъ неспособенъ что-бы то ни было разобрать послѣдовательно и безъ логическихъ скачковъ. Во первыхъ, наука и теорія вовсе не одно и то же **), ибо теорія возможна и необходима во всякомъ искусствѣ; наука же въ немъ немислима. Во вторыхъ, чѣмъ труднѣе какое-либо дѣло, тѣмъ рѣже возможны мастера изъ немъ, и тѣмъ болѣе они принадлежатъ къ категоріи тѣхъ исключительныхъ личностей, которыхъ называютъ геніями.

*) Мы думаемъ наоборотъ, что неурядица Дрисскаго военнаго совѣта лучше всего показываетъ значенію теоріи военнаго дѣла, ибо, зная ее, не забыли бы и того, чего можно ожидать отъ военнаго совѣта и чего нельзя.

**) Въ томъ смыслѣ, что всякая наука есть теорія; но не всякая теорія можетъ быть наукой.

которые были способны въ совершенствѣ дѣлать эту столь простую для кн. Андрея вещь; которые, имѣя дѣло съ такой силой, что сегодня 5 т. стоятъ 20 т., а завтра тѣ же 5 т. не будутъ стоять и 200 человѣкъ, умѣли устроить такъ, что ихъ 5 т., если не всегда, то въ большей части случаевъ стоили 20-ти т. непріятельскихъ?

Трудность не въ томъ, чтобы *сделать* подвезти сухари, а въ томъ, чтобы *предвидѣть*, куда ихъ подвезти; не въ томъ, чтобы идти тому направо, тому налѣво, а чтобы разгадать, *почему* это нужно сдѣлать такъ, а не иначе, и разгадать при какой обстановкѣ? Именно подъ вліяніемъ „тѣхъ безчисленныхъ условій, значенію которыхъ опредѣляется въ одну минуту, про которую никто не знаетъ, когда она наступитъ“—это признаетъ самъ же кн. Андрей. И все это дѣлается не наизусть, а основываясь на гипотезахъ, выведенныхъ часто изъ самыхъ противорѣчивыхъ и неопредѣленныхъ данныхъ; нужно, слѣдовательно, обладать даромъ прозрѣнія, чтобы не понасть въ самый позорный просакъ; нужно имѣть, наконецъ, настолько воли, чтобы рѣшиться быстро на распоряженія; а между тѣмъ отъ нихъ зависитъ судьба сотенъ тысячъ головъ, иногда государства, и собственная будущность распорядителя. А въ это время къ нему всякій лѣзетъ: кто съ претензіей, кто съ докладомъ, кто съ пріятнымъ допесоніемъ, что по новымъ извѣстіямъ все то, на чемъ онъ основалъ свои распоряженія, оказывается вздоромъ.

Принимая только это въ расчетъ, не трудно видѣть, что плавать — не говоримъ хорошо, а хоть какъ-нибудь въ этомъ морѣ путаницы, безтолковщины, суеты, интригъ, противорѣчій, могутъ только люди далеко недюжинные.

Князь Андрей какъ будто и самъ почувствовалъ, что, начавъ съ этого конца, пожалуй докажешь обратное тому, что хочется доказать, и вслѣдствіе этого перемѣняетъ дирекцію, обращаясь къ разбору личныхъ качествъ лучшихъ генераловъ, ему извѣстныхъ. Выходитъ у него, что все это—глуные или разсѣянные люди.

Уловка, къ которой кн. Андрей прибѣгаетъ, чтобы убѣ-

тѣхъ людей, которые не только дѣлали войну, но и думали о ней.

Завирались въ теоріи, именно потому, что весьма рѣдкіе изъ теоретиковъ войну видѣли: но кн. Андрой видѣлъ ее: и если онъ пришелъ къ такимъ страннымъ выводамъ, то это могло произойти только отъ одного: онъ слишкомъ былъ поверхностенъ, чтобы здраво судить о войнѣ. Съ его стороны, для здравыхъ выводовъ, не требовалось даже особенной теоретической силы, оригинальности ума, а только знакомство съ тѣмъ, что писали о войнѣ такіе люди, какъ маршалъ Саксонскій, Ллойдъ, Фридрихъ В. Но кн. Андрей, какъ дипломатъ, вѣроятно, не любилъ заглядывать въ старыя книги, а предпочиталъ черпать свою мудрость изъ модныхъ, современныхъ ему, произведеній.

Чѣмъ дальше развивается размышленіе кн. Андрея надъ темой, составлявшей, такъ сказать, большое мѣсто его натуры, тѣмъ онъ болѣе раздражается; дойдя до личнаго вопроса въ этой темѣ (можетъ или не можетъ быть военный гений), онъ просто переходитъ въ брань: военную геніальность сочинили подлецы, которые льстятъ власти! Опять доказательство, что тутъ дѣло шло о томъ только, чтобы позабавить личную свою раздражительность, а вовсе не о томъ, чтобы получить вѣрный выводъ. Къ кому даже и то въ голову не пришло, что полководцевъ были тысячи, а геніальность признапа только за восемью или девятью изъ нихъ. И до чего можетъ доходить абберрація ума при подобномъ внутреннемъ состояніи, кн. Андрей доказываетъ великолѣпно: вся та страшно трудная обстановка всякаго военного предпріятія, которую можетъ уяснить себѣ и выйти изъ нея побѣдителемъ только человѣкъ дѣйствительно изъ ряда вонъ выходящій, кажется кн. Андрею, напротивъ, аргументомъ въ пользу того, что военная геніальность помыслима! „Развѣ гоній“, восклицаетъ онъ, и тотъ человѣкъ, который во время умѣетъ велѣть подвезти сухари и итти тому направо, тому налѣво?“ Какъ же какъ не геніемъ, спросимъ мы, назвать его, если за всю историческую жизнь человѣчества можно насчитать всего восемь-девять человѣкъ,

способенъ отгадать намеренія противника, иногда во всемъ ихъ объемъ? Для всякаго рода геніальности требуется сильное развитіе одной какой-либо или нѣсколькихъ, но далеко не всѣхъ сторонъ души человѣческой. Съ точки зрѣнія князя Андрея, можно вообще отрицать существованіе геніальности. Дѣйствительно: возьмемъ, наприм., геніальнаго поэта, который умѣетъ любить, нѣженъ до крайности и способенъ пытливо сомнѣваться; объ немъ можно также сказать: что же это за геній? У него нѣтъ даже настолько воли, чтобы не подчиняться своему лакею или ключнику; а воображеніе до того беретъ у него перевѣсъ надъ умомъ, что онъ на каждомъ шагѣ дѣлаетъ себѣ изъ мухи слона. Такимъ путемъ можно отрицать, что угодно; скажутъ вамъ: какая талантливая танцовщица! Помилюйте, возразите вы: да она ни одной ноты вамъ не возьметъ! — Какой великій музыкантъ! — Нѣсколько не великій: онъ всю жизнь не только не написалъ ни одной картины, но даже кисти не умѣетъ взять въ руки! Способный дѣлать подобные приговоры, конечно, будетъ правъ, ибо фактъ можетъ быть дѣйствительно вѣренъ: танцовщица можетъ не имѣть понятія о пѣніи, музыкантъ о живописи. Но составляетъ ли это недостатокъ для той спеціальности, въ которой они сильны? Вотъ въ чемъ вопросъ; къ сожалѣнію, для людей, разсуждающихъ подобно кн. Андрею, этотъ вопросъ останется навсегда неностижимымъ.

„Заслуга въ военномъ дѣлѣ зависитъ не отъ нихъ (полководцевъ), а отъ того человѣка, который въ рядахъ закричитъ: пропали! или закричитъ: ура! И только въ этихъ рядахъ можно служить съ увѣренностью, что ты полезенъ!“

Вслѣдствіе этого послѣдняго вывода кн. Андрей рѣшается взять полкъ въ армію, хотя и командиръ полка едва ли много подѣлаетъ съ любовью, поэзіей, нѣжностью и философскимъ пытливымъ сомнѣніемъ.

Кн. Андрей совершенно правъ, утверждая, что въ послѣдней инстанціи успѣхъ или неудача въ военномъ дѣлѣ зависитъ отъ солдатскаго ура! или: пропали! И что иногда 5 т. стоятъ 30, какъ подъ Голлабрюномъ, а иногда 50 т.

бѣгутъ передъ 8-ю, какъ подъ Аустерлицемъ; но въ этомъ случаѣ, какъ и въ другихъ, онъ говоритъ, да не договаривается: и не договаривается именно настолько, сколько ему нужно для того, чтобы получить не тотъ выводъ, который слѣдуетъ по природѣ дѣла, а тотъ, который получить желательно.

Отчего-же происходитъ, что въ однихъ войскахъ чаще случается ура! а въ другихъ—пропали? Въдь, если бы это была чистая случайность, ей не было бы резона повторяться чаще въ одной, нежели въ другой арміи? Отвѣтъ на это одинъ: „ура“ и „пропали“ зависятъ отъ умѣнья или неумѣнья начальника поднять нравственный уровень своихъ войскъ до той степени, на которой они являются менѣе подверженными вліянію неожиданностей. Отчего у Суворова никогда не бѣгали, у Награтіона подъ Голлабрюномъ тожо не побѣжали, а подъ Аустерлицемъ побѣжали? Слѣдовательно, „ура“ и „пропали“ являются вовсе не такою случайностью, какъ то кажется кн. Андрею. У начальника, владѣющаго даромъ поддерживать нравственное настроеніе войскъ на пзвѣстной высотѣ, „пропали“ станеть если не совершенно немыслимою, то во всякомъ случаѣ весьма рѣдкою случайностью. Все это фактъ неопровержимый и очевидный для всякаго безпристрастнаго наблюдателя. Къще древніе подмѣтили эту зависимость настроенія массы отъ способностей *одного*, выразивъ ее чрезвычайно мѣтко поговоркой: *лучше армія барановъ, предводимая львомъ, чѣмъ армія львовъ, предводимая бараномъ*. И что это такъ, кн. Андрей видѣлъ подъ Голлабрюномъ, или, по крайней мѣрѣ, могъ бы видѣть, если бы добивался правды, а не разсуждалъ бы только изъ-за желанія убѣдить себя въ томъ, что болѣе пріятно его самолюбію.

Въ своемъ разговорѣ съ Пьеромъ кн. Андрей продолжаетъ развивать ту же теорію, что дѣло зависитъ только отъ тѣхъ, которые стрѣляютъ и колютъ, а нисколько не отъ тѣхъ, которые назначаютъ первымъ куда стрѣлять и кого колоть... „Тѣ, съ кѣмъ ты ѣдешь по позиціи“, говоритъ онъ Пьеру, „не только не содѣйствуютъ общему ходу дѣла, но мѣшаютъ ему“.

Пьеръ ѣздилъ по позиціи съ Беннигсеномъ и его свитою, и тутъ кн. Андрей былъ правъ; но какъ и во всемъ прочемъ, онъ не правъ тѣмъ, что по частному случаю дѣлаетъ общіе выводы. Беннигенъ, можетъ быть, дѣйствительно болѣе мѣшалъ, нежели помогать; но Кутузовъ, Багратионъ, Ермоловъ, Раевскій не мѣшали. Въ этомъ и бѣда кн. Андрея, что когда ему нужно доказать, что распорядители мѣшаютъ, а не помогаютъ, онъ выставляетъ Беннигсена, забывъ всѣхъ прочихъ; если нужно доказать, что способные боевые люди разсѣяны или глупы, онъ, не прибавивъ даже и въ чемъ глупы, сошлется на Багратиона, забывъ Кутузова, Ермолова и т. д. „Успѣхъ никогда не зависѣлъ и не будетъ зависѣть ни отъ позиціи, ни отъ вооруженія, ни даже отъ числа; а ужъ меньше всего отъ позиціи.

— А отъ чего же?

— Отъ того чувства, которое есть во мнѣ, въ немъ, — онъ указалъ на Тимохина, — и въ каждомъ солдатѣ. И которое находитъ поддержку въ позиціи, въ вооруженіи, въ числѣ, въ распоряженіяхъ, прибавимъ отъ себя.

Кн. Андрей говоритъ совершенно вѣрно о роли, которую играетъ духъ войскъ въ успѣхѣ или неудачѣ боя.

Но онъ какъ бы не понимаетъ того, что нравственное настроеніе, какъ сила высшая, складывается именно изъ всѣхъ тѣхъ мелочей, которыя, по его мнѣнію, не имѣютъ къ ней никакого отношенія. Всѣ эти мелочи (для кн. Андрея) относятся къ нравственному настроенію, какъ причины къ слѣдствію, или какъ силы составляющія — къ равнодѣйствующей. Тѣ, которые судятъ объ этомъ дѣлѣ не поверхностно, не по первому впечатлѣнію, тѣ очень хорошо это понимаютъ: припомнимъ замѣчаніе Трошю на счетъ чрезвычайной чувствительности нравственнаго настроенія. Ему и въ голову не придетъ противопоставлять это настроеніе не только такимъ даннымъ, какъ вооруженіе, число, позиція, но даже и такимъ, какъ избытокъ холода или тепла. Каждая изъ этихъ силъ, сама по себѣ, можетъ иногда и не имѣть особеннаго вліянія; но бѣда въ томъ, что онѣ порознь не ходятъ, а дѣйствуютъ совмѣстно и современно. Солдатъ,

самый неразвитой, когда дѣло доходитъ до боя, жадно прислушивается ко всѣмъ толкамъ, которые ходятъ въ арміи,—это гр. Толстой подмѣтилъ весьма вѣрно въ своемъ приступѣ къ аустерлицкому бою. Солдаты становятся чрезвычайно воспримчивы къ этимъ толкамъ; если это такъ, то какимъ же чудомъ спасетъ онъ свою самоувѣренность и бодрость, если, напр., узнаетъ, что у него оружіе хуже, чѣмъ у непріятеля, или что-нибудь въ этомъ родѣ? Мы согласны, что подъ Бородиннымъ изъ всѣхъ этихъ составляющихъ самую сильною было то патріотическое раздраженіе, которое заставляло нашихъ видѣть во всякомъ французѣ личнаго врага; но изъ того, что это раздраженіе было преобладающею силою, вовсе не слѣдуетъ, чтобы значеніе другихъ силъ приводилось къ нулю. Не пріученный къ серьезному разбору фактовъ, расположенный обо всемъ дѣлать заключенія по первому непродуманному впечатлѣнію, кн. Андрей и здѣсь замѣтилъ только ту составляющую нравственнаго настроенія, которая рѣзко била въ глаза; и замѣтилъ тѣмъ легче, что это давало ему возможность своротить на свою любимую тему — ничтожность въ бою личностей руководящихъ. При большей привычкѣ ко всестороннему изслѣдованію фактовъ, онъ могъ бы сдѣлать изъ того, о которомъ толкуетъ, только одинъ выводъ: именно, что нравственная сила въ данную минуту зависитъ преимущественно отъ той изъ составляющихъ, которая почему-либо на ту минуту приобретаетъ преобладающее значеніе. Съ этой точки преобладающею силою будетъ: иногда разница въ вооруженіи, иногда разница въ побужденіяхъ, изъ-за которыхъ война ведется, и т. д. и т. д., до безконечности; а онъ думаетъ, что вѣрное относительно Бородина будетъ вѣрно и относительно всякаго другого столкновенія.

Мы не останавливаемся на разборѣ разсужденій кн. Андрея о необходимости не брать въ плѣнъ, а убивать, на томъ основаніи, что отъ этого будто бы войны будутъ возникать только изъ-за основательныхъ причинъ; что „правы военнаго сословія—отсутствіе свободы, т. е. дисциплина-

на, праздность, невѣжество, жестокость, развратъ, пьянство^{*)}: не останавливаемся потому, что это собственно и не разсужденія, а просто наборъ словъ, чтобъ душу отвести. Для кн. Андрея все дѣло было въ личныхъ ощущеніяхъ; онъ самъ проговорился: „кто дошелъ до этого такъ, какъ я, тѣмъ же страданіями...“ Въ этомъ то все и дѣло, чтобы себя потѣшить, свою желчь поволновать: онъ лѣчитъ свое бобо. Кажется не трудно бы замѣтить, что дисциплина дѣло неизбежное не только въ военномъ, но и въ общественномъ организмѣ: разница только въ степени и характерѣ, но не въ принципѣ; что праздность, невѣжество, жестокость, развратъ, пьянство не составляютъ отличительной принадлежности одного воинскаго организма, а процвѣтаютъ не меньше и внѣ его; но кн. Андрей этого не замѣтилъ, потому что очень ужъ разсердился; а когда человѣкъ разсердится, мало ли чего онъ не наговоритъ?

Теоретическія воззрѣнія, принадлежащія собственно автору, несутъ на себѣ отпечатокъ односторонности, составляющей послѣдствіе сильной стороны его таланта, т. е. способности живописать отдѣльныя явленія. Всякій живописецъ, для того, чтобы картина была вѣрна, *долженъ* рисовать ее съ одной точки. Если онъ строго соблюдетъ при этомъ отношеніе свѣта и тѣни, изображеніе выходитъ до того художественно, что даетъ возможность дополнять воображеніемъ то, что находится и за этой, *одной только*, представленной стороной. Какъ всякое вѣрное воплощеніе идеи, такое изображеніе проявляетъ ее *всю*, несмотря на то, что воспроизводитъ только одну ея сторону. Отъ этого и происходитъ, что художественное произведеніе наводитъ иногда критика на такія мысли, которыя самому художнику, можетъ быть, и не приходили въ голову въ моментъ творчества.

Условія вѣрнаго воспроизведенія ^{*)} той же идеи не посредствомъ образовъ, а путемъ умозаключеній, совершенно пныя: кто берется за подобную задачу, тотъ долженъ

^{*)} Въ этомъ случаѣ воспроизведеніе обращается уже въ разлитіе идей.

ислѣдовать идею уже не съ одной к-кой либо, а съ возможно большаго числа сторонъ; иначе выводъ получится односторонній, чтобы не выразиться иначе. Понятно, что кто привыкъ работать въ сферѣ, требующей для выполненія задачи не сходить, такъ сказать, съ одной точки, тотъ, при малѣйшей оплошности, упадетъ въ эту манеру и тамъ, гдѣ она совершенно перестаетъ соответствовать природѣ поставленной цѣли. Отъ этого и происходитъ, что большинство живописцевъ—плохіе философы, и наоборотъ: почти всѣ философы—плохіе живописцы, разумѣя, конечно, живопись словомъ. Первымъ трудно сдвинуться съ одной точки зрѣнія, вторымъ, напротивъ, невозможно установить на одной точкѣ зрѣнія. Бываютъ исключенія *), но они до такой степени рѣдки, что за всю жизнь человѣчества ихъ считаютъ единицами.

Лучшее подтвержденіе сказанному—Гоголь: всякій знаетъ пропасть, отдѣляющую первую часть его „Мертвыхъ душъ“ отъ „Переписки съ друзьями“. Сильный въ одномъ извѣстномъ направленіи, онъ потерпѣлъ полное фіаско, какъ только издумалъ сойти съ этого направленія. Подобныя уклоненія не ограничиваются тѣмъ, что способный дать превосходные образы даетъ плохія отвлеченныя разсужденія; они ведутъ дальше, ибо отражаются въ послѣдствіи и на художественности самихъ образовъ, которые авторъ стремится, можетъ быть, незавѣдомо для самого себя, вогнать въ мѣрку проводимыхъ имъ отвлеченныхъ воззрѣній. Никто, конечно, не поставитъ рядомъ у того же Гоголя хоть „добродѣтельнаго“, напр., откупщика Муразова, правоучительнаго Костанжого съ любымъ изъ героевъ первой части „Мертвыхъ душъ“.

То же случилось и съ гр. Толстымъ, хотя не въ такой степени, и не дай Богъ, конечно, чтобы оно когда либо дошло до *такой* степени.

Въ IV части своего труда онъ нарушаетъ иногда художественную гармонію изображенія, чтобы подтвердить свои воззрѣнія на исторію и на военное дѣло.

*) Въ родѣ Гёте.

Система его воззрѣній, собственно историческихъ, приводится къ слѣдующему:

„Война — событіе, противное человѣческому разуму и *всей* человѣческой природѣ; причины, которыя выставляются историками войнъ 12 года, несостоятельны: „для насъ непонятно, чтобы миллионы людей-христіанъ убивали и мучили другъ друга, потому что Наполеонъ былъ властолюбивъ, Александръ твердъ, политика Англія хитра и герц. Ольденбургскій обижень. *Целью* понять, какую связь имѣютъ эти обстоятельства съ фактомъ убійства и насилія“.

Отвѣтимъ на это, во-первыхъ, что война есть дѣло, противное не *всей* человеческой природѣ, а только одной сторонѣ этой природы,—именно *человѣческому инстинкту самосохраненія*, что далеко не одно и то же. Въ человѣкѣ этотъ инстинктъ играетъ весьма видную, но далеко не исключительную роль: такъ, въ порядочномъ человѣкѣ и въ порядочномъ народѣ онъ подчиняется чувству личнаго достоинства *), которое находитъ опору въ свойствахъ, столь же естественныхъ, какъ самосохраненіе, и вмѣстѣ съ тѣмъ прямо ему противоположныхъ,—именно: въ чувствѣ самоотверженія, отнагѣ, упорствѣ и т. п. Взявъ это въ расчетъ, односторонность положенія г. Толстого открывается сама собою; онъ могъ сказать, что война противна *человѣческому инстинкту самосохраненія* — и только; но вовсе не противна *всей* человѣческой природѣ и *въ особенности разуму*.

Иногда она противна разуму, иногда нѣтъ: зависитъ отъ того, *за что* война ведется. Какъ сила, воршающая разумъ, она не подчиняется никакимъ узенькимъ нормочкамъ азбучной морали.

Въ одномъ и томъ же, повидимому, дѣлѣ (но только повидимому) онъ приходитъ иногда къ положительному рѣшенію, иногда къ отрицательному: вотъ природа *человѣческаго* разума, и въ этомъ его превосходство надъ разумомъ звѣриннымъ, который въ данныхъ особяхъ всегда приводитъ

*) Хорошо или дурно понятнаго — это совершенно другой вопросъ, сюда не относящійся.

къ одному и тому же выводу: заяцъ уступаетъ всегда; тигръ или левъ не уступаютъ никогда; баранъ не можетъ хитрить; лисица не можетъ не хитрить и т. д. Человѣкъ *можетъ* все это. Имѣя это въ виду, странно сказать, что война — дѣло, противное человѣческой природѣ; если бы это было такъ, то человѣкъ никогда бы и не воевалъ; между тѣмъ вся исторія показываетъ обратное: не только воюетъ, но даже иногда изъ-за нелѣпныхъ побужденій воюетъ. Можетъ быть, скажутъ, что это злоупотребленіе войною указываетъ на ея противоестественность; тогда нужно признать, что все существующее нелѣпно и противоестественно, ибо чѣмъ же нельзя злоупотреблять? Пусть вспомнятъ, изъ чего произошла инквизиція, что огонь грѣетъ и производитъ пожары; пусть вспомнятъ, что дѣлаютъ деньги и въ хорошую и въ дурную сторону, — и тогда едва ли будутъ опрокидываться на войну, какъ на *противное человѣческому разуму и всей человѣческой природѣ событіе*“.

Не менѣе странно и то положеніе, будто между фактами убійства и насилія съ одной стороны и между властолюбіемъ Наполеона, твердостью Александра и проч. (см. выше), съ другой — нѣтъ никакой связи, первое относится ко второму, какъ средство къ цѣли; нужно быть или желать быть сильно предубѣжденнымъ, чтобы не видѣть этой связи. Можно сказать только одно: эта связь затуманена авторомъ, благодаря ловкой антитезѣ между фактами убійства и насилія, съ одной стороны, и честолюбіемъ Наполеона и проч., съ другой. Но такъ чего не затуманешь? Переходя въ другую сферу, можно поставить, напр., такой вопросъ: что общаго между фактомъ убійства быка и свойствомъ человѣка утолять свой голодъ? Между жертвою извѣстнаго числа рублей и необходимостью прикрыть тѣло отъ атмосферическихъ вліяній? Эти и имъ подобныя антитезы могутъ показать только нежеланіе видѣть связь тамъ, гдѣ она есть, но доказать онѣ ничего не могутъ. Императоръ Александръ, благодаря своей твердости, ставитъ себѣ цѣлью не положить оружія, пока хотя одинъ непріятель останется на рус-

ской землѣ, и, какъ извѣстно, онъ достигъ этой цѣли, благодаря тому, что рѣшился пожертвовать сотнями тысячъ людей и временнымъ подрывомъ благосостоянія нѣсколькихъ губерній. Въ отношеніи ко всему народному организму это то-же самое, что дѣлаетъ единичный человѣкъ, не только непосредственно отстаивая свое существованіе, но дѣлаетъ на всякомъ своемъ шагѣ. Идете ли вы куда-нибудь, работаете ли, думаете ли — въ непосредственномъ результатѣ получается все та же потеря нѣкоторой массы частицъ вашего организма: это законъ физиологическій, теперь всѣми признанный. Сказанный законъ совершенно строго и со всѣми послѣдствіями примѣняется и къ тѣмъ большимъ организмамъ, которые называются народами. Если народъ нуждается въ достиженіи какой бы то ни было цѣли, важной для его существованія, онъ долженъ пожертвовать для ея достиженія извѣстной массой личныхъ и матеріальныхъ частицъ своего собственнаго организма. Если между этой жертвой и цѣлью, для которой она приносится, нѣтъ никакой связи, то должно, вмѣстѣ съ тѣмъ, признать, что вообще нѣтъ никакой связи между любой жертвой со стороны человѣка и цѣлью, для достиженія которой онъ рѣшается на эту жертву.

Далѣе, авторъ „Войны и Мира“, разбирая причины войны 12 года, выставляемыя историками, находитъ ихъ далеко недостаточными и *потому ложными*. Логическій скачокъ: ибо изъ того, что *не все* сказано, не слѣдуетъ вовсе, будто *то, что сказано*, ложно. Рядомъ съ признанными причинами и поводами — то и другое авторъ, къ сожалѣнію, смѣшиваетъ — авторъ выставляетъ свои, совершенно не имѣющія никакого основанія, хотя кажущіяся ему столь же основательными, какъ причины историковъ.

„Такой же причиной, какъ отказъ Наполеона отвести свои войска за Вислу и отдать назадъ герц. Ольденбургское, представляется намъ и желаніе или нежеланіе перваго французскаго капрала поступить на вторичную службу: ибо *если бы* онъ не захотѣлъ итти на вторичную службу и *не захотѣлъ бы* другой и третій и тысячный капралъ и

солдатъ, на столько менѣе людей было бы въ войскѣ Наполеона, и войны не могло бы быть (1)“.

Эта причина, для постановки которой автору понадобилась такой огромный запасъ условной частицы „бы“, имѣетъ одинъ коренной недостатокъ: выставляемые историками причины и поводы были дѣйствительно, а эта только могла бы быть, по мнѣнію автора, но въ дѣйствительности не была. Факта, если онъ существуетъ или существовалъ, не сообщешь никакими доводами или предположеніями. Какъ бы краснорѣчиво авторъ ни доказывалъ, что могло бы быть, но если того дѣйствительно никогда не было, чего ему хочется, то слѣдовательно и не могло быть. Пусть онъ укажетъ во всей исторіи хоть одинъ примѣръ того, чтобы война не состоялась изъ-за нежеланія солдатъ идти на службу, и тогда мы помиримся съ его гипотезой. Но онъ не найдетъ такого примѣра и не можетъ найти, ибо подобный случай противорѣчитъ существеннымъ условіямъ органической жизни. Чтобы убѣдиться въ этомъ, возьмемъ опять организмъ, аналогическій народному во всѣхъ своихъ проявленіяхъ, но попроще: именно организмъ единичнаго человѣка. Что сказалъ бы самъ авторъ „Войны и Мира“, если бы кто-нибудь, разбирая причины драки двухъ чловѣкъ между собою, держалъ примѣрно слѣдующую рѣчь: говорятъ, будто поводомъ къ дракѣ былъ лукъ Ивана, который захотѣлось имѣть Петру; будто между ними и прежде уже происходили такія-то и такія-то столкновенія, — все это вздоръ. Такой же причиной, какъ желаніе имѣть лукъ и нежеланіе отдать его представляется намъ и желаніе или нежеланіе перваго атома въ рукѣ Петра участвовать въ дракѣ; ибо ежели бы этотъ атомъ не захотѣлъ въ ней участвовать и не захотѣлъ бы другой, третій и тысячный атомъ, — драки могло бы и не быть... Въ организмѣ живомъ и здоровомъ, — большой ли онъ, малый ли — все равно, — всякій отдѣльный атомъ не можетъ не хотѣть того, чего хочетъ та высшая сила въ организмѣ, которая и дѣлаетъ его организмомъ, и безъ которой онъ есть не болѣе, какъ безжизненная куча безучастныхъ другъ къ дру-

гу частицъ. Самъ авторъ признаетъ, что Наполеонъ творилъ не столько свою волю, сколько волю того организма, котораго былъ представителемъ, и мы совершенно съ этимъ согласны *); какъ же онъ, послѣ этого, допускаетъ, что части, взятыя отдѣльно, могли бы хотѣть совсѣмъ не того, чего хочется цѣлому?

Когда читаешь это мѣсто „Войны и Мира“, такъ и ожидаешь, что авторъ, отвергнувъ причины, по его мнѣнію, несостоятельныя, поставитъ на мѣсто ихъ причины событія, кажушіяся ему дѣйствительными, и каково же удивленіе читателя, когда онъ открываетъ, что автору хотѣлось только сказать, будто *„ничто не было исключительной причиной событія, а событие должно было совершиться только потому, что оно должно было совершиться“*.

Во-первыхъ, мы и не знаемъ историка, который бы останавливался на какой-либо одной *исключительной* причинѣ; нѣтъ они признаютъ *совокупность* причинъ, слѣдовательно въ этомъ случаѣ почтенный авторъ спорить съ мнимымъ историкомъ; во-вторыхъ, изъ того, что не одна какая-либо причина произвела извѣстное событіе, вовсе не слѣдуетъ, чтобы ему вовсе не было причинъ, или, какъ говоритъ авторъ, что оно должно было совершиться потому, что должно было совершиться.

Мы полагаемъ, что самое неудовлетворительное объясненіе причинъ даннаго событія стоитъ выше этого „должно“; потому выше, что оно удовлетворяетъ присущей человѣческому уму потребности доискиваться причины *всему* происходящему. Эта дурная привычка служить лучшимъ доказательствомъ того, что на мѣсто причинъ нельзя поставить непостижимое „должно“, которое ничего не поясняетъ, и отрицаетъ какую бы то ни было причину; нельзя потому, что если бы не было причинности въ явленіяхъ и событі-

*) Машинистъ тоже подчиняется силѣ пара и именно *потому* онъ можетъ дѣлать машинѣ и скорый, и медленный, и даже попятный ходъ. И что то же самое случается и съ народами, въ нѣкоторыхъ эпохи жизни ихъ, — ясное доказательство представляетъ современная Франція: есть и попятный ходъ и выпускъ пара въ случаѣ надобности, въ образъ мексиканскихъ и другихъ экспедицій...

ихъ, не могло бы быть и стремленія къ изысканію причинъ въ человѣческомъ умѣ. Съ этой точки даже поясненіе грома тѣмъ, напримѣръ, что Ілья пророкъ по небу ѣдитъ, стоитъ, по нашему мнѣнію, неизмѣримо выше такого объясненія, что громъ гремитъ потому, что онъ долженъ греметь. Придетъ время — и вмѣсто Ільи пророка, станеть электричество, вмѣсто электричества — что-либо другое, еще болѣе рациональное и уширяющее воззрѣнія на феноменъ природы; но изъ-за „должно“ никогда и ничего для развитія ума человѣческаго не придетъ: это доказывается цѣлыми эпохами, въ которыя подъ всевозможными явленіями подкладывали это давно извѣстное „должно“.

(Станъ на этотъ путь, авторъ, въ силу отличительной черты своего таланта — смотрѣть съ одной точки на изображаемое или разбираемое — пошелъ весьма далеко; именно до того, что задался вопросомъ, „когда созрѣло яблоко и падаетъ, — отчего оно падаетъ? Оттого ли, что тяготѣетъ къ землѣ, оттого ли, что засыхаетъ стержень, оттого ли, что сушится солнцемъ, что тяжелеетъ, что вѣтеръ стрясетъ его, оттого ли, что стоящему внизу мальчику хочется съѣсть его?)

Автору кажется, что все это — причины равносильныя, въ томъ числѣ и послѣдняя. Мы же выводимъ изъ этого примѣра совершенно другое: именно то, какъ пріятно читать талантливаго человѣка, который, если станеть на ошибочную точку зрѣнія, то уже не остановится передъ послѣдствіями и разовьетъ свой тезисъ до того, что предвзятая односторонность его станеть ясна для всякаго.

Историческія свои воззрѣнія авторъ выдѣлялъ въ особія главы, и потому односторонность ихъ бросается въ глаза сразу. Не то вышло съ военными воззрѣніями; эти послѣднія проводятся у него какъ бы вскользь, по дорогѣ, подъ прикрытіемъ мастерски, но тенденціозно представленныхъ фактовъ. Отъ этого военные взгляды автора не только не поражаютъ сразу односторонностью, а, напротивъ, являются для неподготовленнаго и предварительно закупленнаго мастерской критикой читателя какъ бы естественнымъ выводомъ, вытекающимъ изъ этой картинки.

Образчикъ этой манеры мы уже видѣли въ разсужденіяхъ кн. Андрея, помѣщенныхъ вслѣдъ за изображеніемъ неурядицы Дрисскаго военнаго совѣта. Подготовивъ читателя описаніемъ этой неурядицы, авторъ пускаетъ вслѣдъ затѣмъ кн. Андрея съ его монологомъ противъ теоріи военнаго дѣла и противъ возможности военнаго генія, несмотря на то, что между неурядицей какого бы то ни было военнаго совѣта, не имѣющаго руководителя, и сказанными предметами нѣтъ ничего общаго.

Этой же манеры авторъ держится и въ тѣхъ случаяхъ, когда хочетъ провести отъ себя какія-либо военные взгляды сомнительнаго свойства. Открыть это сомнительное свойство взглядовъ не трудно, ибо почти во всѣхъ подобныхъ случаяхъ авторъ такъ проговаривается, что внимательному читателю даетъ самъ противъ себя опроверженіе: явленіе—почти неизбежное во всякомъ поэтическомъ произведеніи, направленномъ къ оправданію теоретическихъ воззрѣній автора, а не къ художественной правдѣ въ изображеніи фактовъ. Возьмемъ, напр., атаку Ростова *). Начинается съ того, что „Ростовъ, своимъ зоркимъ охотничьимъ глазомъ, одинъ изъ первыхъ увидалъ этихъ синихъ французскихъ драгунъ, преслѣдующихъ нашимъ уланъ“. Вотъ они близятся больше и больше; Ростовъ „чутьемъ чувствовалъ, что ежели ударить теперь съ гусарами на французскихъ драгунъ, они не устоятъ; но ежели ударить, то надо было сейчасъ, сію минуту, иначе будетъ поздно“. Тотъ же Ростовъ высказываетъ совершенно опредѣлительно своему товарищу эту самую мысль, и вслѣдъ за тѣмъ бросается въ атаку. Кажется, все это показываетъ совершенно ясно, что Ростовъ рѣшился на атаку далеко не зря, хотя и быстро: процессъ чувственной и духовной работы, неизбежный при всякой атакѣ, тутъ совершенно ясенъ: всѣ моменты этой работы (увидѣть, обсудить, рѣшиться, исполнить рѣшимость) на лицо. Но автору нужно свернуть на свою любимую тему, что все дѣлается само собою,—и вотъ онъ отъ

*) См. т. IV, гл. XV, стр. 78.

только что высказанныхъ мыслей прямо переходитъ къ тому, будто „Ростовъ самъ не зналъ, какъ и почему онъ это сдѣлалъ. Все это онъ сдѣлалъ, какъ онъ дѣлалъ на охотѣ, не думая, не соображая“! Неужели же авторъ, являющійся такимъ тонкимъ наблюдателемъ психическихъ процессовъ, иногда самыхъ мимолетныхъ, могъ не замѣтить этого грубаго противорѣчія между началомъ и концомъ одной и той же страницы? Неужели онъ рассчитывалъ только на такихъ читателей, которые, добравшись до конца страницы, даже разгонисто напечатанной, забываютъ ее начало? Неужели, наконецъ, авторъ не признаетъ, что то, что дѣлается быстро и какъ-бы по инстинкту, предшествуется полнымъ психическимъ процессомъ наблюденія, соображенія и рѣшенія, который происходитъ мгновенно, *но все же происходитъ*? Мы не сомнѣваемся нисколько, что вышеприведенныя строки и не нашли бы мѣста въ его спасеніи, если бы не стремленіе исподволь подготовить читателя къ тѣмъ умствованіямъ, въ силу которыхъ выходитъ, что человѣкъ никогда самъ не знаетъ, что дѣлаетъ; что онъ не болѣе, какъ марионетка въ чьихъ то рукахъ, и что всему происходящему *ничто не причина*.

Въ началѣ второй части IV тома авторъ идетъ еще дальше: онъ открываетъ, что Ростовъ поскакалъ въ атаку только потому, будто бы, что онъ не могъ удержаться отъ желанія проскакаться по ровному полю! Можно подумать, что авторъ, когда онъ писалъ эту фразу, и самъ забылъ о написанномъ выше: обстоятельство—свидѣтельствующее столько же въ пользу искренности, сколько и въ пользу силы односторонняго увлеченія автора. Далѣе подобныя противорѣчія встрѣчаются не только на одной страницѣ, но иногда даже въ одной фразѣ. Такъ, въ сценѣ доклада дежурнаго генерала Кутузову, послѣдній безразлично слушалъ, что ему говорили Денисовъ и потомъ дежурный генералъ. Изъ этого выводятся слѣдующее положеніе: „Очевидно было, что Кутузовъ презиралъ умъ и знанію и даже патріотическое чувство, которое выказывалъ Денисовъ; но презиралъ не умомъ, не чувствомъ, но знаніемъ (потому что онъ не старался

выказывать их *), а онъ презиралъ ихъ чѣмъ-то другимъ. Онъ презиралъ ихъ своей старостью, своей опытностью жизни“. Мы позволимъ себѣ вопросъ: что составляетъ опытность: масса ли фактовъ, накопившаяся за долгую жизнь, или же выводы, которые умъ сдѣлалъ изъ этихъ фактовъ, и которые одни только могутъ служить руководящимъ началомъ для поведенія въ будущемъ? Намъ кажется, что на этотъ вопросъ не можетъ быть двухъ отвѣтовъ: именно совокупность выводовъ, сдѣланныхъ умомъ изъ фактовъ, составляетъ опытность, и есть то плодотворное знаніе, которое можетъ пригодиться и въ будущемъ. Знаніе только факта — безплодно: это будетъ опытность мула принца Евгенія, который, сдѣлавъ десять компаній, не сталъ отъ этого опытнѣе и свѣдущѣе въ военномъ дѣлѣ **). Если это такъ, то и окажется, что Кутузовъ презиралъ и знаніе и умъ — не умомъ, не знаніемъ, а чѣмъ-то другимъ, именно тѣмъ же знаніемъ и умомъ! Кутузовъ принималъ очень хладнокровно многое такое, изъ-за чего другіе сильно горичились, вовсе не по презрѣнію къ уму и знанію, а по своему превосходству въ умѣ и знаніи надъ тѣми, съ кѣмъ онъ имѣлъ дѣло. Мы не говоримъ уже о томъ, что роль главнокомандующаго принадлежитъ именно къ числу тѣхъ, изъ которыхъ нужно быть весьма осторожнымъ во внѣшнихъ проявленіяхъ согласія или несогласія съ чужими мнѣніями, удовольствія или неудовольствія; изъ тѣхъ ролей, къ которымъ болѣе всего примѣнима поговорка: десять разъ примѣрь, одинъ отрѣжь.

При дальнѣйшемъ развитіи этой же самой сцены, уже между кн. Андреемъ и Кутузовымъ, оказывается, что послѣдній обладалъ именно этой способностью не увлекаться, т. е. спокойно созерцать событія, которыя кн. Андрею ка-

*) Неужели же гр. Толстой полагаетъ, что кто обладаетъ умомъ и знаніемъ, тотъ ужъ долженъ всякую минуту думать о томъ, чтобы стараться ихъ выказывать? Это не характеръ личностей тщеславныхъ и пустыхъ, въ родѣ кн. Андрея, но отнюдь не въ характеръ людей, въ родѣ Кутузова, которымъ есть дѣла поважѣе постоянной мысли о томъ, чтобы шитья согражданъ и согражданокъ блистательными качествами своей персоны.

**) Известное выраженіе Фридриха Великаго.

зались презрѣніемъ къ тому, что Кутузову докладывали. „У него не будетъ ничего своего. Онъ ничего не придумаетъ, ничего не предприметъ, думалъ кн. Андрей, но онъ все выслушаетъ, все запомнитъ, все поставитъ на свое мѣсто, ничему полезному не помѣшаетъ и ничего вреднаго не позволитъ“.

Нельзя лучше очертить то, что требуется отъ полководца: приведенная фраза почти изъ слова въ слово есть повтореніе мѣткія Наполеона о томъ же предметѣ*). Въ штабахъ, подобныхъ тому, который получилъ Кутузовъ, всегда находится бездна совѣтниковъ, и званыхъ и незваныхъ; если отъ этого нельзя избавиться, остается одно: знать кого слушать, кого не слушать; Кутузовъ самъ ничего не придумывалъ, положимъ; но онъ выбиралъ кого слушать, кого нѣтъ, слѣдовательно, онъ былъ главнымъ дѣятелемъ: изъ практикѣ идея принадлежитъ не тому, кто первый ее высказалъ, но тому, кто беретъ на себя рѣшимость ее осуществить, съ отвѣтственностью за послѣдствія осуществленія.

Вдругъ, вслѣдъ за этой фразой, наталкиваемся на другую, совершенно непостижимую: „Онъ (Кутузовъ) понимаетъ, что есть что-то значительнѣе и сильнѣе его воли, — это неизбежный ходъ событій, и онъ умѣетъ видѣть ихъ, умѣетъ понимать ихъ значеніе, и *въ виду этого значенія умѣетъ отречься отъ участія въ этихъ событіяхъ, отъ своей личной воли, направленной на другое?*“

Какимъ образомъ человекъ, свободный въ выборѣ любого изъ дѣлаемыхъ ему предложеній, можетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, отречься отъ участія въ событіяхъ, получающихъ то или другое направленіе, именно въ зависимости отъ того, что

*) Первое качество генерала — обладать спокойной головой (*tête froide*), которая принимаетъ вѣрные представленія предметовъ, никогда не разгорается, никогда не отуманивается ни отъ хорошихъ ни отъ дурныхъ вѣстей; въ которой послѣдовательными или одновременными впечатлѣніями распределяются соответственно ихъ важности и занимаютъ не болѣе, какъ столько мѣста, сколько они заслуживаютъ; ибо здравый смыслъ, разумокъ — составляетъ результатъ сравненій многихъ ощущеній (*sensations*), принятыхъ въ равномерное соображеніе. *Mémoires pour servir à l'histoire de Napoleon T. V. Замѣчанія на кампанию 1757 г.*

этотъ человекъ выбиравтъ — отказываемся понять, да едва ли и кто бы то ни было понять возьмется.

Бородинское сраженіе въ особенности дало случай автору обнаружить и блистательныя стороны своего изобразительнаго таланта и односторонность теоретическихъ воззрѣній. Сцены у Горюдина на батарее Раевского переданы съ большимъ мастерствомъ. Даже мнѣнію автора, что позицію предполагается сначала занять по Колоцѣ, до самаго Шевардина, заслуживаетъ весьма серьезнаго вниманія; тамъ, гдѣ дѣло идетъ о вѣрности взгляда (но не вывода), гр. Толстой рѣдко ошибается. Мы положительно склоняемся въ пользу мнѣнія его о томъ, что первоначально въ мысли верховныхъ руководителей нашей арміи было принять бой, прикрывая позицію Колочей на всемъ протяженіи: склоняемся потому, въ особенности, что съ принятіемъ его многое, неразъясненное до сихъ поръ въ нашемъ расположеніи, совершенно осмысливается. Дѣйствительно: укрѣпленіе на правомъ флангѣ, надъ которымъ столько потѣшались, какъ надъ построеннымъ будто-бы горжей къ непріятелю, слишкомъ сильное занятіе части позиціи сѣвернѣе новой Смоленской дороги, оставленіе безъ вниманія старой Смоленской дороги — все это вытекаетъ, какъ совершенно логическое слѣдствіе расположенія вдоль по Колоцѣ, т. е. подъ острымъ угломъ къ новой Смоленской дорогѣ. При подобномъ расположеніи могли опасаться, что Наполеонъ атакуетъ наше правое крыло, потому что правый флангъ нашъ былъ гораздо ближе къ пути отступленія, чѣмъ лѣвый — у Шевардина; слѣдовательно, опрокинувъ его, Наполеонъ затруднилъ бы насъ болѣе, чѣмъ дѣйствуя противъ лѣваго фланга. При томъ же Колоча въ этомъ мѣстѣ представляетъ, судя по плану, приложенному къ сочиненію Г. Л. Богдановича, нѣсколько удобныхъ переходовъ, и лѣвый ея берегъ (т. е. занятый французами) во многихъ мѣстахъ командуетъ правымъ*); слѣдовательно, фактическое препятствіе, представляемое Колочею, могли считать не до-

*) Опять судя по плану. Въ описаніи сказано, что правый на всемъ протяженіи командуетъ лѣвымъ.

вольно сильнымъ, чтобы заставить Наполеона отказаться отъ попытки поставить насъ стратегически въ невыгодное положеніе, угрожая отрѣзать, въ случаѣ удачной атаки, отъ пути нашего отступленія. Если къ этому взять въ расчетъ, что тогда стратегическая сторона боевыхъ комбинацій начинала входить въ моду, съ легкой руки Жюмани; что отъ Наполеона ожидали самыхъ невѣроятныхъ предпріятій и ударовъ, — то особенное вниманіе, которое было обращено на правый флангъ позиціи, станетъ понятно, именно при томъ условіи, если лѣвый ея флангъ былъ въ Шевардинѣ. Это и выразилось расположеніемъ на правомъ крылѣ и значительнаго числа войскъ, и укрѣпленія, самаго сильнаго, судя по плану, изъ тѣхъ, которыя предполагено было возвести на позиціи. Принимая лѣвый флангъ позиціи у Шовардина, оказывается, что упомянутое укрѣпленіе вовсе не было обращено горжею къ непріятелю, а составляло только загибъ крайняго праваго фланга. Что, по всей вѣроятности, и Наполеонъ не имѣлъ первоначально намѣренія идти на нашъ лѣвый флангъ, доказывается тѣмъ, что главные его силы свернули съ новой Смоленской дороги и стали переправляться черезъ Колочу только тогда, когда наши стрѣлки, расположенные у Алексина, по сю сторону Колочи, открыли огонь во флангъ французскимъ колоннамъ, шедшимъ отъ Валуева къ Бородину. Донесенія нѣкоторыхъ дѣятелей, прямо называвшихъ Шевардино лѣвымъ флангомъ позиціи, свидѣтельствуютъ также въ пользу предположенія гр. Толстого. Впрочемъ, соглашаясь съ основательностью этой гипотезы, нельзя не признать и того, что, принявъ ее, въ разборѣ сраженія придется сдѣлать весьма нѣчтожную поправку: придется назвать Шевардинское дѣло не боемъ у передового пункта, а первымъ днемъ Бородинскаго сраженія...

(Далѣе слѣдуетъ анализъ М. Драгомирова на 20 страницахъ о мнѣніяхъ, взглядахъ и выводахъ Толстого по отношенію къ Бородинской битвѣ).

М. Драгомировъ.

*) Подъ такимъ заглавіемъ вышло сочиненіе г. Витмера, составляющее критическій разборъ четвертой части романа графа Толстого. Мы очень сожалѣемъ, что не имѣли возможности и случая поговорить объ этомъ трудѣ ранѣе, тѣмъ охотнѣе рекомендуемъ прочесть его теперь, когда, по слухамъ, скоро должна выйти шестая и послѣдняя часть романа. Критическій разборъ г. Витмера поможетъ вѣрнѣе и безпристрастнѣе взглянуть на „Войну и Миръ“. Всѣ кричатъ и всѣ толкуютъ о томъ, что это великое художественное произведеніе, и никому какъ будто не приходитъ въ голову спросить вѣрны-ли или нѣтъ тѣ историческія сказанія и данныя, которыми авторъ такъ усердно пересматывалъ ходъ дѣйствія въ романѣ. Къ тому-же извѣстно, что графъ Толстой и самъ отрекомендовалъ себя не только какъ романиста, но и какъ философа, какъ человѣка, имѣющаго въ виду доказать извѣстную теорію. Между тѣмъ на эту сторону романа никто почти не обратилъ вниманія, какъ будто для сужденія о достоинствѣ романа, даже какъ художественнаго произведенія, построеннаго, однакожъ, на историческихъ данныхъ, все равно, извращены или не извращены факты, и насколько отступилъ авторъ отъ исторической истины и какъ будто романистъ можетъ обращаться съ исторіей какъ угодно. Витмеръ, признавая за романомъ литературныя достоинства, рѣшился разобрать трудъ графа Толстого, насколько въ немъ авторъ высказался, именно какъ *философъ* и историкъ. И съ этой стороны его разборъ представляетъ большой интересъ. Онъ слѣдитъ за романистомъ шагъ за шагомъ и, разбирая въ пухъ и прахъ взгляды автора на исторію и историческихъ дѣятелей, ловитъ романиста во многихъ, такъ сказать, нетерпимыхъ противорѣчіяхъ исторіи и извращеніяхъ оя. Для людей, прочитавшихъ „Войну и Миръ“, разборъ г. Витмера долженъ представить много интереса, и во всякомъ случаѣ онъ освѣщаетъ собой самый романъ...

Изъ „Сѣвѣрной Пчелы“ 1869 г.

*) „Сѣвѣрная Пчела“ 1869 г., № 36. „1812 годъ въ Войнѣ и Мирѣ“.

*) Пятый томъ „Войны и Мира“ только что на дняхъ вышелъ и до сихъ поръ прочитанъ, вѣроятно, весьма немногими. Долго жданный томъ этотъ, противъ всеобщихъ ожиданій, не заканчивается собою художественнаго и интереснаго сочиненія гр. Толстого. Романическое движеніе во всѣхъ трехъ частяхъ этого послѣдняго тома относительно очень невелико, но мы въ своей газетной статьѣ не можемъ въ подробностяхъ слѣдить и за этимъ. Признавая все значеніе, какое имѣетъ новое сочиненіе графа Льва Николаевича для литературы, мы не можемъ посвятить ему такого критическаго разбора, какого прекрасное сочиненіе это заслуживаетъ. Это дѣло мѣсячныхъ журналовъ, имѣющихъ всѣ удобства и всѣ обязательства заняться подробнымъ анализомъ всѣхъ сторонъ, такого крупнаго литературнаго явленія, какъ „Война и Миръ“. Мы желаемъ дать только отчетъ объ этой книгѣ и познакомить своихъ читателей съ интереснѣйшими деталями историческихъ дней двѣнадцатаго года. Съ такою задачею мы начинаемъ нашу статью, которую и просимъ отнюдь не считать попыткою написать критику.

Романическія передвиженія въ пятомъ томѣ заключаются въ слѣдующемъ: Ростовы уѣзжаютъ изъ Москвы, Паташа встрѣчается съ раненымъ княземъ Андреемъ Болконскимъ; Николай Ростовъ уѣзжаетъ во время войны ремонтеромъ въ Воронежъ, и встрѣчается тамъ съ княжною Марією; затѣмъ кн. Андрей умираетъ на рукахъ Паташи и кн. Марин: Hélène Безухова собирается выйти замужъ за двухъ разомъ, и умираетъ, принявъ поосторожно усиленную порцію какого-то секретнаго лѣкарства. Пьеръ Безухій собирается убить Наполеона, долго остается въ плѣну у французовъ и вообще мычетъ горькую жизнь. Все это, столь безцвѣтное въ сухомъ перечнѣ, въ какомъ оно здѣсь представлено, конечно, рассказано Толстымъ опять съ огромнымъ мастерствомъ, характеризующимъ все сочиненіе. Въ пятомъ томѣ, какъ и въ четырехъ первыхъ, нѣтъ утомительной или

*) „Виржевыя Вѣдомости“ 1869 г., № 66. „Герои Отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому“.

половкой страницы, и на всякомъ шагѣ попадаются сцены, чарующія своею прелестію, художественною правдою и простотою. Есть мѣста, гдѣ простота эта достигаетъ необычайной торжественности, и какъ на образчикъ красотъ подобнаго рода, мы позволимъ себѣ указать на описаніе предсмертныхъ дней и самой кончины князя Андрея Болконскаго. Прощанію князя Андрея съ сыномъ Николушкою; мысленный или, лучше сказать, духовный взглядъ умирающаго на покидаемую жизнь, на горести и заботы окружающихъ его людей и самый переходъ его въ вѣчность — все это вышло всякихъ похвалъ по прелести рисовки, по глубинѣ проникновенія во святая святыхъ отходящей души, и по высотѣ безмятежнаго отношенія къ смерти. Съ этою страницей у нашего талантливаго писателя мы могли бы поставить рядомъ лишь одну извѣстную страницу, на которой перомъ Диккенса описана смерть маленькаго Домби, гдѣ нѣкто находитъ подъ розовые занавѣсы постели больного ребенка и руководить переходомъ души его въ одну изъ обителей, которыхъ много у нашего Отца; но страница, написанная нашимъ художникомъ, далеко превосходитъ ту блестящую страницу Диккенса, о которой мы вспоминали, и которая считается образцомъ описаній сценъ подобнаго, торжественно-грустнаго, рода. Она превосходитъ ее простотою, силою и безэфектностію, въ которой, собственно, и заключается свой великій недостигаемый эффектъ. Здѣсь нѣтъ „розовыхъ занавѣсъ“ даровитаго Диккенса, здѣсь просто *отходъ души* — серьезный, но не страшный, торжественный, но не аффектированный. Это описаніе сравнительно всего въ этомъ родѣ, какъ строгая творческая музыка композитора-драматурга, по сравненію съ шумихою трелей мотивиста. Беремъ эту страницу за образецъ красотъ пятаго тома сочиненія гр. Толстого и дѣлаемъ изъ нея выписку.

Дѣло идетъ такимъ образомъ: князь Андрей умираетъ отъ раны. Раненый онъ встрѣтился случайно съ Наташею и остался на ее попеченіи. Онъ радъ этой встрѣчѣ. Между нимъ и Наташею не происходитъ никакихъ объясненій по поводу ея измѣны ему и всей ея печальной исторіи съ Ку-

рагнымъ. И князь и Наташа молчать и снова любятъ другъ друга. Вотъ какъ описываетъ авторъ своимъ волшебнымъ поромъ отношенія кн. Андрея къ Наташѣ прежде чѣмъ доходитъ до самой смерти Болконскаго "... (Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Это было нечеромъ. Онъ (кн. Андрей) былъ, какъ обыкновенно послѣ обѣда, въ легкомъ лихорадочномъ состояніи"... Выписка заканчивается словами: „Онъ обѣ видѣли, какъ онъ глубже и глубже медленно и спокойно, опускался отъ нихъ куда-то туда, и обѣ знали, что это такъ должно быть, и что это хорошо“).

„Какая простая, поистинѣ прекрасная, неподражаемая картина смерти! Ни въ прозѣ ни въ стихахъ мы не знаемъ ничего равнаго этому описанію. Это не шекспировское „умереть—уснуть“, ни диккенсовское „быть восхищеннымъ“, ни матеріалистическое „перейти въ бытію“,—это тихое и спокойное „пробужденіе отъ сна жизни“. Глядя такимъ взглядомъ на смерть,—умирать не страшно. Человекъ уходитъ отсюда, и это хорошо. И чувствуешь, что это хорошо, и окружающіе его чувствуютъ, что это въ самомъ дѣлѣ хорошо, что это прекрасно. Одно это представленіе даетъ намъ чувствовать въ міросозерцаніи автора нѣчто иное, не похожее на міровоззрѣніе цѣлой плеяды другихъ нашихъ писателей, и мы въ правѣ сожалѣть, что сочиненіе графа Толстого не можетъ ожидать себѣ въ наше время талантливаго критическаго разбора. Мы знаемъ, какъ глядятъ и какъ взглянуть на этотъ томъ тѣ, которые у насъ считаютъ себя критиками. Каждый изъ нихъ станетъ прикидывать его на мѣстѣ своихъ *направленій*, и похвалить его за то, въ чемъ найдетъ нѣчто отвѣчающее его *направленію*, и злобно укорить за то, что ему покажется вредоноснымъ для этого *направленія*. Это уже было и это будетъ снова, но такъ будетъ долго и долго, пока тяжелыя судьбы нашей литературы будутъ оставлять ея безъ критическихъ талантовъ. Графа Толстого уже упрескали въ томъ, что онъ „сентименталъ, фаталистъ и миндальникъ“; другіе столь же глубоко проницали свойства его творчества и хвалили его за какой-то особаго рода реализмъ, *здоровый ре-*

ализмъ, имѣющій честь правиться схоластикамъ-идеалистамъ; теперь недостаетъ, чтобы за приведенную сцену его упрекнули въ *поповство*, и этому ни мало не мудроно случиться, и это опять будетъ столь же неосновательно, какъ укоръ сентиментальности и похвала за особый реализмъ. Но возвращаемся къ роману. Красотъ, равныхъ или подходящихъ по своему значенію къ выписанному нами образчику, немало заключается въ пятомъ томѣ „Войны и Мира“, и выписывать ихъ мы не можемъ въ нашей, но необходимости ограниченной въ своихъ размѣрахъ, статьѣ. Дорожамъѣствомъ, мы должны оставить романическое положеніе лицъ и обратиться къ историческимъ картинамъ отечественной войны, нарисованнымъ авторомъ съ большимъ мастерствомъ и съ удивительною чуткостью. Этими мы смѣло надѣемся доставить много интереса всѣмъ нашимъ читателямъ, которые не успѣли еще сами прочесть пятого тома „Войны и Мира“, а такихъ должно быть не мало по всѣмъ угламъ и захолустьямъ русскаго царства, куда заходитъ наша газета, и куда дорогой романъ графа Толстого, при всемъ его громадномъ у насъ успѣхѣ, попадетъ, вѣроятно, еще весьма не скоро. Можетъ быть, военные специалисты найдутъ въ деталяхъ военныхъ описаній графа Толстого много такого, за что они снова найдутъ возможнымъ сдѣлать автору замѣчанія и укоризны въ родѣ тѣхъ, какія ему уже были отъ нихъ сдѣланы, но, по истинѣ говоря, насъ мало занимаютъ эти детали. Мы цѣнимъ въ военныхъ картинахъ Толстого то яркое и правдивое освѣщеніе, при которомъ онъ намъ показываетъ марши, стычки, движенія; намъ правится самый *духъ* этихъ описаній, въ которомъ волею-неволею чувствуется вѣяніе *духа правды*, дышащаго на насъ черезъ художника.

*) Прежде всего пятый томъ занимающаго насъ сочиненія по преимуществу есть томъ самый военный. Въ этомъ томѣ авторъ даже чаще отказывается себѣ въ очевидной для него потребности покидать порою нить разсказа и уноситься въ

*) „Биржевыя Вѣдомости“ 1869 г., № 68. „Герои отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому.

область разсужденій, — такъ сказать, *пофилософствовать*. Только въ началѣ двѣ первыя главы первой части пятого тома имѣютъ такіе этюды, по поводу которыхъ стоило бы нѣчто замѣтить, но на которыхъ намъ въ газетѣ также не пора останавливаться. Говоря о манерѣ автора философствовать, мы просимъ не заподозрить насъ въ томъ, что мы ставимъ это въ укоръ гр. Толстому. Мы какъ нельзя болѣе далеки отъ этого. Мы вполне раздѣляемъ мнѣніе другого нашего даровитаго романиста, Ив. Ал. Гончарова, который въ одномъ мѣстѣ „Обрыва“, новаго прекраснаго романа, о которомъ мы также дадимъ отчетъ нашимъ читателямъ, говоритъ, что „романъ можетъ поглощать все“, въ романѣ терпимы и умѣстны всякія отступленія отъ разсказа, всѣ роды литературы, „кромѣ скучнаго“. Мы говоримъ, что въ пятомъ томѣ: „Войны и Мира“ меньше философствованій, просто, не придавая этому никакого особаго значенія. Пятый томъ сочиненія гр. Толстого носитъ на себѣ печать тѣхъ самыхъ отношеній автора къ причинѣ событій, какая лежитъ на всемъ сказанномъ имъ въ четырехъ первыхъ частяхъ его сочиненія. Это тотъ взглядъ, который вызвалъ уже противъ Л. Н. Толстого возраженія Порова и многихъ другихъ современниковъ отечественной войны и повѣдшихъ военныхъ специалистовъ мыслителей. Авторъ „Войны и Мира“ не признаетъ во всѣхъ событіяхъ войны двѣнадцатаго года ничего предугаданнаго, предусмотрѣннаго и совершеннаго по плану. По его выводамъ и заключеніямъ, *событіями* управляютъ не главнокомандующіе, не диспозиціи, а нѣчто совершенно другое. Нашъ художникъ, стремясь освѣтить по своему событія отечественной войны, доказываетъ, что кн. Кутузовъ, которому приписана безмѣрная дальновидность, не имѣлъ вовсе опредѣленнаго плана дѣйствій. Съ тѣхъ поръ, какъ свѣтлѣйшій получилъ власть дѣйствовать, въ званіи главнокомандующаго, до тѣхъ поръ, пока французы бѣжали изъ Россіи, и „старый человѣкъ“, какъ авторъ называетъ кн. Кутузова, радостно заплакалъ и воскликнулъ Богу, что „молитва его услышана“, дѣло отечества жило духомъ народа и духомъ „старого человѣка“,

а не его и пичьими другими предусмотрѣніями, предначертаніями и планами. Умы кипятились и дѣйствовали только въ суетливой средѣ однихъ мелкихъ и крупныхъ интригановъ, работавшихъ спонси самолюбіями въ нетлѣнномъ и безстрастномъ Петербургѣ и въ штабѣ арміи вокругъ дремавшаго „старого человѣка“. Въ этой характеристикѣ времени чувствуется большая правда. Каждому изъ насъ, до кого путемъ семейныхъ преданій дошли простые, неподкрашенные подогрѣтымъ заносчивостью патріотическимъ задоромъ, рассказы о событіяхъ 1812 года, болѣе или менѣе всегда были извѣстны многія детали этой эпохи не въ томъ подцѣвленномъ видѣ, въ какомъ представляли ихъ военные историки, реляціи и тенденціозные романисты (рядъ которыхъ начался не съ гг. Писемскаго и Чернышевскаго), а въ той простотѣ, въ какой рисуетъ ихъ нынче во всей ихъ совокупности авторъ „Войны и Мира“. Дѣло было гораздо проще, и дѣлали спасеніе отечества не энтузіасты и не интриганы, которые и во всѣ времена пригодны лишь къ тому, чтобы, не дѣлая дѣла, суетиться во имя дѣла. Истинные спасители страны спасали ее, заботясь всякъ объ исполненіи своего ближайшаго долга. Такъ вели себя народъ, московскіе обыватели, солдаты и строевые офицеры арміи, Кутузовъ и государь Александръ Павловичъ. Умъ Руси не гарцовалъ, а скорѣе цѣпенѣлъ въ полудремотѣ, надѣясь на Промыслъ и своего дремлющаго „старого человѣка“. Кн. Кутузовъ, какъ полагаетъ авторъ (въ томъ съ нимъ и можно согласиться) не зналъ, что дѣлать. Онъ такъ же не хотѣлъ отстаивать Москвы, какъ не хотѣлъ онъ и сдавать ее. Въ 3 главѣ 1 части пятаго тома гр. Толстой подкрѣпляетъ этотъ свой выводъ описаніемъ такой сцены:

„Когда Ермоловъ, посланный къ Кутузову для того, чтобы осмотрѣть позицію, сказалъ фельдмаршалу, что подъ Москвою на этой позиціи нельзя драться и надо отступать, Кутузовъ посмотрѣлъ на него молча.

— „Дай-ка руку, сказалъ онъ, и, повернувъ ее такъ, чтобы ощупать его пульсъ, онъ сказалъ:

— „Ты нездоровъ, голубчикъ, подумай, что ты говоришь“. Кутузовъ еще не могъ понять того, чтобы было возможно отступать за Москву безъ сраженія“.

За этимъ гр. Толстой представляетъ намъ Кутузова на Поклонной горѣ, въ шести верстахъ отъ Драгомиловской заставы. Фельдмаршалъ сидитъ на лавкѣ, на краю дороги. Около него огромная толпа генераловъ, и между ними графъ Ростопчинъ. Этотъ „главнокомандующій Москвы“ пріѣхалъ изъ столицы и присоединился къ свитѣ фельдмаршала. Въ блестящемъ обществѣ, окружающемъ „старого человека“, все говорятъ между собою шепотомъ о выгодахъ и невыгодахъ позиціи, все съ усиліемъ держатся на *высотѣ положенія*... (Далѣе идетъ выписка, начинающаяся словами: „Одинъ говорилъ о выбранной позиціи, критикуя не столько самую позицію, сколько умственные способности тѣхъ, которые ее выбрали...“ Конечъ выписки: „...онъ ужасался мысли о томъ приказаніи, которое онъ долженъ былъ отдать“).

„Фельдмаршалъ понималъ, что ему рѣшительно не на кого опереться, что мелкія страсти, интриги, кляшныя кляшнѣи вокругъ него со своими заботами, все-таки позабудутъ дѣло, — а вотъ въ слѣдующей главѣ мы видимъ Кутузова въ избѣ мужика Андрея Савостьянова. Здѣсь въ два часа происходитъ военный совѣтъ. Описаніе этого совѣта тоже необыкновенно интересно. Мужики и бабы большой семьи Андрея Савостьянова тѣснятся въ черной избѣ. Одна только внучка хозяина, шестилѣтняя дѣвочка Маша, остается на печкѣ и смотритъ на свѣтлѣйшаго, который приласкалъ ее за чаемъ и далъ ей кусокъ сахара. Ребенокъ, глядя съ нечи на Кутузова „дѣдушку“, дѣтскимъ чутьемъ своимъ понимаетъ, что здѣсь „все какъ бы *противъ дѣдушки*“. Кутузовъ сидѣлъ особо отъ всѣхъ, въ темномъ углу за печкою. Вотъ какъ изображаетъ здѣсь авторъ *старого человека*: „Онъ сидѣлъ, глубоко опустившись въ складное кресло и безпрестанно побрякивалъ и поправлялъ воротникъ сюртука, который, хоть и разстегнутый, все-таки какъ бы жаль его шю. Адъютантъ Кайсаровъ хотѣлъ было отдер-

Москвы устроятъ во вѣренной ему столицѣ такой порядокъ, какой себѣ даже трудно представить. Оставленіе Москвы представляетъ ужасающую картину неописуемыхъ безпорядковъ. Благоразумно и съ толкомъ столицу оставили только тѣ изъ ея жителей, которые не слушались главнокомандующаго, и убрались кто куда могъ за добра ума. Тѣ же, которые имѣли неосторожность послушать шаловливыхъ совѣтовъ Ростопчина, исполни, во славу его, исполнѣ горькую чашу. Побѣгъ московскихъ обывателей изъ столицы въ послѣдніе дни, до которыхъ додержалъ ихъ Ростопчинъ, хвалясь, что побѣтъ Наполеона, выйдя на него съ московскими барышнями, былъ ужасенъ. Такого безпорядка и такихъ несчастій нельзя было бы ожидать и сотой доли, если бы дѣйствія Ростопчина были хоть на волосъ сорезанѣе и обдуманнѣе или, можеть быть, еще лучше, если бы Москвою вонсо никто не командовалъ. Мы выше сказали, почему свѣтлѣйшій князь Кутузовъ не могъ устроить дѣла иначе, какъ они стали. Москва не могла быть защищена арміею, и Кутузовъ долженъ былъ вести войска къ отступленію, хоть онъ, по всей вѣроятности, въ это время не имѣлъ никакого дальнѣйшаго плана дѣйствій, и самъ не зналъ, къ чему поведутъ его эти отступленія. Онъ видѣлъ только, что отступленіе арміи за Москву необходимо, что держаться нельзя, что вмѣсто того, чтобы терять Москву и армію, гораздо благоразумнѣе рѣшиться потерять одну Москву, безъ арміи. Ростопчину теперь, въ силу этого рѣшенія фельдмаршала, предстояло регулировать очищеніе жителей столицы. Это нельзя считать очень великимъ: это, пожалуй, сдѣлалъ бы всякій хорошій оберъ-полицеймейстеръ. Вся задача Ростопчина (единственная, исполняя которую онъ могъ бы посуетиться съ пользою) заключалась въ томъ, чтобы обсудить съ остающимися въ городѣ представителями населенія положеніе столицы, и съ общаго совѣта предпринять самыя несложныя мѣры, чтобы жители, желающіе оставить беззащитную Москву, выѣзжали и выходили изъ города, соблюдая возможный порядокъ. Ростопчину не удалось сдѣлать путемъ и этого. Онъ прежде всего ни съ

кѣмъ не совѣщается, а шумить и оршится съ своимъ вду-
тымъ патріотическимъ видоромъ. Для него не существуютъ
невозможности, обуславливающія необходимость отступле-
нія, какъ для Кутузова. Его поражаетъ *срамность* необхо-
димой мѣры, совершаемой на основаніи математически вѣр-
наго вычисленія: что выгоднѣе, потерять Москву и *армію*—
или одну Москву *безъ арміи*? Ему до всего этого дѣла
нѣтъ, онъ видитъ въ этомъ только срамъ и пропажу эффекта,
какой бы онъ могъ пропзвести съ шаромъ Ленпка, обра-
зомъ Пверской и сражающимися противъ французовъ москов-
скими барышнями. Ростопчинъ кричитъ, что Москва не бу-
детъ ни за что сдана, и разсылаетъ въ этомъ духѣ афиши,
писанныя мужичьимъ языкомъ, который его сіятельство,
какъ и многіе наши люди высокаго положенія, имѣютъ
слабость считать языкомъ народнымъ, и потому особенно
внятнымъ и внушительнымъ. Московскіе жители еще въ
іюнѣ и іюлѣ мѣсяцѣ предвидѣли или предчувствовали, что
Москва не удержаться, и въ началѣ августа начали уже
выѣзжать изъ столицы. Это, конечно, было прекрасно и
для тѣхъ, кто спасался, и для тѣхъ, которые оставались
въ городѣ; жизненные продукты дешевлели бы, не было бы
лишней суеты; каждый, имѣя свободу ѣхать или оставаться,
зрѣлѣе обсуждалъ бы свое положеніе. Но Ростопчинъ видѣлъ
въ этомъ вредъ.

Стыдно бѣжать отъ опасности, только трусы бѣгутъ изъ
Москвы, говорилъ онъ по этому поводу въ своихъ афи-
шахъ, которыя, какъ безпощадно выражается авторъ *Вой-
ны и Мира*, обыкновенно были писаны „*ерническимъ язы-
комъ*“. Но, по несчастію, авторитетъ высокаго положенія
графа Ростопчина, несмотря на всю нелѣпость его „писан-
ныхъ ерническимъ языкомъ афишъ“, все-таки былъ столь
вліятеленъ, что главнокомандующему Москвы удалось коо-
кого застыдить своими афишами. Названіе „труса“ было
непріятно, и потому многіе, чтобы не получить этой клич-
ки, стали удирать изъ Москвы крадкомъ, потихоньку. Упре-
кать въ этомъ московскихъ обывателей было смѣшно, а
ихъ упрекалъ самъ главнокомандующій. Они не разсуждали

о томъ, хорошо или худо имъ будетъ, если французы начнутъ управлять ими; имъ просто подъ управленіемъ французовъ нельзя было быть, это имъ было хуже всего, и они уѣзжали, кто куда могъ, съ своими семействами. Правда, что Ростопчинъ хвалился имъ даже намѣреніемъ поднять Иверскую, и указывалъ имъ на построенный Лопикомъ воздушный шаръ, съ помощію котораго Ростопчинъ обѣщалъ погубить французовъ, указывалъ онъ и на другой вздоръ, о которомъ подробно писалъ народу въ своихъ афишахъ; но москвичи знали, что войско должно драться, и если оно не можетъ драться, то Ростопчинъ съ московскими барышнями и дворовыми людьми хоть если и выйдетъ на Три Горки воевать противъ Наполеона, то врядъ-ли Наполеона одолѣетъ, и поэтому здравый смыслъ говорилъ москвичамъ, что балагурствъ поставленнаго надъ ними командира слушать нечего, и надо уѣзжать; они и уѣзжали.

Съ этихъ поръ Ростопчина совсѣмъ покидаетъ всякая логика. У него нѣтъ никакого курса: онъ не знаетъ, куда идетъ, такъ же, какъ Кутузовъ; но онъ проходитъ путь невѣдѣнія своего не тихо и скромно, по-кутузовски, съ головою, опущенною на грудь, а онъ то мечется, то мнется, то прыгаетъ въ лапсадахъ. Вотъ какъ изображаетъ его гр. Толстой "... (Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Гр. Ростопчинъ то стыдилъ тѣхъ, которые уѣзжали“... и кончающаяся: ... „старался своею маленькою рукою то поощрять, то задерживать теченіе громаднаго, уносившаго его вѣстѣ съ собою, народнаго потока“).

Гр. Толстой описываетъ, какъ Ростопчинъ, во исполненіе служебнаго принципа многихъ: „ничего не дѣлай, да суетись“, пакидывается на ничтожнаго купчика Верещагина, трактирщика, который читалъ какую-то наполеоновскую прокламацію. Графъ связываетъ это дѣло съ самовластно исковерканною бумагою почтдиректора Ключарева, котораго почему-то ненавидѣлъ Ростопчинъ. Ради того, чтобы раздуть само по себѣ ничтожное дѣло, главнокомандовавшій Москвы напускаетъ на все это необычайную важность, заключаетъ и Ключарева и Верещагина подъ стражу. Верещагинъ здѣсь

и дождался вступленія непріятеля въ Москву, причемъ герой московской суеты, графъ Ростопчинъ, потѣшилъ свое русское сердце, затравивъ *rouge la bourse bouche* узника Верещагина смятеннымъ народомъ, а потомъ закончивъ свою московскую службу собственноручною расправою съ народомъ и плаксивою жалобою на Кутузова.

Непріятель вступаетъ въ Москву. Вступленіе это опять описано у гр. Толстого необыкновенно картинно. 2 сентября въ 10 часовъ утра погода подъ Москвою стояла волшебная. Арьергарды русской арміи выходили изъ Москвы черезъ Дорогомиловскую заставу, а съ другой стороны въ столицу двигались передовыя войска Наполеона. По живописному выраженію автора, пустая Москва, какъ сухая губка „всасывала“ въ себя непріятельскіе ряды.

„Москва съ Поклонной горы разстилалась просторно съ своею рѣкою, съ своими садами и церквами и, казалось, жила своею жизнью, трепеща, какъ звѣзды, своими куполами въ лучахъ солнца. При видѣ страннаго города, съ новиданными формами необыкновенной архитектуры, Наполеонъ испытывалъ то нѣсколько завистливое и безпокойное любопытство, которое испытываютъ люди при видѣ формъ незнающей о нихъ чужой жизни. Очевидно, городъ этотъ жилъ всѣми силами своей жизни. По тѣмъ неопредѣленнымъ признакамъ, по которымъ на дальнемъ разстояніи безошибочно узнается живое тѣло отъ мертваго, Наполеонъ съ Поклонной горы видѣлъ трепетаніе жизни въ городѣ и чувствовалъ какъ-бы дыханіе этого большого и красиваго тѣла.“

„Всякій русскій человѣкъ, глядя на Москву, чувствуетъ, что она мать; всякій иностранецъ, глядя на нее и не зная ея материнскаго значенія, долженъ чувствовать женственный характеръ этого города, и Наполеонъ чувствовалъ его.“

„Этотъ азіатскій городъ съ безчисленными церквами, Москва *сытая*. Вотъ онъ, наконецъ, этотъ знаменитый городъ! Пора — сказалъ Наполеонъ, и, слѣзши съ лошади, велѣлъ разложить передъ собою планъ этой Москвы, и подождалъ переводчика. Городъ, занятый непріателемъ, подо-

бенъ дѣвкѣ, потерявшей невинность, думалъ онъ. И съ этой точки зрѣнія онъ смотрѣлъ на лежавшую передъ нимъ восточную красавицу. Ему странно было самому, что, наконецъ, совершилось его давнишнее, казавшееся ему невозможнымъ, желаніе“.

Гр. Толстой очень смѣло и съ большою послѣдовательностію рисуетъ душевныя движенія, которыми былъ полонъ Наполеонъ, глядя на лежащую у ногъ его русскую столпцу.

Одно мое слово, одно движеніе моей руки, думаетъ Наполеонъ у Толстого, и погибла эта древняя столица des Sarrs. Но мое милосердіе всегда готово снизойти къ побѣжденнымъ. Я долженъ быть великодушенъ и истинно великъ. Я пощажу ее. На древнихъ памятникахъ варварства и деспотизма я напишу великія слова справедливости и милосердія...

Александръ больше всего поймётъ именно это, я знаю его (Наполеону казалось, что главное значеніе того, что совершалось, заключалось въ личной борьбѣ его съ Александромъ). Съ высотъ Кремля я дамъ имъ законы справедливости, я покажу имъ значеніе истинной цивилизаціи, я заставлю поколѣнія бояръ съ любовью поминать имя своего завоевателя. Я скажу депутаціи, что я не хотѣлъ и не хочу войны, что я велъ войну только съ ложною политикою ихъ дворца, что я люблю Александра, и что приму условія мира въ Москвѣ, достойныя меня и моихъ народовъ.

„— Пусть приведутъ ко мнѣ бояръ, обратился онъ къ своимъ.“

„Генералъ съ блестящею свитою тотчасъ же поскакалъ за боярами.“

„Прошло два часа. Наполеонъ позавтракалъ и опять стоялъ на томъ же мѣстѣ на Поклонной горѣ, ожидая депутацію. Рѣчь его къ боярамъ уже ясно сложилась въ его воображеніи. Рѣчь эта была исполнена достоинства и того величія, которое понималъ Наполеонъ. Тотъ тонъ великодушія, въ которомъ намѣренъ былъ дѣйствовать въ Москвѣ Наполеонъ, увлекъ его самого. Онъ въ воображеніи своемъ

назначалъ дни собраній во дворцѣ царей, гдѣ должны были сходиться русскіе вельможи съ вельможами французскаго императора. Онъ назначалъ мысленно губернатора такого, который сумѣлъ бы привлечь къ себѣ населеніе. Узнавъ о томъ, что въ Москвѣ много богоугодныхъ заведеній, онъ въ воображеніи своемъ рѣшалъ, что всѣ эти заведенія будутъ осыпаны его милостями. Онъ думалъ, что, какъ въ Африкѣ надо было сидѣть въ бурнусѣ въ мочети, такъ въ Москвѣ надо было быть милостивымъ, какъ цари. И, чтобы окончательно тронуть сердца русскихъ, онъ, какъ и каждый французъ, не могущій себя вообразить ничего чувствительнаго безъ упоминанія о *ma chère, ma tendre, ma pauvre mère*, онъ рѣшилъ, что на всѣхъ этихъ заведеніяхъ, онъ велитъ написать большими буквами: *Etablissement dédié à ma chère Mère*. Ибѣтъ просто: „*Maison de ma Mère*“, рѣшилъ онъ самъ съ собою. Но что же такъ долго не является депутація?

„Между тѣмъ въ задахъ свиты императора происходило шонотомъ взволнованное совѣщаніе между его генералами и маршалами: посланные за депутаціею вернулись съ извѣстіемъ, что Москва пуста, что *всѣ уехали и ушли изъ нея*. Лица совѣщавшихся были блѣдны и взволнованы. Не то, что Москва была оставлена жителями, пугало ихъ, но ихъ пугало то, какимъ образомъ объявить о томъ императору, какимъ образомъ, не ставя его величество въ то страшное, называемое французами *ridicule*, положеніе, объявить ему, что онъ напрасно ждалъ бояръ такъ долго, что есть въ Москвѣ толпы пьяныхъ, но никого больше“.

Наполеонъ съѣзжаетъ съ Поклонной горы молча. Москва дала ему непріятный урокъ: рога его побѣдительно гордыни надломлены и надломлены не тѣмъ, кто дѣлалъ вопросъ изъ сдачи Москвы, а которые ушли изъ Москвы ради сохраненія собственной жизни. Первое пораженіе Наполеону нанесено москвичами, хотя они, уходя изъ Москвы, всего менѣе думали поразить этимъ гордаго побѣдителя, и первую ошибкою, въ которую вовлекли его, открытъ длинный рядъ его послѣдующихъ ошибокъ, закончившихъ его погибель.

Неумышленнымъ ударомъ, который нанесли москвичи Наполеону, уйдя изъ столицы, у него какъ-бы былъ отнятъ разумъ, и отселѣ начинаются самыя гибельныя и самыя необъяснимыя его промахи. Герой сраженъ былъ тѣмъ, кто и не помышлялъ вступать съ нимъ въ личное состязаніе.

*) Москву въ это время гр. Толстой картинно сравниваетъ съ обезматочившимъ пчелинымъ ульемъ. Еще что-то копошится вокругъ, летаютъ и толкутся ошеломленные пчелки; но тѣмъ не менѣе улей пусть, ему почѣмъ держаться. Въ описаніяхъ обезматочившей Москвы картины слѣдуютъ за картинными. Выпущенные на волю арестанты, сумасшедшіе изъ желтаго дома, нѣсколько задоржавшихся кунцовъ съ ихъ стотысячными лавками, которыхъ некому защищать, офицеры, которыхъ не слушаются солдаты, солдаты, которыми пимыгаютъ назадъ въ улицы и переулки, не слушая останавливающихъ ихъ офицеровъ, толпы фабричныхъ и свалки у кабаковъ и на мостахъ, крики, пьянство, дебошпрство и оргіи. Рабочіе куражатся въ кабакахъ, напиваются, ничего не понимаютъ, и дерутся другъ съ другомъ; происходятъ убійства, которыхъ некому остановить и за которыя не откуда ждать никакого возмездія. Дворникъ дома Ростовыхъ, рослый Игнатъ, стоитъ, красуется передъ большимъ зеркаломъ въ залѣ; казачокъ Мишка въ опустѣломъ домѣ сидитъ и играетъ однимъ пальцемъ на клавикордахъ; на площади подьячій читаетъ одной группѣ ростопчинскую афишу. Отсюда начинается сцена, которая заканчивается трагіею Верещагина. Мы позволимъ себѣ выписать всю эту сцену. „У стѣны Китай-города небольшая кучка людей окружила человѣка въ фризовой шинели, держащаго въ рукахъ бумагу.

— „Указъ, указъ читаютъ! указъ читаютъ! слышалось въ толпѣ, и народъ хлынулъ къ чтецу.

„Человѣкъ въ фризовой шинели читалъ афишку, отъ 31 августа (это было 2 сентября). Когда толпа окружила его, онъ какъ бы смутился, но на требованіе высокаго малаго,

*) „Биржевыя Вѣдомости“ 1869 г., № 75. „Герои отечественной войны“ по гр. Л. Н. Толстому.

протѣснившагося до него, опъ съ легкимъ дрожаніемъ въ голосъ началъ читать афишу съ начала.

„Я завтра рано поѣду къ свѣтлѣйшему князю,“ читалъ онъ.

— (Свѣтлѣйшему, торжественно улыбаясь ртомъ и хмуря брови, повторилъ высокій малый), чтобы съ нимъ переговаривать, дѣйствовать и помогать войскамъ истреблять злодѣевъ; станемъ и мы изъ нихъ духъ... (Видаль? побѣдоносно прокричалъ малый. Онъ тебѣ всю дистанцію развяжетъ) „искоренять и этихъ гостей къ чорту отправлять; я пріѣду назадъ къ обѣду, и примемся за дѣло, сидѣлемъ, додѣлаемъ, и французовъ отдѣлаемъ“.

„Послѣднія слова были прочитаны чтецомъ въ совершенномъ молчаніи. Высокій малый грустно опустилъ голову. Очевидно было, что никто не понялъ этихъ послѣднихъ словъ. Въ особенности слова: „я пріѣду завтра къ обѣду“, видимо, даже огорчили и чтеца и слушателей. Пониманіе народа было настроено на высокій ладъ, а это было слишкомъ просто и ненужно-понятно. Это было то самое, что каждый изъ насъ могъ самъ сказать, и что поэтому не могъ говорить указъ, исходящій отъ высшей власти.

„Всѣ стояли въ уныломъ молчаніи. Высокій малый водилъ губами и пошатывался“.

Въ это время появился на дрожкахъ полицеймейстеръ, сопровождаемый двумя драгунами, и далъ на народъ добрый окрикъ. Приказный отъ лица народа выступилъ и робко доложилъ полицеймейстеру, что народъ сошелся по объявленію сѣятельнѣйшаго графа, „по шадя живота, послужить“. Полицеймейстеръ объявилъ, что о нихъ будетъ сдѣлано распоряженіе, и велѣлъ своему кучору ѣхать.

— „Обманъ, ребята, кричитъ народъ. Иди къ самому, пуцай отчетъ подастъ,—и толпа за полицеймейстеромъ съ шумнымъ говоромъ направилась на Лубянку.

— „Что-жъ, господа да купцы повиѣхали, а мы за что пропадать будемъ; что-жъ, мы собаки, что-ли, слышалось чаще въ толпѣ“.

XXIV глава романа представляетъ намъ эту самую на-

родную группу передъ лицомъ главнокомандующаго Москвы, и при этомъ странный, дикій и почти невозможный поступокъ Ростопчина. Ростопчинъ въ это время былъ крайне недоволенъ Кутузовымъ за то, что свѣтлѣйшій его неспрашивалъ и вовсе устранялъ отъ разсмотрѣнія его неумѣстные вопросы, которые вообще любятъ предлагать на обсужденіе люди, подобные суетному и суетливому графу. Въ первомъ часу ночи Ростопчинъ получилъ отъ Кутузова письмо. Въ письмѣ этомъ князь излагалъ Ростопчину, что такъ какъ войска отступаютъ на рязанскую дорогу за Москву, то не угодно ли графу выслать полицейскихъ чиновниковъ для проведенія войскъ черезъ городъ. Гр. Ростопчинъ, послѣ свиданія съ Кутузовымъ на Поклонной горѣ, хотя и зналъ, что Москва будетъ оставлена, но тѣмъ не менѣе рѣшилъ такое извѣстіе объ этомъ, сообщаемое ему въ видѣ простого записки, удивило и раздражило его.

„Впослѣдствіи, обсуждая свою дѣятельность за это время, гр. Ростопчинъ нѣсколько разъ писалъ, что у него были двѣ важныя цѣли: *удержать спокойствіе въ Москвѣ и выпроводить изъ нея жителей.*

„Если допустить эту двойную цѣль (разсуждаетъ авторъ „Войны и мира“), то всякое дѣйствіе Ростопчина оказывается безукоризненнымъ. Для чего не вывозона московская святиня, оружіе, патроны, порохъ, запасы хлѣба, для чего тысячи народа обмануты тѣмъ, что Москву не сдадутъ, и разорены? *Для того, чтобы соблюсти спокойствіе въ столицѣ,* отвѣчаетъ объясненіе гр. Ростопчина. Для чего вывозились кинны ненужныхъ бумагъ изъ присутственныхъ мѣстъ и шаръ Лепиха, и другіе предметы? *Для того, чтобы оставить городъ пустымъ,* отвѣчаетъ объясненіе гр. Ростопчина. Стоитъ только допустить, что что-нибудь угрожало народному спокойствію, и всякое дѣйствіе становится оправданнымъ. Всѣ ужасы террора основывались только на заботѣ о народномъ спокойствіи. „На чемъ же основывался страхъ гр. Ростопчина о народномъ спокойствіи въ 1812 г.? Не только въ Москвѣ, но во всей

Россія не произошло ничего похожаго на возмущеніе. 1, 2 сентября болѣе 10 т. человѣкъ оставалось въ Москвѣ и, кромѣ толпы, собранной на дворѣ главнокомандующаго и то привлеченной имъ самимъ, ничего не было. Очевидно, что еще менѣе надо было ожидать возненія въ народѣ, ожели бы послѣ бородинскаго сраженія, когда оставленіе Москвы стало очевидно, ожели бы тогда, вмѣсто того, что бы волновать народъ раздачею оружія и афишами, Ростопчинъ принялъ мѣры къ вывозу всей святыни, пороха, зарядовъ и денегъ, и прямо объявилъ бы народу, что *городъ оставляется*.

„Ростопчинъ, пылкій, сангвиническій человѣкъ, всегда вращающійся въ высшихъ кругахъ администраціи, хотя и съ патріотическимъ чувствомъ, не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о томъ народѣ, которымъ онъ думалъ управлять. Съ самаго вступленія непріятеля въ Смоленскъ, Ростопчинъ въ воображеніи своемъ составилъ для себя роль руководителя народнаго чувства сердца Россіи. Ему не только казалось (какъ это кажется каждому администратору), что онъ управлялъ внѣшними дѣйствіями жителей Москвы, но ему казалось, что онъ руководилъ ихъ настроеніемъ, посредствомъ своихъ воззваній и афишъ, писанныхъ тѣмъ ёрническимъ языкомъ, который въ своей средѣ презираетъ народъ, и который онъ не понимаетъ, когда слышитъ его сверху. Красивая роль руководителя народнаго чувства такъ поправилась Ростопчину, онъ такъ сжился съ нею, что необходимость выйти изъ этой роли, необходимость оставить Москву безъ всякаго героическаго эффекта застала его врасплохъ, и онъ вдругъ потерялъ изъ-подъ ногъ почву, на которой стоялъ, и рѣшительно не зналъ, что ему дѣлать. Онъ самъ былъ занятъ только тою ролью, которую онъ для себя сдѣлалъ.

„Получивъ, пробужденный отъ сна, холодную и повелительную записку Кутузова, Ростопчинъ почувствовалъ себя тѣмъ болѣе раздраженнымъ, чѣмъ болѣе онъ чувствовалъ себя виновнымъ. Въ Москвѣ оставалось все то, что именно поручено было ему, все то казенное, что ему должно было вывезти. Вывезти все не было возможности.

„Кто же виноватъ въ этомъ? кто допустилъ до этого? думалъ онъ. Разумѣется, не я. У меня все было готово. Я держалъ Москву вотъ какъ! И вотъ до чего они довели дѣло! Мерзавцы, измѣнники!“ думалъ онъ, но опредѣляя хорошенько, кто были эти мерзавцы и измѣнники, но чувствуя необходимость ненавидѣть этихъ кого-то измѣнниковъ, которые были виноваты въ томъ фальшивомъ и смѣшномъ положеніи, въ которомъ онъ пахотился“.

Великому администратору было очень тяжело, когда ему пришлось испытывать тяжелую сторону администраторской позиціи. Теперь дѣло шло не по маслу, гр. Ростопчину стало не во что упираться, а между тѣмъ его начинаютъ нажучивать со всѣхъ сторонъ требованіями разрѣшеній, въ свою очередь требующихъ отъ него, — и непосредственно отъ него, а не отъ его секретарей и помощниковъ, — настоящихъ администраторскихъ способностей, которыя такъ рѣдки и находятся въ зависности отъ самыхъ многосложныхъ условій, благопріятное сочетаніе которыхъ едва ли возможно въ человѣкѣ, убѣжденномъ, что можно управлять людьми по одному праву своего положенія.

— „Ваше сіятельство, изъ вотчиннаго департамента пришли отъ директора за приказаніями, изъ консисторіи, изъ сената, изъ университета, изъ воспитательнаго дома, викариій прислалъ, спрашиваетъ?... О пожарной командѣ какъ прикажете?... Изъ острога смотритель, изъ желтаго дома смотритель“. Всю ночь, не переставая, докладывали графу.

„На всѣ эти вопросы графъ давалъ короткіе и сердитые отвѣты, показывавшіе, что приказанія его теперь не нужны, что все старательно подготовленное имъ дѣло теперь испорчено кѣмъ-то, и что этотъ кто-то будетъ нести отвѣтственность за все, что произойдетъ теперь.“

— „Ну, скажи ты этому болвану, отвѣчалъ онъ на запросъ отъ вотчиннаго департамента, чтобы оставался караулить свои бумаги. Ну, что ты спрашиваешь вздоръ о пожарной командѣ? Есть лошади, пускай ѣдутъ во Владиміръ. Не французамъ оставлять!“

— „Ваше сіятельство, прїѣхалъ надзиратель изъ сумасшедшаго дома, какъ прикажете?

— „Какъ прикажу? Пускай ѣдутъ всѣ, вотъ и все. А сумасшедшихъ выпустить въ городъ. Когда у насъ сумасшедшіе арміями командуютъ, такъ этимъ и Богъ велѣлъ.

„На вопросъ о колодникахъ, которые спдѣли въ ямѣ, графъ сердито крикнулъ на смотрителя.

— „Что-жъ тебѣ два баталіона конвоя дать, котораго нѣтъ? Пустить ихъ, и все!

— „Ваше сіятельство, есть политическіе: Мѣшковъ, Верещагинъ.

— „Верещагинъ! Онъ еще не повѣшенъ? крикнулъ Ростопчинъ. Привести его ко мнѣ!“

И вотъ отличный администраторъ обращается въ образцоваго судью, и мы видимъ судъ, который достойно передать потомству“...

(Приводится изъ романа сцена расправы съ Верещагинимъ).

„Выписавъ эту сцену, не можемъ не пожелать, чтобы на ней остановились и надъ нею пораздумали тѣ, кому, по легкомыслію или злосердечію, нравятся народныя расправы. Выросъ ли, по ихъ мнѣнію, народъ въ пятьдесятъ лѣтъ, отдѣляющихъ насъ отъ этого событія настолько, чтобы, расходясь, не разбирать кого онъ бьетъ, своего или чужого, врага или товарища, и съ другой стороны, далъ ли онъ ручательства въ томъ, что, совершивъ безумное злодѣйство толпою, онъ самъ не станетъ сѣтовать объ этомъ злодѣйствѣ и скорбѣть о пролитой крови, сколько бы жертва его азартной свирѣпости ни казалась ему за минуту передъ тѣмъ преступною? Мы хотѣли бы, чтобы надъ этимъ остановился г. Герценъ, писавшій воззваніе „къ топорамъ“, и тѣ, которые логкомысленно распространяли и поддерживали пѣвкогда это воззваніе... Если ихъ успокаивала цѣль, оправдывающая средства, то цѣль такая была и у Ростопчина, и притомъ, какъ мы сейчасъ увидимъ, это въ основаніи своемъ одна и та же цѣль, что у всѣхъ непрошенныхъ опекуновъ общественнаго счастья.

Произведя этотъ судъ и расправу, гр. Ростопчинъ уѣхалъ изъ города.

„Покачиваясь на мягкихъ рессорахъ экипажа, онъ физически успокоился и, какъ это всегда бываетъ, одновременно съ физическимъ успокоеніемъ умъ поддѣлалъ для него и причины нравственнаго успокоенія. Мысль, успокоившая Ростопчина, была не новая. Съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ міръ, люди убиваютъ другъ друга, никогда ни одинъ человѣкъ не совершилъ преступленія надъ себѣ подобнымъ, не успокоивая себя этою мыслью. Мысль эта есть *le bien public* (общественное благо) предполагаемое благо другихъ людей. Для человѣка, не одержимаго страстію, благо это никогда неизвѣстно; но человѣкъ, совершающій преступленіе, всегда вѣрно знаетъ, въ чемъ состоитъ это благо. И Ростопчинъ теперь зналъ это“. Ростопчинъ зналъ это, какъ знаютъ это всѣ, одержимые страстію, кто призываетъ массы къ такимъ страшнымъ расправамъ, къ какой призывать Ростопчинъ народъ, растерзавшій Верещагина. Библейскіе цари, пророки и первые христіане, — всѣ они убивались не безцѣльно, а для *bien public*. Дѣти іудеевъ въ Египтѣ, равно какъ и сверстники Христа, — виллемскіе грудные младенцы, — всѣ тоже были изведены для *общественнаго блага*, и если счесть жертвы, преступно погубленныя ради этого высокаго принципа, то онъ представится намъ такимъ же окровавленнымъ, какимъ представлялась г-жѣ Роланъ статуя французской свободы. Да, да, — все это не ново и, къ сожалѣнію, все это до сихъ поръ еще не устарѣло на столько, чтобы этимъ пренебрегали вмѣстѣ со старымъ, довѣчнымъ способомъ оправданія тѣхъ новые люди, которые сулятъ міру новое царство имъ однимъ, въ ихъ страстномъ ослѣпленіи, извѣстныхъ истинъ.

Ростопчинъ успокоилъ себя совершенно тѣмъ, что заправилъ Верещагина публикою для *bien public* и, подѣзжая къ Музскому мосту, онъ кончилъ совѣтъ со своею совѣстію. Онъ *убѣдилъ себя*, что ему „должно было поступить такъ, что этого требовало *le bien public*“. Но у Яузскаго моста предстоялъ еще одинъ послѣдній экзаменъ администраторскимъ способностямъ Ростопчина и его натурѣ.

Было жарко, описываетъ авторъ. Кутузовъ, нахмуренный

и унылый, сидѣлъ на лавкѣ возлѣ моста и плетью играл по песку, когда съ шумомъ подскочила къ нему коляска Человѣкъ въ генеральскомъ мундирѣ, въ шляпѣ съ плюмажемъ, съ бѣгающими, не то гнѣвными, не то испуганнымъ глазами, подошелъ къ Кутузову и сталъ по-французски говорить ему что-то. Это былъ гр. Ростопчинъ. Онъ говорилъ Кутузову, что явился сюда потому, что Москвы столицы нѣтъ больше, и есть одна армія. „Было бы другое, ожелъ бы ваша свѣтлость не сказали мнѣ, что вы не сдадите Москвы, не давши еще сраженія: всего этого не было-бы“, сказалъ онъ.

Кутузовъ глядѣлъ на Ростопчина и, какъ будто не принимая значенія обращенныхъ къ нему словъ, старательно усиливался прочесть что-то особенное, написанное на лицѣ говорившаго съ нимъ человѣка. Ростопчинъ, смутившись замолчалъ. Кутузовъ слегка покачалъ головою и, не спуская пенитующаго взгляда съ лица Ростопчина, тихо проговорилъ: „Да, я не отдамъ Москвы, но давъ сраженія“.

Думалъ ли Кутузовъ совершенно о другомъ, говоря эти слова, или нарочно, зная ихъ бессмысленность, сказалъ ихъ по гр. Ростопчину ничего не отвѣтилъ и дослѣдно отошелъ отъ Кутузова. И странное дѣло!.. Главнокомандующій Москвы, „гордый гр. Ростопчинъ, взявъ въ руку нагайку, подошелъ къ мосту и сталъ съ крикомъ разгонять столпившіяся повозки“.

Какъ малозначительна, слаба и жалка въ самомъ дѣлѣ выходитъ въ этомъ вѣрномъ художественномъ образѣ эта административная лодочка, потерявшая возможность упереться своимъ шестомъ въ народный корабль, который, — мнилось ей, и она въ сплахъ свезти куда-нибудь. Но обращаемся къ другимъ, батальческимъ картинамъ, и другимъ типамъ, которые рисуетъ намъ гр. Толстой въ этомъ томѣ „Войны и Мира“. Французы уже въ Москвѣ, и происходитъ извѣстный московскій пожаръ, изслѣдованіе или, лучше сказать, вѣроятное предположеніе причины котораго интересно не менѣе всего, до сихъ поръ разсказаннаго и достойно всего нашего вниманія.

*) Сожженіе Москвы авторъ „Войны и Мира“ не приписываетъ ничьему умыслу, ни патріотическому ни вражескому, и этимъ, всконечно, опять приведетъ въ немалое раздраженіе тѣхъ, кто привыкъ и, во чтобы то ни стало, желаетъ видѣть въ сожженіи Москвы одинъ изъ величайшихъ поступковъ русскаго не только безгранично большого, но и безгранично дальнозоркаго патріотизма. Простота, съ которою гр. Толстой относится къ московскому пожару, должна очень не нравиться сентиментальнымъ энтузіастамъ и фразистымъ патріотамъ, а между тѣмъ въ этой простотѣ слышится и чувствуется такая правда, что удивляешься, какъ можно думать иначе?

Конечной свѣчи, отъ которой сгорѣла по поговоркѣ Москва, никто не зажигалъ съ цѣлю поджога. Графъ Толстой говоритъ, что великій по размѣрамъ и по своему колоссальному значенію пожаръ московскій произошелъ отъ того же, отъ чего происходятъ на Руси девяносто девять всѣхъ пожаровъ—отъ неосторожности въ обращеніи съ огнемъ, или, какъ выражались наши старыя судебныя мѣста, „отъ воли Божіей“. На московскомъ сожженіи всѣ путались, потому что никто не хотѣлъ посмотрѣть на это дѣло просто. „Французы, говоритъ графъ Толстой, приписывали пожаръ Москвы au patriotisme féroce de Rostorchine; русскіе — изувѣрству французовъ. Въ сущности же причинъ пожара Москвы въ томъ смыслѣ, чтобы отнести пожаръ этотъ на отвѣтственность одного или нѣсколькихъ лицъ, такихъ причинъ не было и не могло быть“. Москва, по мнѣнію автора, сгорѣла вслѣдствіе того, что она была поставлена въ такія условія, при которыхъ всякій деревянный городъ непременно долженъ былъ сгорѣть, независимо отъ того, было или не было въ немъ около сотни (130) плохихъ пожарныхъ трубъ. „Москва должна была сгорѣть вслѣдствіе того, что изъ нея выѣхали жители, и также неизбежно, какъ должна загорѣться куча стружекъ, на ко-

*) „Биржевыя Вѣдомости“ 1869 г., № 98. „Герои отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому“.

торуую въ продолженіе нѣсколькихъ дней будутъ сыпаться искры огня. Деревянный городъ, въ которомъ при жителяхъ, владѣльцахъ домовъ и при полиціи бываютъ почти каждый день пожары, не можетъ не сгорѣть, когда въ немъ нѣтъ жителей, а живутъ войска, куращія трубы, раскладывающія костры и варищія себѣ ѣсть“. Авторъ вспоминаетъ, что если вездѣ, гдѣ только бываютъ расквартированы войска, число пожаровъ въ той мѣстности тотчасъ же увеличивается отъ войскъ своихъ, то тѣмъ паче число это должно было увеличиваться отъ войскъ вражескихъ. Намъ кажется, что противъ второй части этой мысли автору можно бы нѣчто возразить; вражеское войско, несмотря на свою враждебность, для увеличенія числа пожаровъ могло значить, пожалуй, гораздо менѣе своего собственнаго, а не болѣе. Со стороны пожарной опасности всѣхъ опаснѣе тѣ, кто невѣжественнѣе и небрежнѣе обращается съ огнемъ, а въ этомъ случаѣ первенство у насъ едва ли можетъ быть кѣмъ-нибудь восхищено. Въ послѣднюю крымскую войну было извѣстно очень много примѣровъ, что побывки непріятельскихъ войскъ въ обывательскомъ домѣ обходились хозяину несравненно дешевле, чѣмъ гостишка своихъ русскихъ войскъ и особенно казаконъ. Пишущій эти строки слышалъ самъ множество такихъ жалобъ отъ вѣрныхъ русскихъ людей и имѣлъ случаи читать объ этомъ картинныя описанія въ одномъ изъ крымскихъ очерковъ г. Маркова (напечатанномъ съ безцеремоннѣйшими урѣзками, смысла которыхъ объяснить невозможно). Но, оставя всякій споръ, въ самомъ дѣлѣ можно вѣрить, что *le patriotisme féroce de Rostopchine* и изувѣство французовъ въ сожженіи Москвы ни мало не причинны, и что *Москва*, какъ говоритъ Толстой, *загорѣлась отъ трубокъ, отъ куронъ, отъ негражданности непріятельскихъ солдатъ, отъ жителей, нехозяевъ домовъ*. Ежели и были поджоги (что весьма сомнительно, потому что поджигать никому не было никакой причины, а во всякомъ случаѣ хлопотливо и

опасно) *), то поджоги нельзя принять за причину, такъ какъ *безъ поджоговъ было бы тоже самое*“.

„Какъ ни лестно было французамъ обвинять звѣрство Ростоичина, и русскимъ обвинять злодѣя Бонапарта или потомъ влагать героическій факелъ въ руки своего народа, нельзя не видѣть, что такой непосредственной причины пожара не могло быть, потому что Москва должна была сгорѣть, какъ должна сгорѣть каждая деревня, фабрика, всякій домъ, изъ котораго выйдутъ хозяева и въ который пустятъ хозяйничать и варить себѣ кашу *чужихъ людей*“.

Гр. Левъ Николаевичъ вообще относится безъ особаго почтенія къ дѣятелямъ, манкирующимъ судьбою частныхъ лицъ и своими собственными, ближайшими частными обязанностями, а все усиливающимся имѣть въ виду лишь одно *le bien public* (общественное благо). Толстой приводитъ весьма краснорѣчивыя доказательства, какъ такіе суетливые люди въ общемъ великомъ дѣлѣ не приносятъ никакой пользы, и еще гораздо чаще причиняютъ весьма осязательный вредъ. Этотъ выводъ, довольно нѣрный вообще, особенно хорошо подходитъ къ событіямъ двѣнадцатаго года. Тѣ, которые, не бывъ признаны къ дѣйствианію на освобожденіе отечества, сами вмѣшивались въ это дѣло и даже удивляли народъ своими жертвами, первѣдко приносили этими жертвами гораздо болѣе вреда, чѣмъ пользы. Полки казаковъ, и собранные и содержимые богачами Мамонтовымъ и Пьеромъ Безухимъ, разбойничали и грабили окрестныя деревни. Честный и благонамѣренный Пьеръ Безухій, возмнивъ себя призваннымъ освободить отечество посредствомъ лишенія жизни Наполеона, чуть не разстрѣлялъ въ одной категоріи съ ворами и потомъ, отсиживаясь въ плѣну, поучался успокоительной мудрости у раздѣливашаго съ нимъ плѣнъ у французовъ солдатика Платона Каратаева, который „попалъ въ солдаты за то, что

*) Французы, какъ извѣстно, очень строго судили заподозрѣнныхъ въ поджигательствѣ и карали чрезвычайно сурово. Такъ это представляетъ и Толстой, одинъ изъ героевъ котораго Пьеръ Безухій, чуть не былъ разстрѣлянъ по одному ни на чемъ почти неоснованному подозрѣнію въ поджогахъ.

изъ дѣла хворостину укралъ, а вышло это хорошо,—жонатаго брата собою заступилъ“. Библейская Юднъ и Вильгельмъ Телль были призваны и избраны, и они совершаютъ,—Безухій дѣлаетъ faux pas, и отсривается за это въ сараѣ. Дальше, другіе специалисты-спасители, генералы, окружавшіе Кутузова и желавшіе если не замѣнить его, то снять его съ его мѣста. pour le bien public, все дѣлаютъ, чтобы достичь своихъ благородныхъ цѣлей: Беннгсенъ, Ростопчинъ, Ермоловъ—все изъ кожи вонъ лѣзутъ и пружатся, чтобы стяжать себѣ отъ честнаго потомка... упрекъ въ неумѣннн стать въ критическія для отечества минуты выше мелочей собственного генеральскаго самолюбія, и вредятъ дѣлу весьма серьезно. И все то, что каждый изъ нихъ дѣлаетъ, онъ дѣлалъ въ убѣжденнн, что дѣлаетъ это pour le bien public, и изъ всего выходило одно зло и одинъ вредъ. Пользу приносили въ благодотребнную пору лишь тѣ, кто не задался широкими замахами для le bien public, а дѣйствителнзъ просто и искренно, не забывая своихъ ближайшихъ частныхъ интересовъ и исполняя тѣмъ свой долгъ. Это были Кутузовъ да сама public, само населеніе страны, которое, по выраженію автора, органически сослужило отечеству свою великую службу. Всѣмъ, знакомымъ съ толками и возраженіями, которыя возбудили въ нашемъ обществѣ подобныя воззрѣнія автора „Войны и Мира“, пзвѣстно, сколько этотъ простой и безэфектннй взглядъ его раздражилъ и раздражаетъ нѣкоторыхъ историковъ и ветерановъ двѣнадцатаго года. Эти почтенные люди, желающіе выставить каждое тогдашнее движеніе осмысленнымъ, во всемъ видятъ строго обдуманннй планъ и исполненіе великихъ диспозицій, которые de facto дѣйствителнзъ только писались и почти никогда не выполнялись. Пзннѣшняя книга „Войны и Мира“, въ которой авторъ, ни мало не убѣждаясь возраженіями, сдѣланными ему ветеранами, еще настойчивѣе старается доказать, что въ наиболѣе трудную эпоху отечественной войны никакихъ обдуманннхъ плановъ ни у кого не было, и диспозицій, какія давались при какомъ-либо дѣлѣ, никогда почти на практикѣ не исполнялись, всеконечно, еще болѣе

раздражаетъ охранителей старыхъ представленій, и снова вызоветъ рядъ опроверженій, основываемыхъ на текстахъ извѣстныхъ писателей, изображающихъ ту недавнюю (и уже сдѣлавшуюся *спорною*) эпоху. Впередъ можно предрѣшить, что во всѣхъ возраженіяхъ, которыя могутъ быть сдѣланы гр. Толстому по печатаннымъ источникамъ, авторъ „Войны и Мира“ будетъ непремѣнно опровергнутъ. Но есть источники иные, непечатанные и даже неписанные, но тѣмъ не менѣе достовѣрные, это семейныя преданія, которыя живо сохранились еще у многихъ изъ насъ, и которымъ мы не имѣемъ никакихъ основаній не довѣрять. Они говорятъ намъ, что гр. Толстой не ошибается въ своихъ заключеніяхъ, что Россію дѣйствительно спасло не геройство полководцевъ, не планы мудрыхъ правителей, а та органическая сила, которая была тверда въ государѣ, фельдмаршалѣ, солдатахъ, во всемъ народѣ. Однимъ словомъ, сила спасенія заключалась въ тѣхъ, кто, не рпусаясь и не бравидуя, *дѣлалъ свое дѣло*,—даже если угодно *въ барыню*, которая убѣжала изъ Москвы въ Самару съ своими картинками и шутихами, *потому что она не хотѣла покоряться Наполеону, тогда какъ Берлинъ и Вѣна его приняли торжественно, какъ побѣдителя, и плясали на балахъ во время постыднаго чужеземнаго владычества*. У Вѣны и Берлина не было этого сокровища, этой барыни съ шутихами, которой не только лишь скромныя дочери нашей отчизны, а всѣ мы такъ стыдились и морщились отъ нея“... Это нѣкоторымъ образомъ былъ „камень, которымъ небрегли жаждущіе“, и который высокопрандивый и смѣлый писатель безтрепетною рукою вознесъ во главу угла“... (Слѣдуетъ выписка изъ романа, начинающаяся словами: „Въ то время, какъ Россія была до половины завоевана“... и кончающаяся: „...а думали о слѣдующей трети жалованья, о слѣдующей стоянкѣ, о Матрѣшкѣ маркитанткѣ и т. п.“

„Какъ бы въ противоположность прекрасно и ярко обрисованному типу разсуждающаго и умнаго человѣка тогдашняго времени, въ лицѣ князя Андрея въ „Войнѣ и Мирѣ“, есть также искусно срисованный иной типъ, въ лицѣ

Николая Ростова. Въ послѣднемъ томѣ у автора нарисована весьма подходящая къ дѣлу картинка, на которой гусарь графъ Николай Ростовъ представленъ пребывающимъ въ Воронежѣ. Войка этотъ не то, что князь Андрей, этотъ и въ военное время, какъ и въ мирное, живетъ, „не портя мыслью аппетита“. Онъ на балу у воронежскаго губернатора ухаживаетъ за какою-то одною замужнею блондинкою съ наивнѣйшею безцеремонностію, присвоенною истиннымъ гусарамъ тогдашняго времени, когда каждый „Бурцевъ, забіяка, собутыльникъ дорогой“, искренно вѣрилъ, „что чужія жены сотворены для него“. Ростовъ такъ безцеремонно приударилъ за чужою женою, что хозяйка даже считаетъ нужнымъ заступиться за „бѣднаго мужа“, съ которымъ наивный гусарь между тѣмъ даже считаетъ себя другомъ и, можетъ быть, думаетъ, что онъ дѣлаетъ ему честь, увлекая его жену подъ сѣнь струй...

Кромѣ силъ, заключавшихся въ величій духа государя Александра Благословеннаго, въ старческой мудрости Кутузова, въ величавомъ спокойствіи народа и покойной преданности солдатъ, графъ Левъ Николаевичъ видитъ причины нашей побѣды надъ Наполеономъ еще въ самой наполеоновской арміи и даже въ самомъ Наполеонѣ. Великая армія Наполеона, по выводамъ графа Толстого, принесла съ собою къ намъ въ Россію уже готовые задатки своей гибели. Съ Наполеономъ въ Москвѣ случилось нѣчто необъяснимое или нѣчто объяснимое только русскою пословицею: „Кого Богъ наказать захочетъ, прежде всего разумъ отниметъ“. Авторъ не соглашается съ военными писателями, что извѣстный фланговый маневръ за Красную Пахру былъ дѣломъ строго-обдуманнѣйшимъ, какъ полагаютъ писатели, много преувеличивая о томъ, какому лицу приписать эту глубоко-мысленную диверсію? Нельзя не согласиться съ авторомъ, что нелегко въ самомъ дѣлѣ понять, въ чемъ состоитъ глубокомысліе и гениальность этого движенія? Что самое лучшее положеніе для арміи, которую не гонятъ и не атакуютъ, есть то положеніе, въ которомъ люди легче берегутъ здоровье, и гдѣ болѣе продовольствія,—это можно

понимать, несколько не будучи геніемъ. Въ 1812 году всякій зналъ, что самое выгодное положеніе арміи послѣ отступленія отъ Москвы было на калужской дорогѣ, и потому трудно понять: какими умозаключеніями доходятъ историки до того, чтобы видѣть нѣчто глубокомысленное въ этомъ маневрѣ. Дѣло въ томъ, что, обыкновенно, говоря о *геніальности* этого движенія, забываютъ, что хорошо, что случилось такъ, что не случилось многого такого, что легохонько могло-бы случиться! Авторъ ставитъ рядъ очень краснорѣчивыхъ вопросовъ: „Что было бы, если бы не сгорѣла Москва? Если бы Мюратъ не потерялъ изъ виду русскихъ, если бы Наполеонъ не находился въ бездѣйствіи, если бы подъ Красною Пахрою русская армія, по совѣту Беннигсона и Барклая, дала сраженіе? Что было бы, если бы французы атаквали русскихъ, когда она шла за Пахрою? Что было бы, если бы впоследствии Наполеонъ, подойдя въ Тарутину, атаквалъ русскихъ, хотя бы съ одною десятою долею той энергіи, съ которою онъ атаквалъ въ Смоленскѣ? Что было бы, если бы французы пошли на Петербургъ? При всѣхъ этихъ предположеніяхъ *спасительность фланговаго марша могла перейти въ пагубность*“. Совершенно вѣрно, что если бы случилось одно что-нибудь изъ того, что насчитано Толстымъ—и „геніальное“ фланговое движеніе вышло бы вовсе не геніальнымъ, и обошлось бы намъ страшно дорого. Авторъ смѣло заключаетъ, что „въ мѣсяцъ грабежа французскаго войска въ Москвѣ и спокойной стоянки русскихъ подъ Тарутинимъ совершилось измѣненіе въ отношеніи силъ обоихъ войскъ, духа и численности, вслѣдствіе котораго преимущество силы оказалось на сторонѣ русскихъ. Признаками этого были: присылка Лористона, изобиліе провіанта въ Тарутинѣ и свѣдѣнія, приходившія со всѣхъ сторонъ о бездѣйствіи и безпорядкѣ французовъ, и комплектованіе нашихъ полковъ рекрутами, и продолжительный отдыхъ русскихъ солдатъ“.

Охотниковъ вредить главнокомандующему было много повсюду и особенно вблизи его собственной особы. Всѣ эти люди, всѣ эти „снодвижники“, права свои срывки съ „ста-

раго человѣка“ и копая ему ямы, вовсе и не помышляли, что они роютъ могилу отчизнѣ. Авторъ рассказываетъ, что въ штабѣ арміи, по случаю враждебности Кутузова съ его начальникомъ штаба Беннигсономъ, и еще болѣе по случаю присутствія тамъ довѣренныхъ лицъ Государя, шла сложная игра партій: А подкапывался подъ В, Д подъ С и т. д. Рѣшенія давались не такія, какія бы желалось давать, все путалось, срывалось же на томъ, съ кого хотѣлось сорвать, все другъ друга подзадоривало, злило и смущало. „Старый человѣкъ“ является такимъ многострадальнымъ страстотерпцемъ, что его дѣйствительно становится необыкновенно жалко, и онъ овладѣваетъ въ душѣ читателя большими симпатіями. Полновластѣйшій князь Кутузовъ такъ осылонъ недостойнѣйшими интригами (ради bien public), что нерѣдко вынужденъ поступать противъ своихъ убѣжденій и, чтобы кинуть отступниго докучной интригѣ, даетъ кровопролитнѣйшее тарутинское сраженіе, судьбу котораго предвидѣлъ и ни мало въ ней не сомнѣвался.

Здѣсь идетъ весьма замѣчательный рассказъ о томъ, что побудило фельдмаршала къ тарутинскому дѣлу. Это отчасти напоминаетъ прежнія разсужденія автора о самыхъ причинахъ войны съ Франціею, за которыя графъ Толстой уже выслушалъ столько разнообразныхъ замѣчаній“... (Слѣдуетъ выписка, начинающаяся: „Второго октября казакъ Шаповаловъ, находясь въ разъѣздѣ, убивъ одного и подстрѣливъ другого зайца...“ Конецъ выписки: „...Отдавъ приказаніе на то, что онъ считалъ бесполезнымъ и преднымъ, благословилъ совершившійся фактъ“).

Впослѣдствіи Кутузовъ получилъ отъ государя письмо, писанное 2 октября. Государю тоже было угодно, чтобы отступленія и выжиданія были замѣнены дѣйствіями иного рода. Кутузовъ по этому письму покойнаго императора непременно долженъ былъ бы дать сраженіе, которое, какъ выше сказано, самъ онъ, Кутузовъ, считалъ бесполезнымъ. Впрочемъ, письмо императора было получено тогда, когда сраженіе было уже дано.

*) Падѣ ролью, которую игралъ въ этомъ дѣлѣ Алексѣй Петровичъ Ермоловъ, тоже нельзя не остановиться. О характерѣ и правилахъ этого дѣятеля въ нѣкоторыхъ слояхъ нашего общества существуютъ представленія весьма невѣрные. Графъ же Толстой рисуетъ намъ эту недавно оставившую свѣтъ личность въ томъ свѣтѣ, въ какомъ большинство людей, имѣвшихъ случай знать покойнаго Ермолова, представляли его лишь въ самыхъ интимныхъ разсказахъ. Передъ начинающимися сейчасъ строками вспомнимъ, что Ермоловъ жаждалъ схватки и, какъ мы видѣли нѣсколько строкъ назадъ, даже докучалъ этимъ Беннигсону. Теперь желанія его исполнялись. Кутузовъ противъ своей воли и противъ всѣхъ расчетовъ и соображеній давалъ сраженіе. Алексѣю Петровичу предоставлено самое распоряженіе началомъ дѣла. Наступленіе было назначено пятого октября.

„4 числа утромъ Кутузовъ подписалъ диспозицію. *Толъ прочелъ ее Ермолову, предлагая заняться дальнѣйшими распоряженіями.* Когда диспозиція была готова въ должномъ количествѣ экземпляровъ, былъ призванъ офицеръ и посланъ къ Ермолову, чтобы передать ему бумаги для исполненія“.

Но посланный нигдѣ не находилъ Ермолова, и послѣ долгихъ стараній отыскалъ его уже на какой-то пирушкѣ. Этому послѣднему говорилъ его штабный товарищъ, *что Ермоловъ отлучился не случайно.* „Это штука, это все нарочно, чтобы Коновницына подкатить. Посмотри, завтра каша какая будетъ!“

И дѣйствительно, Ермоловъ „подкатилъ“ Коновницына. Является ужасная каша, какой свой своимъ не долженъ бы, кажется, подстроить ни изъ какихъ видовъ, а не только изъ-за того, чтобы „подкатить Коновницына“. Диспозиція не повела ни къ чему. Сколько ни велика была власть фельдмаршала, и сколько ни важными должны были казаться въ эти критическія минуты его приказанія, они не исполнены самымъ дерзостнѣйшимъ образомъ. Виновникомъ

*) „Биржевыя Вѣдомости“ 1869 г., № 99. „Герои отечественной войны во гр. А. И. Толстому“.

всего этого неисполненія, за что слѣдовалъ бы самый строгій военный судъ, является генералъ Алексѣй Петровичъ Ермоловъ, тотъ самый Ермоловъ, котораго общественное мнѣніе всегда почитало крайню обиженнымъ, и желало видѣть его во главѣ нашихъ военныхъ силъ въ послѣднюю крымскую войну.

Вотъ что рассказываетъ графъ Толстой объ этомъ еще очень недавно весьма популярномъ у насъ человѣкѣ:

„На другой день рано утромъ дряхлый Кутузовъ велѣлъ разбудить себя, помолился Богу, одѣлся и съ непріятнымъ сознаніемъ того, что онъ долженъ руководить сраженіемъ, которое онъ не одобрялъ, сѣлъ въ коляску и выѣхалъ изъ Летаховки, вѣрстъ позади Тарутина, къ тому мѣсту, гдѣ должны были быть собраны наступающія колонны, Кутузовъ ѣхалъ, засыпая и просыпаясь и прислушиваясь, нѣтъ ли справа выстрѣловъ, не началось ли дѣло? Но все еще было тихо. Только начинался разсвѣтъ сырого и пасмурнаго осенняго дня. Подѣзжая къ Тарутину, Кутузовъ замѣтилъ кавалеристовъ ведшихъ на водопой лошадей черезъ дорогу, по которой ѣхала коляска. Кутузовъ присмотрѣлся къ нимъ, остановилъ коляску и спросилъ: „какого полка?“ Кавалеристы были изъ той колонны, которая должна была быть уже далеко впередъ въ засадѣ. „Ошибка, можетъ быть“, подумалъ старый главнокомандующій. Но, проѣхавъ еще дальше, Кутузовъ увидалъ пѣхотные полки, ружья въ козлахъ, солдатъ за кашею и съ дровами въ подбитанникахъ. Позвали офицера. Офицеръ доложилъ, что никакого приказанія о выступленіи не было.

— „Какъ не было? началъ Кутузовъ, но тотчасъ же замолчалъ и велѣлъ позвать къ себѣ старшаго офицера. Когда былъ призванъ офицеръ, оказалось, что дѣйствительно приказанія отъ Ермолова передано не было. Кутузовъ разругалъ этого офицера площадными словами. Другой повернувшійся капитанъ Брозинъ, ни въ чемъ повиннаго, потерпѣлъ ту же участь.

— „Это что за каналья еще? Разстрѣлять! Мерзавцы! хрипло кричалъ Кутузовъ, махая руками и шатаясь. Онъ

испытывалъ физическое страданіе. Онъ, главнокомандующій, свѣтлѣйшій, котораго всѣ увѣряютъ, что никто никогда не имѣлъ такой власти въ Россіи, какъ онъ, онъ поставленъ въ это положеніе, *поднятъ на смѣхъ передъ всею арміею!* „Напрасно такъ хлопоталъ, молился объ нынѣшнемъ дѣлѣ, напрасно не спалъ ночь и все обдумывалъ“, думалъ онъ о самомъ себѣ. „Когда бы я былъ мальчишкою офицеромъ, никто бы не смѣлъ такъ надсмѣяться надо мною...“ А теперь!.. Онъ испытывалъ физическое страданіе, какъ отъ тѣлеснаго наказанія, и не могъ но выразить его гнѣвными и страдальческими криками“.

Вотъ какія штуки продѣлывали „сподвижники“ съ главнокомандующимъ, въ рукахъ котораго, повидимому, дѣйствительно была сосредоточена громаднѣйшая власть. Но и это еще не все. Спасители отечества не уставали въ интригахъ и въ крайнихъ дерзостяхъ передъ однимъ сильнымъ въ этой брани „старымъ человѣкомъ“. Кутузова терзали интригами на каждомъ шагѣ, а къ тому же и самъ онъ, чему легко вѣрится, еще болѣе терзался тѣмъ, что не зналъ, что предпринять, и какъ спасти государство? Онъ имѣлъ одинъ планъ довести французовъ до гибели, *„заставить ихъ жрать лошадиное мясо“*, но какъ устроить эту гибель? Это не слагалось ясно въ его сознаніи. Гибель эта устроилась, какъ полагаетъ гр. Толстой, сама собою. На диспозицію въ сраженіи никто не попалъ, ни гр. Орловъ-Денисовъ ни Грековъ; пѣхотныя колонны не показывались. Гр. Орловъ-Денисовъ шопотомъ скомандовалъ своимъ людямъ „садись“, распредѣлились, перекрестились и съ Богомъ! По лѣсу загремѣло „ура“, и одна сотня за другою съ своими дротиками на перовѣхъ полетѣли казаки черезъ ручей къ лагерю.

„Одинъ отчаянный и странный крикъ перваго увидѣвшаго казаковъ француза, и все, что было въ лагерѣ, неодѣтое, съ просонковъ бросило пушки, ружья, лошадей и побѣжало куда попало.“

„Ежели бы казаки преслѣдовали французовъ, не обращая вниманія на то, что было позади и вокругъ нихъ, они

взяли бы и Мюрата, и все, что тутъ было. Начальники и хотѣли этого. Но нельзя было сдвинуть съ мѣста казаковъ, когда они добрались до добычи и плѣнныхъ. Команды никто не слушалъ“.

Дальше идетъ картинное описаніе самаго тарутинскаго дѣла, при которомъ все сбивались, путались, не попадали на свои мѣста по диспозиціи, упрекали другъ друга Богъ вѣсть въ чемъ, и гибли въ огромномъ числѣ, безъ всякой пользы.

„Когда Кутузову допесли, что въ тылу французовъ, гдѣ прежде никого не было, теперь было два баталіона поляковъ, онъ покосился назадъ на Ермолова.“

— „Вотъ просятъ наступленія, предпринимаютъ разные проекты—а чуть приступимъ къ дѣлу, ничего не готово, и предупрежденный непріятель беретъ свои мѣры.“

„Ермоловъ прищурилъ глаза и слегка улыбнулся, услышавъ эти слова.“

— „Это онъ на мой счетъ забавляется, тихо сказалъ Ермоловъ, и толкнулъ козѣнкою Раовскаго, стоявшаго подлѣ него.“

„Все сраженіе состояло только въ томъ, что сдѣлали казаки Орлова-Денисова; остальные войска лишь напрасно потеряли нѣсколько сотъ людей“.

Но... да не посѣтуемъ на старческую мудрость и старческое равнодушіе „просыпаннаго и снова засынавшего Кутузова“. Старость вообще ходитъ осторожно и подозрительно глядитъ, да и нельзя ей глядѣть иначе, когда она знаетъ: „какъ дѣлается исторія“. Тарутинское сраженіе было дѣло, за которое, по словамъ Толя, „надо было расстрѣлять“, а по словамъ Кутузова, это было дѣло, потерянное по непростительному неумѣію, небрежности и безпорядку, а между тѣмъ окончилось это дѣло для „сподвижниковъ“ вотъ чѣмъ:

„Вслѣдствіе этого сраженія Кутузовъ получилъ алмазный знакъ; Беннигсенъ тоже алмазы и 10,000 р.; другіе по чинамъ соотвѣтственно получили тоже много пріятнаго, и послѣ этого сраженія сдѣланы еще новыя перемѣны въ штабѣ.“

„Вотъ такъ у насъ всегда дѣлается, все наизуворотъ, говорили послѣ тарутинскаго сраженія русскіе офицеры и генералы, точно такъ же, какъ говорятъ и теперь, что кто-то тамъ изумный дѣлаетъ такъ наизуворотъ, а мы бы не такъ сдѣлали. Но люди, говорящіе такимъ образомъ, или не знаютъ дѣла, про которое говорятъ, или умышленно обманываютъ себя“.

Злобная, своекорыстная интрига особъ, у которыхъ на устахъ не остывало *le bien public* (общественное благо); и которые въ то же время на самомъ дѣлѣ заботились о своихъ самолюбіяхъ, не оставляло фельдмаршала и въ послѣдующіе дни, пока не исполнился обѣтъ монарха, и ни одного непріятельскаго воина не осталось на землѣ русской. Въ то время, когда армія Наполеона, по непостижимымъ ошибочнымъ расчетамъ вождя своего, двинулась Богъ знаетъ какими путями, преступно растративъ провіантъ, съ которымъ она могла держаться и въ Москвѣ и во многихъ мѣстахъ по дорогѣ; когда Кутузову донесено было, что Москва свободна, и старый человѣкъ воскликнулъ: „*Rossia sauvée!*“ — всѣ высшіе чины арміи почувствовали неотразимое желаніе отличиться, отрѣзать, перехватить, полонить французовъ, и всѣ требовали наступленія. Кутузовъ одинъ всѣ силы свои употребляетъ для того, чтобы противодѣйствовать наступленію.

Кутузовъ не могъ сказать жаждавшимъ рѣзни того, что говоримъ теперь. Зачѣмъ сраженія, и загоразиванія дорогъ, и потери своихъ людей, и безчеловѣчное добиваніе несчастныхъ? Зачѣмъ все это, когда отъ Москвы до Вязьмы безъ сраженія растаяла одна треть французскаго войска. Но онъ говорилъ имъ, выходя изъ своей старческой мудрости, то, что они могли понять. Онъ говорилъ имъ про золотой мостъ, и они смѣлились надъ нимъ, клеветали на него и рвали, и метали, и куражились надъ убитымъ звѣремъ.

„Подъ Вязьмою Ермоловъ, Милорадовичъ, Платовъ и другіе, находясь въ близости отъ французовъ, не могли воздержаться отъ желанія отрѣзать и опрокинуть два французскіе корпуса. Кутузову, извѣщая его о ихъ обманѣ,

вмѣсто донесенія, они прислали въ конвертъ листъ бѣло-бумажный. И сколько ни старался Кутузовъ удерживать войска войска наши атаквали, стараясь загородить дорогу. И въ хотные полки съ музыкою и барабаннымъ боемъ ходили въ атаку, и побили и потеряли тысячѣ людей“.

Этимъ кончается вновь вышедшій 5-й томъ „Войны и Мира“, представивъ намъ взгляды хотя и не совсѣмъ новые но высказанные съ замѣчательнымъ тактомъ и убѣдительною, и очертивъ многіе историческія лица не карандашомъ казеннаго историка, а свободною рукою правдиваго и чуткаго художника.

Изъ „Виржевыхъ Вѣдомостей“ 1869 г.

* * *

Давно ожидаемый пятый томъ всѣхъ заинтересованнаго всѣхъ увлекшаго романа графа Толстого „Война и Миръ“ наконецъ, вышелъ въ свѣтъ, хотя никакъ нельзя сказать чтобы это былъ послѣдній томъ, напротивъ, есть всѣ основанія думать, что романъ продолжится, потому что такъ называемая завязка романа не только не разрѣшена, но относительно нѣкоторыхъ лицъ его она какъ-бы только начинается; но крайней мѣрѣ, эти лица оставлены авторомъ въ такомъ положеніи, что читателю не хочется и вѣрить, чтобы онъ не узналъ о нихъ ничего дальѣе. Вышедшій томъ посвященъ событіямъ 1812 года, т. е., говоря иначе дѣйствующія лица вращаются въ кругѣ событій этого года. При этомъ авторъ не только не оставляетъ той цѣли историка и критика историческихъ событій, смотрящаго на нихъ съ извѣстной точки зрѣнія, въ какой онъ выступилъ уже въ четвертомъ томѣ, но какъ бы еще ярче желаетъ обозначить ее и выставить на видъ. И въ пятомъ томѣ, какъ въ четвертомъ, графъ Толстой является все съ той-же проповѣдью, именно, что въ исторіи все зависитъ отъ случая, отъ слагающихся обстоятельствъ. „Для тѣхъ людей, говоритъ онъ, которые привыкли думать, что планы войны

*) „Синъ Отечества“ 1869 г., № 56. „Новыя книги“. Статья А. Х.

и сраженій составляютъ полководцами такимъ-же образомъ, какъ каждый изъ насъ — сидя въ своемъ кабинетѣ надъ картою, дѣлаетъ соображенія о томъ, какъ и какъ-бы онъ распорядился въ такомъ-то и такомъ сраженіи, представляются вопросы, почему Кутузовъ при отступленіи не поступилъ такъ-то и такъ-то, почему онъ не занялъ позиціи прежде Филей, почему онъ сразу не отступилъ на калужскую дорогу, оставивъ Москву и т. п. Люди, привыкшіе такъ думать, забываютъ или не знаютъ тѣхъ неизбѣжныхъ условій, въ которыхъ всегда происходитъ дѣятельность всякаго главнокомандующаго. Дѣятельность полководца не имѣетъ ни малѣйшаго подобія съ той дѣятельностью, которую мы изображаемъ себѣ, сидя свободно въ кабинетѣ, разбирая какую-нибудь кампанію на картѣ, съ извѣстнымъ количествомъ войска, съ той и съ другой стороны, и въ извѣстной мѣстности, и начиная свои соображенія съ какого-нибудь извѣстнаго момента. Главнокомандующій никогда не бываетъ въ условіяхъ *начала* какого-нибудь событія, въ которыхъ мы всегда разсматриваемъ событія. Главнокомандующій всегда находится въ серединѣ движущагося ряда событій и такъ, что никогда, ни въ какую минуту, онъ не бываетъ въ состояніи обдумать все значеніе совершающагося событія. Вообще авторъ какъ-бы съ упорствомъ отстаиваетъ тотъ взглядъ, какой онъ высказалъ въ предшествовавшемъ томѣ и по поводу котораго такъ усердно распространилась критика. Мы съ своей стороны не считаемъ нужнымъ останавливаться на этомъ предметѣ, просто посоветовавъ тѣмъ, кого интересуютъ этотъ вопросъ, обратиться къ статьямъ г. Витмера, помѣщеннымъ въ „Военномъ Сборникѣ“, кратко съ своей стороны добавивъ лишь, что взглядъ графа Толстого — не новый взглядъ: съ нимъ, напротивъ, какъ можно было встрѣтиться и до романа „Война и Миръ“, такъ долго придется, навѣрно, встрѣчаться и послѣ, а встрѣчаться съ нимъ придется и потому, что остъ въ немъ и своя доля правды. Какъ-бы то ни было, но вмѣсто того, чтобы спорить о взглядахъ на ходъ историческихъ событій, мы считаемъ за лучшее обратиться къ изложенію и разсмотрѣнію романа.

Бородинское сраженіе кончено; русскія войска отступили къ Москвѣ. Вопросъ теперь состоялъ въ томъ, отстаивать Москву и дать-ли передъ ней новую битву врагу или уступить и оставить ее ему, а войскамъ продолжать отступленіе. И вотъ авторъ кратко, но выразительно рисуетъ прежде всего картину военнаго совѣта, созваннаго русскими главнокомандующими подъ Москвой, въ просторной избѣ крестьянина Савостьянова, и мастерской рукой проведенными чертами отмѣчаетъ здѣсь и фальшивую ноту Беннигсена и созрѣвшую рѣшимость Кутузова, въ нѣсколько дней, часовъ, можеть быть, минутъ пережившаго гораздо болѣе, чѣмъ сколько другой успѣваетъ пережить въ цѣлую жизнь,—того Кутузова, который еще такъ недавно, на доносеніе Ермолова, посланнаго имъ осмотрѣть позицію у Филей и доносившаго, что на этой позиціи драться нельзя, а надо отступить, отиѣчалъ, взявъ его за руку и повернувъ ее такъ, что можно было оцунать нульсъ: „ты нездоровъ, голубчикъ, подумай, что ты говоришь!“ и который теперь, выслушавъ совѣты собесѣдниковъ, вставъ и подойдя къ столу, произноситъ приказъ объ отступленіи, и который потомъ, отпустивъ генераловъ, облокотившись на столъ, думаетъ лишь о томъ страшномъ вопросѣ „когда-же, когда-же, наконецъ, рѣшилось то, что оставлена Москва? Когда-же было сдѣлано то, что рѣшило вопросъ, кто виноватъ въ этомъ?“, и порѣшаетъ свою думу грознымъ пророчествомъ: „да нѣтъ-же, будутъ-же они лошадиное мясо жрать, какъ турки“. Вслѣдъ затѣмъ авторъ рисуетъ и другую картину, картину того, что представляла въ то время Москва. „Начиная отъ Смоленска, говорить онъ здѣсь, во всѣхъ городахъ и деревняхъ русской земли, безъ участія графа Ростопчина и его афишъ происходило то-же самое, что произошло въ Москвѣ. Народъ съ безпечностью ждалъ непріятеля, не бунтовалъ, не волновался, никого не раздиралъ на куски, а спокойно ждалъ своей судьбы, чувствуя въ себѣ силы въ самую трудную минуту найти то, что должно было сдѣлать. И какъ только непріятель подходилъ, богатѣйшіе элементы населенія ухо-

дили, оставляя свое имущество, бѣдѣйшіе оставались и зажигали и истребляли то, что оставалось“. И сознаніе того, что Москва будетъ взята, лежало въ русскомъ московскомъ обществѣ 12 года; и та барыня, которая въ іюнѣ мѣсяцѣ, съ своими арапами и шутками, поднималась изъ Москвы въ саратовскую деревню, съ смутнымъ сознаніемъ того, что она Бонапарту не слуга, и со страхомъ, чтобы ее не остановили по приказанію графа Ростопчина, дѣлала просто и истинно то великое дѣло, которое спасло Россію“. Не понималъ только ничего этого графъ Ростопчинъ, и графъ Толстой не падать его и не жалѣть красокъ, чтобы осмѣять эту безцѣльную дѣятельность. „Графъ Ростопчинъ,—такъ романистъ-историкъ отзывнется о немъ, и, можетъ быть, гораздо вѣрнѣе песториковъ не романистовъ,—то стыдилъ тѣхъ, которые уѣзжали, то вывозилъ присутственные мѣста, то выдавалъ никому негодное оружіе нѣяному сброду, то поднималъ образа, то запрещалъ Августину вывозить мощи и иконы, то захватывалъ всѣ частныя подводы, бывшія въ Москвѣ, то на 136 подводахъ увозилъ дѣлаемый Ленихомъ воздушный шаръ, то намекалъ на то, что онъ сожжетъ Москву, то рассказывалъ, что онъ сжегъ свой домъ, и написалъ прокламацію французамъ, гдѣ торжественно упрекалъ ихъ, что они разорили его дѣтскій пріютъ, то принималъ славу сожженія Москвы, то стрекался отъ нея, то приказывалъ народу ловить пѣшихъ шпионовъ и приводить къ нему, то упрекалъ за это народъ, то высылалъ всѣхъ французовъ изъ Москвы, то оставлялъ въ городѣ г-жу оберъ Шальме, составлявшую центръ всего французскаго московскаго населенія, а безъ особой вѣнны приказывалъ схватить и увезти въ ссылку стараго почетнаго почтдиректора Ключарева, то собиралъ народъ на Три Горы, чтобы драться съ французами, то, чтобы отдѣлаться отъ этого народа, отдавалъ ему на убійство человѣка, и самъ уѣзжалъ въ заднія ворота, то говорилъ, что онъ не пероживетъ несчастья Москвы, то писалъ въ альбомы по-французски стихи о своемъ участіи въ этомъ дѣлѣ,—этотъ человѣкъ не понималъ значенія

совершающагося событія, и хотѣлъ только что-то сдѣлать самъ, удивить кого-то, что-то совершить патріотически-геройское, и какъ мальчикъ рѣзвился надъ величавымъ и неизбѣжнымъ событіемъ оставленія и сожженія Москвы, и старался своею маленькою рукою то поощрять, то задерживать теченіе громаднаго, уносившаго его вмѣстѣ съ собою народнаго потока. Но ни Ростовичи ни ого афиши и никто и ничто не могло остановить выхода и выѣзда жителей изъ Москвы. Среди этой-то суеты и хлопотъ застаемъ мы и семейство Ростовыхъ, которое состояло теперь изъ находящихся въ городѣ графа, графини, Наташи, Пети, уже 16-лѣтняго офицера, и Сони. Николай-же Ростовъ находился ремонтеромъ въ Воронежѣ. Семейство это, доведшее, по безпечности графа, заботы о выѣздѣ до послѣднихъ дней августа, было теперь въ самомъ разгарѣ хлопотъ; но тутъ были у каждого изъ нихъ свои, такъ сказать, хлопоты, хорошо однакожъ отражающія на себѣ характеръ каждого лица. Графъ Илья Андреевичъ былъ занятъ разъѣздами по городу и собираніемъ со всѣхъ сторонъ ходившихъ слуховъ, а дома дѣлалъ общія поверхностныя и торопливныя распоряженія о приготовленіяхъ къ отъѣзду. Графиня слѣдила за уборкой вещей, всѣмъ была недовольна и ходила за безпрестанно убѣгающимъ отъ нея Петей, ревнуя его къ Наташѣ, съ которой онъ проводилъ все время, Соня одна распоряжалась практической стороною дѣла—укладываніемъ вещей, хотя и была въ последнее время особенно грустна и молчалива, вслѣдствіе письма Николая, въ которомъ онъ упоминалъ о княжнѣ Марьѣ и по поводу котораго со стороны графини въ ея присутствіи были высказаны радостныя сужденія о томъ, что она видитъ въ этой встрѣчѣ промышлъ Божій. Петя и Наташа не только въ дѣлѣ уборки и выѣзда не помогали родителямъ, но лишь мѣшали и надоедали всѣмъ въ домѣ. „И цѣлый день почти, — дополняетъ авторъ, — слышны были въ домѣ ихъ бѣготня, крики и безпричинный хохотъ. Они смѣялись и радовались вовсе не потому, что была причина ихъ смѣху, но имъ на душѣ было радостно

и весело, и потому все, что ни случалось, было для нихъ причиною радости и смѣха. Петѣ было весело отъ того, что уѣхавъ изъ дома мальчикомъ, онъ вернулся, какъ ему говорили все, молодцомъ мужчиной, весело было отъ того, что онъ дома, отъ того, что онъ изъ Бѣлой церкви, гдѣ не скоро была надежда попасть въ сраженіе, попалъ въ Москву, гдѣ на дняхъ будутъ драться, и главное отъ того, что Наташа, настроенію духа которой онъ всегда покорялся, была весела. Наташа-же была весела потому, что она слишкомъ долго была грустна, и теперь ничто не напоминало ей причину ея грусти, и она была здорова. Еще она была весела потому, что былъ человѣкъ, который ею восхищался (восхищеніе другихъ было той мазью колесъ, которая была необходима для того, чтобы ея машина совершенно свободно двигалась), и Петя восхищался ею. Главное-же, веселы они были потому, что война была подъ Москвою, что будутъ сражаться у заставы, что раздають оружіе, что все бѣгутъ, уѣзжаютъ куда-то, что вообще происходитъ что-то необычайное, что всюду радостно для человѣка, особенно для молодого.

Между тѣмъ въ Москву идутъ одна за другой партіи и подводы раненыхъ. Наташа среди суетливой уборки, 3-го августа, выйдя разъ за ворота, встрѣтила кибитку съ раненымъ офицеромъ, и въ состраданіи къ страждущему пригласила его остановиться въ ихъ домѣ, выпросила затѣмъ на то и позволеніе отца и матери. Въ ту же ночь Кузьминичиха, стоявшая у воротъ, зазвала къ Ростовымъ новаго раненаго, котораго везли въ коляскѣ, совершенно закрытой фартукомъ и съ опущеннымъ верхомъ: на козлахъ вмѣстѣ съ извозчикомъ сидѣлъ старикъ камердинеръ, а сзади въ повозкѣ ѣхали докторъ и два солдата. Его внесли во флигель и положили въ бывшей комнатѣ M-me Schœff. Этотъ опасно раненый, котораго не чаяли какъ довести, былъ не-сто иной, какъ Андрей Волконскій. Утромъ Ростовымъ предстояло выѣхать; тридцать подводъ стояли готовыми, съ положеннымъ имуществомъ. Этому имуществу однакожъ неужедно было всему двинуться. Еще съ вечера и рано

утромъ на дворъ Ростовыхъ приходили посланные денщики и слуги отъ раненыхъ офицеровъ, приходили и сами раненые, прося дать имъ подводу для выѣзда изъ Москвы. Дворецкій наотрѣзъ отказывалъ всѣмъ, но вышелъ самъ старикъ графъ и, выслушавъ отъ раненаго офицера его просьбу, приказалъ очистить одну или двѣ телѣги, а Наташа довершила дѣло: она уговорила даже мать свою, сначала не хотѣвшую слышать о томъ, отдать всѣ подводы подъ раненыхъ. И какъ совершила она это дѣло! Наташа явилась здѣсь истинной героиней добра! Въ пятomъ томѣ эта сцена—одна изъ самыхъ сильныхъ и затрогивающихъ читателя и отлично изображающихъ семейство Ростовыхъ и въ частности чистую и милую душу Наташи, хотя, нужно сказать, она очень не велика. Мы позволимъ себѣ привести ее.

„На дворѣ все также стояли заложенные подводы. Двѣ изъ нихъ были развязаны, и на одну изъ нихъ взлѣзалъ офицеръ, поддерживаемый денщикомъ. — Ты знаешь за что? спросилъ Петя Наташу (Наташа поняла, что Петя разумѣлъ, за что поссорились отецъ съ матерью). Она не отвѣчала.

— Зато, что папенька хотѣлъ отдать всѣ подводы подъ раненыхъ, сказалъ Петя. Мнѣ Васильичъ сказалъ. По моему...

— По моему, другъ, закричала почти Наташа, обращая свое озлобленное лицо къ Петѣ,—по моему, это такая гадость, такая мерзость, такая... я не знаю. Развѣ мы нѣмцы какіе-нибудь? Горло ея задрожало отъ судорожныхъ движеній, и она, боясь ослабѣть и выпустить даромъ зарядъ своей злобы, повернулась и стремительно бросилась къ лѣстницѣ.

Бергъ сидѣлъ подлѣ графини и родственно почтительно утѣшалъ ее, графъ съ трубкой въ рукахъ ходилъ по комнатѣ, когда Наташа съ изуродованнымъ злобой лицомъ, какъ буря ворвалась въ комнату и быстрыми шагами подошла къ матери.

— Это гадость! Это мерзость! закричала она. Это не можетъ быть, чтобы вы приказали.

Бергъ и графиня недоумѣвая смотрѣли на нее. Графъ оставался у окна, прислушиваясь.

— Маменька, это нельзя, посмотрите что на дворѣ! закричала она, они остаются!

— Что съ тобой? Кто они? Что тебѣ надо?

— Раненые, вотъ что! Это нельзя, маменька голубушка, это не то, простите, пожалуйста, голубушка. Маменька, ну что намъ-то, что мы увеземъ; вы посмотрите только, что на дворѣ. Маменька! Это не можетъ быть! Графъ стоялъ у окна и, не поворачивая лица, слушалъ слова Наташи. Вдругъ онъ засонѣлъ носомъ и приблизилъ свое лицо къ окну. Графиня взглянула на дочь, увидѣла ее пристыженное за мать лицо, увидѣла ее волненіе, поняла, отчего мужъ теперь не оглядывался на нее и съ растеряннымъ видомъ оглянулась вокругъ себя.

— Ахъ, да дѣлайте, какъ хотите! Развѣ я мѣшаю кому-нибудь! сказала она, еще не вдругъ сдаваясь.

— Маменька, голубушка, простите меня!

Но графиня оттолкнула дочь и подошла къ графу.

— Mon cher, ты распорядись, какъ надо... Я, вѣдь, не знаю этого, сказала она, виновато опуская глаза.

— Янца... янца курицу учать... сквозь счастливыя слезы проговорилъ графъ и обнялъ жену, которая рада была скрыть на его груди свое пристыженное лицо.

— Маменька, маменька, можно распорядиться? Можно? спрашивала Наташа.—Мы все-таки возьмемъ нужное, говорила она. Графъ утвердительно кивнулъ ей головой, и Наташа тѣмъ быстрымъ шагомъ, которымъ она бѣгивала въ горѣлки, побѣжала въ переднюю и по лѣстницѣ на дворъ.

Въ этой небольшой сценѣ превосходно, повторяемъ, мы видимъ характеристику всего дома Ростовыхъ, и особенно рельефно выступаетъ цѣлая, здоровая, подвижная на все доброе и великое натура Наташи, и нельзя не удивляться той простотѣ и естественности, съ какими такъ къ тому-жъ кратко авторъ умѣлъ передать цѣлую разыгравшуюся семейную драму, цѣлый совершонный подвигъ! А между

тѣмъ какой силой вызывается этотъ подвигъ! Какъ обаятеленъ и самый разсказъ! Невольно уже потомъ какъ-то вѣрится и тому, что для тѣхъ-же раненыхъ и управляющій рѣшился уступить свою повозку, и графиня свою гардеробную, и Петя сѣсть на облучекъ съ кучеромъ, и всѣмъ было весело, а особенно Наташѣ. Какъ-бы то ни было, но раненые были обязаны ей, что получили повозки и вмѣстѣ съ семействомъ Ростовыхъ выѣхали изъ Москвы. Вмѣстѣ съ ними выѣхала и коляска Андрея, но Наташа, выѣзжая изъ Москвы, еще не знала, что въ этой коляскѣ ѣдетъ именно Андрей; ей не говорили о томъ. Наташа узнала объ этомъ отъ Соин лишь во время дороги, на пути въ Большія Мытищи, и это извѣстіе произвело на нее нѣчто въ родѣ столбняка; для нея съ этимъ извѣстіемъ какъ-бы все потеряло значеніе. Ею не интересовалъ уже пожаръ Москвы, она что-то задумала свое, на что-то рѣшалась—и это видѣла и знала графиня-мать, только она не знала, на что именно рѣшилась дочь. А она рѣшилась видѣть Андрея. И вотъ когда всѣ улеглись, когда уснули и мать и Соня, она потихоньку вышла изъ комнаты и пошла къ Андрею.

Для князя Андрея, говоря словами автора, прошли семь дней съ того времени, какъ онъ очнулся на перевязочномъ пунктѣ Бородинскаго поля. Въ это время онъ находился почти въ постоянномъ безпамятствѣ. Горячечное состояніе и воспаленіе кишекъ, которыя были повреждены, по мнѣнію доктора, ѣхавшаго съ раненымъ, должны были унести его. Но на 7 день онъ съ удовольствіемъ съѣлъ ломоть хлѣба съ чаемъ, и докторъ замѣтилъ, что общій жаръ уменьшился. Князь Андрей поутру пришелъ въ сознаніе. Первую ночь послѣ выѣзда изъ Москвы было довольно тепло, и князь Андрей былъ оставленъ до ночлега въ коляскѣ, но въ Мытищахъ раненый самъ потребовалъ, чтобы его внесли въ избу и чтобы ему дали чаю. Боль, причиненная ему переноской въ избу, заставила князя Андрея громко стонать и потерять опять сознаніе. Когда его уложили на походной кровати, онъ долго лежалъ, и затѣмъ прошепталъ „что-жъ чаю?“ Памятливость эта къ мелкимъ потребностямъ

жизни поразила доктора. Онъ пощупалъ пульсъ и, къ удивленію и неудовольствію своему, замѣтилъ, что пульсъ былъ лучше. Къ неудовольствію своему это замѣтилъ докторъ потому, что онъ по опыту своему былъ убѣжденъ, что жить князь Андрей не можетъ и что ежели онъ не умретъ теперь, то онъ только съ большими страданіями умретъ чрезъ нѣсколько времени. Словское положеніе раны и переворачиванье вволи Андрея снова въ безпамятство, отъ котораго онъ очнулся уже въ тишинѣ ночи, но за которыми потомъ слѣдовалъ снова мучительный бредъ. И вотъ, когда онъ очнулся отъ этого бреда, онъ увидалъ, что передъ нимъ стоитъ Наташа—та самая Наташа, которую изъ всѣхъ людей въ мірѣ ему болѣе всего хотѣлось любить чистой любовью; онъ понялъ, что это была живая, настоящая Наташа, и не удивился, но тихо обрадовался, Наташа, стоя на коѣннхъ испуганно, но прикованно глядѣла на него, удерживая рыданія. Лицо ея было блѣдно и неподвижно. Только въ нижней челюсти его трепетало что-то.

Вотъ затѣмъ опять мастерски переданная и набросанная сцена свиданія: „Князь Андрей облегчительно вздохнулъ, улыбаясь и протягивая руку.—Вы? сказалъ онъ. Какъ счастливо!

Наташа быстрымъ, но осторожнымъ движеніемъ подвинулась къ нему на коѣннхъ и, взявъ осторожно его руку, нагнулась надъ ней лицомъ и стала цѣловать его, чуть дотрагиваясь губами.

— Простите, сказала она шопотомъ, поднявъ голову и взглядывая на него. Прости меня!

— Я васъ люблю, сказалъ князь Андрей...

— Простите.

— Что простить? спросилъ князь Андрей.

— Простите меня за то, что я сдѣ...лала, чуть слышнымъ, прерывистымъ шопотомъ проговорила Наташа и чаще стала, чуть дотрагиваясь губами, цѣловать руку.

— Я люблю тебя больше, лучше, чѣмъ прежде, сказалъ князь Андрей, поднимая рукой ея лицо такъ, чтобы онъ могъ глядѣть въ ея глаза.

Глаза эти, налитые счастливыми слезами, робко, сосредоточенно и радостно-любовно смотрѣли на него. Худое блѣдное лицо Наташи съ распухнувшими губами было уже чѣмъ не красиво, оно было страшно. Но князь Андрей не видѣлъ этого лица, онъ видѣлъ сіяющіе глаза, которые были прекрасны“.

Съ этого дня Наташа на всѣхъ остановкахъ и ночлегахъ не отходила отъ больного и окружала его своими заботами. Что касается матери-графини, то ей какъ ни странной казалась мысль, что Андрей можетъ умереть на рукахъ дочери, но она не могла противиться Наташѣ. Вскорѣ и ѣхала къ Андрею и сестра его, княжна Марья, которая послѣ смерти отца жила въ Воронежѣ у тетки и, узнавъ тамъ изъ письма родныхъ къ Nicolas Ростову о ранѣ брата и о томъ, что онъ находится съ Ростовыми въ Ярославль, отправилась къ нему. Встрѣча княжны съ Наташей была встречей самыхъ искреннихъ друзей, и заботы ихъ одинаково сосредоточились на Андрѣ. Но смерть Андрея была неизбежна, и не спасли его отъ нея ни заботы сестры, ни любовь къ Наташѣ.

Здѣсь для полноты обрисовки хода романа и положенія семейства Ростовыхъ и Волконскихъ слѣдуетъ сказать еще нѣсколько словъ и о Nicolas. Понавѣ въ качествѣ полковника въ Воронежѣ, онъ былъ представленъ здѣсь на балу губернаторшей теткѣ Марьи Малъвинцевой, у которой тогда княжна гостила, отъ которой и получилъ приглашеніе а губернаторна вѣдѣ затѣмъ предложила ему посватать на него княжну, если онъ того желаетъ... Княжна Марья замѣчаетъ авторъ—произвела на него пріятное впечатлѣніе подлѣ Смоленска. То, что онъ встрѣтилъ ее тогда въ такихъ особенныхъ условіяхъ и то, что именно на нее въ это время его мать указывала ему какъ на богатую партію, сдѣлало то, что онъ обратилъ на нее особенное вниманіе. Въ Воронежѣ, во время его посѣщенія, впечатлѣніе было не только пріятное, но сильное. Николай былъ пораженъ той особенной праственной красотой, которую онъ замѣтилъ въ ней. Чудная должна быть дѣвушка! Вотъ имен-

ангелъ! говорилъ и думалъ Ростовъ, сожалѣя въ то же время, что онъ далъ слово любви и обѣтъ жениться на Сонѣ. Но нескорѣ, какъ-бы въ угоду Николаю, уничтожилось и это препятствіе: Соня, по настоянію старухи Ростовой и желая угодить ей, такъ какъ она знала, что графиня на женитьбѣ сына на Марьѣ Болконской основываетъ всю надежду поправить состояніе, рѣшилась принести себя въ жертву, и написала къ Николаю письмо, которымъ снимала съ него всякое обязательство. Съ своей стороны, княжна Марья, убѣдившись въ томъ, что любовь ея къ Ростову сдѣлалась нераздѣльной частью ея самой, не думала и бороться противъ нея. Попеченія Наташи объ Андреѣ соединяли эти два семейства еще тѣснѣе. Намъ остается обратиться теперь къ третьему дѣйствующему въ романѣ семейству—семейству Безухихъ, представителями котораго остались Пьеръ и Эленъ. Роль послѣдней въ романѣ не волчка, и скоро кончается. Возвратившись изъ Вильны вмѣстѣ съ дворомъ въ Петербургъ, и пользуясь здѣсь покровительствомъ одного вельможи и въ то-же время сблизившись съ однимъ иностраннымъ принцемъ, она стала думать о томъ, какъ-бы развестись съ мужемъ, и выйти замужъ за кого-нибудь изъ новыхъ своихъ покровителей, и съ этою цѣлью приняла католичество, и пошла въ когти іезуитовъ. Но нескорѣ за этой новостью пропеслась вѣсть о болѣзни престижной графини, а затѣмъ и о скоропостижной смерти, приключившейся будто-бы отъ того, что она не въ мѣру хватила лѣкарства, прописаннаго ей какимъ-то шарлатаномъ-итальянцемъ. И князь Василій и покровитель, старый графъ взялись было за этого итальянца, но онъ показалъ такія записки отъ покойницы, что сочли за лучшее что тотчасъ-же отпустить. Гораздо важнѣе и интереснѣе выходитъ роль Пьера. Онъ является главнымъ дѣйствующимъ лицомъ среди совершающихся историческихъ событій, и судьба его и положеніе выходятъ не безъ трагизма, въ которомъ, однакожъ, нѣтъ ничего натянутого.

Во второй уже разъ, въ концѣ бородинскаго сраженія, бѣжавъ съ батареей Раевского, Пьеръ старался лишь

поскорѣе выйти изъ тѣхъ страшныхъ впечатлѣній, въ книхъ онъ находился въ этотъ день. И потъ онъ спѣшилъ на квартиру, и такъ какъ въ горницѣ постоялаго двора не оказалось мѣста, то, закрывшись съ головою, Пьеръ улегся въ коляскѣ. Но не крѣпко у него сонъ, и думы душевныя тревоги налегаютъ толпой на его душу, когда онъ пробудился среди ночи. Ему приходятъ теперь на умъ они, — тѣ солдаты, которые все время до конца были твердыми, которые были на батареяхъ, которые кормили его, которые молились на икону. „Солдатомъ быть, просто солдатомъ!“ думаетъ Пьеръ, засыпая. На утро онъ уѣзжаетъ въ Москву, и дорогой получилъ извѣстie о смерти шуринъ, а едва успѣлъ ввалиться, что называется, въ Москву, какъ получилъ приглашенiе явиться къ Ростопчину, который напомнивъ ему о томъ, что онъ былъ когда-то масономъ, просилъ его поскорѣе уѣхать изъ Москвы. Пьеръ только переночевалъ въ своей квартирѣ, и когда на утро доложилъ ему, что явился нарочно-посланный отъ Ростопчина спроситься, уѣхалъ-ли онъ, то Пьеръ поспѣшно черезъ заднее крыльцо вышелъ въ ворота, и съ тѣхъ поръ никто изъ домашнихъ Безуховыхъ не зналъ ничего о немъ. А съ нимъ успѣли между тѣмъ подѣлаться странныя вещи.

Оставивъ свой домъ, Пьеръ очутился въ пустой квартирѣ покойнаго Ваздѣева. Это, по разсказу автора, случилось такъ: проснувшись на другой день послѣ своего возвращенiя въ Москву и свиданiя съ Ростопчиннымъ, Пьеръ долго не могъ понять того, гдѣ онъ находился и чего отъ него хотѣли. Когда ему между именами прочихъ лицъ ожидавшихъ въ его прiемной, доложили, что его дожидается еще французъ, привезшiй письмо отъ графини Елены Васильевны, на него пало то чувство снутанности и безнадежности, которому онъ способенъ былъ поддаваться. Ему вдругъ представилось, что все теперь кончено, все смѣшалось, все разрушилось, что нѣтъ ни праваго ни виноватаго, что впереди ничего не будетъ, и что выхода изъ этого положенiя нѣтъ никакого. Онъ, неестественно улыбаясь и что-то бормоча, то сѣлся на диванъ въ безпомощ-

ной позѣ, то вставалъ, подходилъ къ двери и заглядывалъ въ щелку въ пріемную, то, махая руками, возвращался назадъ и брался за книгу. Дворецкій въ другой разъ пришелъ доложить Пьеру, что французъ, привезшій письмо отъ графини, очень жалеетъ видѣть его хоть на минуту, и что приходили отъ вдовы І. А. Баздѣва просить принять книги, такъ какъ сама Баздѣва уѣхала въ деревню. Пьеръ взялъ шляпу, вышелъ изъ кабинета, и пройдя заднимъ крыльцомъ скрылся изъ дому и очутился въ домѣ Баздѣва, въ которомъ, кромѣ слугъ, оставался лишь одинъ сумасшедшій, нивній запоемъ братъ Баздѣва, Макарь Алексѣвичъ. Здѣсь приходитъ ему на умъ мысль пріобрѣсти кафтанъ и шапку, а также пистолетъ. Первый доставляетъ ему слуга Баздѣва, Герасимъ, а за пистолетомъ ему, уже перерядившемуся въ новый костюмъ, приходится прогуляться къ Сухаревой башнѣ. Тутъ-то на пути онъ встрѣчается съ выѣжавшими изъ Москвы Ростовыми. Между тѣмъ потокъ событій видимо вліяетъ на Пьера; съ нимъ совершается перемѣна; впечатлѣнія берутъ силу и доводятъ его до состоянія, близкаго къ сумасшествію. 2-го сентября, когда всащиванье французовъ въ Москву достигло того квартала, гдѣ жилъ Пьеръ, этимъ Пьеромъ завладѣла вполнѣ одна мысль—убить Наполеона. Какъ сложилась эта мысль въ душѣ Пьера, авторъ объясняетъ такъ: „Пьеръ поѣхалъ на квартиру Іосифа Алексѣвича подъ предлогомъ разбора книгъ и бумагъ покойнаго только потому, что онъ искалъ успокоенія отъ жизненной тревоги, а съ воспоминаніемъ объ Іосифѣ Алексѣвичѣ связывался въ его душѣ міръ вѣчныхъ, спокойныхъ и торжественныхъ мыслей, совершенно противоположныхъ тревожной путаницѣ, въ которую онъ чувствовалъ себя втягиваемымъ. Онъ искалъ тихаго убѣжища, и дѣйствительно нашелъ его въ кабинетѣ Іосифа Алексѣвича. Когда онъ въ мертвой тишинѣ кабинета сѣлъ, облокотившись на руки надъ запыленнымъ письменнымъ столомъ покойнаго, въ его воображеніи спокойно и значительно, одно за другимъ, стали представляться воспоминанія послѣднихъ дней, въ особенности Бородинскаго сраженія

и того непреодолимаго для него ощущенія своей ничтожности и лживости въ сравненіи съ правдой, простотой и силой того разряда людей, которые отпечатались у него въ душѣ, подъ названіемъ: они. Когда Герасимъ разбудилъ его отъ его задумчивости, Пьеру пришла мысль о томъ, что онъ приметъ участіе въ предполагаемой, какъ это онъ зналъ, народной защитѣ Москвы. И съ этой цѣлью онъ тотчасъ попросилъ Герасима достать ему кафтанъ и пистолетъ, и объявилъ ему свое намѣреніе, скрывая свое имя, остаться въ домѣ Іосифа Алексѣевича. Потомъ, въ продолженіе перваго уединенно и праздно проведеннаго дня (Пьеръ нѣсколько разъ рѣшался и не могъ остановить своего вниманія на масонскихъ рукописяхъ), ему нѣсколько разъ смутно представлялась и прежде приходившая мысль о кабалистическомъ значеніи своего имени въ связи съ именемъ Бонапарта, но мысль эта о томъ, что ему, le russe Besuhof, предназначено положить предѣлъ власти *звѣря*, приходила ему тогда еще, какъ одно изъ мечтаній, которыя безпричинно и безслѣдно пробѣгаютъ въ воображеніи. Когда, купивъ кафтанъ (съ цѣлью только участвовать въ народной защитѣ Москвы), Пьеръ встрѣтилъ Ростовыхъ, и Наташа сказала ему: „вы остаетесь! Ахъ, какъ это хорошо!“ въ головѣ его мелькнула мысль, что дѣйствительно хорошо бы было, даже если бы и взяли Москву, ему остаться въ ней и исполнить то, что ему предопредѣлено. На другой день онъ съ этой мыслью не жалѣлъ себя и не отставать ни въ чемъ отъ нихъ, ходилъ за Трехгорную заставу. Но когда онъ вернулся домой, убѣдившись, что Москву защищать не будутъ, онъ вдругъ почувствовалъ, что то, что ему прежде представлялось возможностью, теперь сдѣлалось необходимою и неизбежною. Онъ рѣшился остаться въ Москвѣ и убить Наполеона.

Но событія идутъ своимъ чередомъ и вытрезвляютъ Пьера по своему. Прежде чѣмъ выбраться изъ квартиры, ему приходится въ ней встрѣтиться съ французами и при этомъ спасти жизнь французскому офицеру отъ выстрѣла безумнаго Макара Алексѣевича. Приобрѣти черезъ то благорас-

положеніе французскаго офицера, онъ успѣваетъ спасти отъ бѣды и самого Макара Алексѣевича. Когда затѣмъ онъ вышелъ изъ дому на другой день съ своею цѣлю убить Наполеона при вѣздѣ, онъ очутился на пожарѣ, гдѣ пришлось ему спасать изъ пламени дѣвочку и гдѣ онъ былъ взятъ французскимъ отрядомъ, посланнымъ ловить поджигателей, и представленъ даву на судъ, какъ преступникъ. Случай спасъ его отъ страшнаго приговора на смерть, и онъ, бывъ лишь свидѣтелемъ того, какъ разстрѣляли другихъ, содержавшихся съ нимъ, былъ оставленъ какъ плѣнникъ, и какъ военнопленному, ему приходится четыре недѣли провести въ баракахъ. среди нужды и горя, причемъ авторъ выводитъ передъ читателемъ весьма замѣчательный типъ солдата Каратаева, очутившагося также въ плѣну и въ одномъ же баракѣ съ Пьеромъ. Какъ ни тяжело было въ это время положеніе Пьера, оно имѣло для него и хорошую сторону; именно въ это время, по замѣчанію автора, онъ получилъ то спокойствіе и довольство собою, къ которымъ онъ тщетно стремился прежде. Въ ночь на 7 октября началось выступленіе французовъ. Въ числѣ плѣнныхъ выступилъ и Пьеръ. На этомъ читатель и кончаетъ съ нимъ.

Мы рассказали содержаніе вышедшаго тома, и читатель самъ теперь можетъ видѣть, что романъ не конченъ. Его ждетъ такимъ образомъ въ будущемъ прочитать еще одинъ, и можетъ быть, и два и болѣе тома. Излагая содержаніе вышедшаго тома, мы не считали нужнымъ пускаться въ частныя похвалы. Намъ предстояло одно: или ознакомить читателя съ содержаніемъ или наполнить обзоръ похвалою таланту графа Толстого. Но эта похвала едва ли теперь и нужна и умѣстна. Въ свое время мы заявили, чѣмъ особенно великъ и высокъ талантъ графа Толстого и чѣмъ замѣчательны его новый романъ; послѣ того общій голосъ критики утвердилъ, что это одно изъ первыхъ по достоинству произведеній нашей литературы; что это образчикъ художественной отдѣлки и художественнаго выраженія духа эпохи и положенія въ извѣстный моментъ общества. Если и

были какіе споры по поводу этой эпохи, то они касались лишь историческихъ взглядовъ автора, но такъ какъ эти взгляды не мѣшаютъ художественности созданія, то и споры изъ-за нихъ становятся на второй планъ, и особеннаго значенія не имѣютъ. Намъ остается лишь прибавить, что пятый томъ по достоинству нисколько не уступаетъ предыдущимъ ни по мастерскому очертанію дѣйствующихъ лицъ и характеровъ, ни по простотѣ и въ то же время рельефности обрисовки событій и выразительности ихъ смысла, ни по картинности сценъ, ни по глубокому психологическому анализу. Каждое выводимое лицо, каждая описываемая сцена такъ и врѣзаются въ память. Такъ мастерской кистью авторомъ нарисована картина положенія и настроенія Москвы передъ вступленіемъ непріятеля, и вмѣстѣ съ тѣмъ превосходно представлено и то, какъ и насколько былъ далекъ отъ смысла событій Ростовчинъ; художественна и картина, представляющая Наполеона, ожидающаго городской депутаціи и мечтающаго удивить ее своимъ великодушіемъ и затѣмъ убѣждающагося въ томъ, что онъ и тщетно ждетъ ее и тщетно мечтаетъ; превосходно изображена и картина пожара, когда Пьеръ, забывъ обо всемъ, сперва идетъ спасать дѣвочку, а потомъ заступается за армянку; съ большой поразительностью изображена и картина разстрѣливанія французами тѣхъ, кого они судили и осудили какъ поджигателей. Короче сказать: если оставлять спорные историческіе взгляды, то и въ той части читателю должно все понравиться, и все должно завлечь его такъ же, какъ и въ предыдущихъ.

Изъ „Сына Отечества“ за 1869 г. Статья А. Х.

* * *

*) Пятый томъ „Войны и Мира“, котораго публика ожидала столь долго, къ прискорбію однихъ почитателей талантливаго писателя и къ удовольствію другихъ, не составляетъ еще окончанія сочиненія графа Толстого. Хотя одинъ

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1869 г., № 69. Новыя книги. „Война и Миръ“, соч. гр. Л. Н. Толстого т. V. Статья 2 [В. Буренина].

ченіемъ французовъ. Подъ управленіемъ французовъ нельзя было быть: это было хуже всего. Графъ же Ростопчинъ, который то стыдилъ тѣхъ, которые уѣзжали, то вывозилъ отсутственные мѣста, то выдавалъ никуда негодное оружіе пьяному сброду, то поднималъ образа, то запрещалъ игуменну вывозить мощи и иконы, то захватывалъ всѣ истинныя подводы, бывшія въ Москвѣ, то на 136-ти подводъ увозилъ дѣлаемый Леникомъ воздушный шаръ, то мечалъ на то, что онъ сожжетъ Москву, то рассказывалъ, какъ онъ сжегъ свой домъ, и написалъ прокламацію французамъ, дѣ торжественно упрекалъ ихъ, что они разрили его дѣтскій пріютъ; то принималъ славу сожженія Москвы, то отрекался отъ нея, то приказывалъ народу вить всѣхъ шпіоновъ и пригнать къ нему, то упрекалъ это народъ, то высылалъ всѣхъ французовъ изъ Москвы, оставлялъ въ городѣ г-жу Оберъ-Шальме, составившую часть всего французскаго московскаго населенія, и безъ какой вины приказывалъ схватить и увезти въ ссылку арнаго почтеннаго почтъ-директора Ключарева, то собиравъ народъ на Три Горы, чтобъ драться съ французами, чтобъ отдѣлаться отъ этого народа, отдавалъ ему на иѣство человека, и самъ уѣзжалъ въ заднія ворота, то горилъ, что онъ не переживетъ несчастья Москвы, то салъ въ альбомы по-французски стихи о своемъ участіи въ этомъ дѣлѣ *).—этотъ человекъ не понималъ значенія происходящаго событія, а хотѣлъ только что-то сдѣлать, удивить кого-то, что-то совершить патріотически-героическое, и какъ мальчикъ рѣзвился надъ величавымъ и неизбежнымъ событіемъ оставленія и сожженія Москвы, и рался своей маленькой рукой то поощрять, то задерживать теченіе громаднаго, уносившаго его вѣстѣ съ собою, одного потока“.

Извѣстная сцена убійства Верещагина нарисована гра-

Je suis né Tartare. Je voulais être Romain. Les Français m' appolèrent
are. Les Russes — Georges Dandin. Т. е. я родился татаринномъ. Я захотѣлъ
римляниномъ. Французы называли меня шарваромъ. Русскіе — Жоржемъ
еномъ.

фомъ Толстымъ съ истиннымъ мастерствомъ, и тутъ на-
 ріють, именемъ котораго, по его собственному выраженію
 въ Мадридѣ или гдѣ-то назвали улицу, выступеть и
 свѣтъ если и не благопріятномъ, зато—вѣрномъ. Надо ска-
 зать правду, что тамъ, гдѣ талантъ автора „Войны и Ми-
 ра“ направляется не теоретически-мистическими сообра-
 женіями, а почерпаетъ свою силу изъ документовъ, изъ по-
 даній, гдѣ онъ можетъ вполне опираться на эту почву
 тамъ въ изображеніи историческихъ событій авторъ ста-
 новится на высоту, по истинѣ, поразительную. Чрезвычайно
 тонко разъясняетъ графъ Толстой растерянное состояніе
 Ростовчина въ роковое утро, когда онъ получилъ записку
 отъ Кутузова, въ которой главнокомандующій коротко
 ясно сообщалъ ему о томъ, что войска отступаютъ на ро-
 занскую дорогу, и приказывалъ выслать полцейскихъ и че-
 повниковъ для проведенія войскъ черезъ городъ. Ростовчинъ
 съ самаго начала вступленія непріятеля въ Смоленскъ, со-
 ставилъ для себя, въ своемъ воображеніи, роль руководи-
 теля народнаго чувства въ сердцѣ Россіи. Онъ предсе-
 влялъ себя настоящимъ возбуждателемъ „патрістическаго на-
 строенія“ Москвы, которое, думалось ему, онъ производилъ
 своими пресловутыми афишами, писанками, по выраженію
 автора „Войны и Мира“, „тѣмъ ёриническимъ языкомъ
 который въ своей средѣ презираетъ народъ и котораго онъ
 не понимаетъ, когда слышитъ его сверху“. Красная роль
 руководителя народнаго чувства такъ поправилась Росто-
 чину, онъ такъ сжился съ нею, что необходимость выйти
 изъ этой роли, необходимость оставленія Москвы безъ
 всякаго героическаго эффекта, застали его врасплохъ, и
 онъ вдругъ потерялъ изъ подъ ногъ почву, на которой
 стоялъ, и не зналъ, что дѣлать. Онъ занятъ былъ имен-
 только своей ролью, и вся его дѣятельность направлялась
 только на возбужденіе того чувства, какое онъ испытывалъ
 самъ—на возбужденіе патріотической ненависти къ фран-
 цузамъ. Но когда оказалось однихъ только словъ недоста-
 точно, когда ненависть къ врагамъ нельзя было выразить
 не только словами, но даже сраженіемъ, когда утѣренности

въ своей силѣ и патріотической твердости оказывалась бесполезной, когда все населеніе, бросая имущество, устремилось вонъ изъ Москвы, тогда роль, выбранная Ростопчиннымъ, оказалась вдругъ бесполезной. Онъ почувствовалъ себя вдругъ одинокимъ, слабымъ, смѣшнымъ.

Растерянный, безпokoемый различными чиновниками, безпрестанно являющимися къ нему съ требованіями всякаго рода приказаній и распоряженій, Ростопчинъ узнаетъ, что къ его дому подошла народная толпа. Толпа эта, сбитаая съ толку его же афинсами, въ которыхъ онъ говорилъ о слабости врага и хвастался русской силой до послѣдней минуты, пришла съ мирнымъ намѣреніемъ узнать отъ него, наконецъ, правду относительно настоящаго положенія дѣлъ. Патріотъ-графъ, увидавъ эту толпу, вообразилъ себя Богъ вѣсть что: бунтъ, возстаніе черни. „Вотъ что они сдѣлали съ Россіей!“ (они относились къ Кутузову и вообще къ тѣмъ, кто не имѣлъ удовольствія и влеченія принимать участія въ его смѣшной роли, а дѣлалъ настоящее дѣло). „Вотъ что они сдѣлали со мной!“ думалъ графъ, глядя на народную толпу. „La voilà la populace, la lie du peuple, la plèbe, qu'ils ont soulevée par leur sottise! Il leur faut une victime“. Въ это время ему кто-то напомнилъ о Верещагинѣ. У Ростопчина сейчасъ-же промелькнула въ головѣ превосходная мысль, что несчастный молодой человекъ именно и можетъ послужить ему для „victime“. Графъ вышелъ на балконъ и обратился къ народу: „Здравствуйте, ребята! Спасибо, что пришли, и сейчасъ выйду къ вамъ, но прежде всего намъ надо управиться съ злодѣемъ. Намъ надо наказать злодѣя, отъ котораго погибла Москва. Подождите меня“. Проговоривъ это, Ростопчинъ сошелъ на крыльцо дома, куда привели Верещагина. Сцена убійства превосходно нарисована авторомъ, и я позволю привести ее вполнѣ“...

(Слѣдуетъ выписка изъ романа, начинающаяся словами:— „Ребята! сказалъ Ростопчинъ металлическимъ голосомъ, этотъ человекъ, Верещагинъ—тотъ самый мерзавецъ, отъ котораго погибла Москва“... Выписка заканчивается сло-

вами: „Эхъ народъ... кто грѣха не боится... говорили теперь тѣ же люди, съ болѣзненно-жалостнымъ выраженіемъ глядя на мертвое тѣло съ посинѣвшими, измазаннымъ кровью и пылью лицомъ, и съ разрубленной длинной тонкой шеей“).

„Гораздо мнѣе удачно, по моему мнѣнію, нарисована графомъ Толстымъ сцена вступленія Наполеона въ Москву. Наполеонъ смотритъ съ Поклонной горы на великолѣпную панораму Москвы, раскинувшейся передъ нимъ при волшебномъ сентябрьскомъ солнцѣ. „Cette ville asiatique aux innombrables églises, Moscou la sainte, la voila donc enfin, cette fameuse ville! Il était temps“, говоритъ Наполеонъ, слѣзая съ лошади и приказывая разложить передъ собою планъ этой Moscou. Ему странно самому, что, наконецъ, совершилось его давнишнее желаніе, казавшееся ему невозможнымъ. Въ ясномъ утреннемъ свѣтѣ онъ смотритъ то на городъ, то на планъ, провѣряя подробности этого города, и увѣренность обладанія волнуется и ужасаетъ его. Онъ любитъ самъ собою, мечтаетъ о томъ, въ какомъ свѣтѣ онъ представляется окружающей его свитѣ и войскамъ. „Вотъ она награда для всѣхъ этихъ маловѣрныхъ. Одно мое слово, одно движеніе моей руки!— и погибла эта древняя столица des Czars. Mais ma clémence est toujours prompte à descendre sur les vaincus. Я долженъ быть великодушнѣе и истинно великъ“. Онъ мечтаетъ, какъ съ „высотъ Кремля“ онъ дастъ побѣжденнымъ законы справедливости, и покажетъ имъ значеніе истинной цивилизаціи, какъ заставитъ „поколѣнія бояръ“ съ любовью вспоминать его имя. Онъ воображаетъ, какъ онъ будетъ говорить рѣчь передъ депутаціей бояръ, заранее разсчитывая на то, что воодушевится, какъ всегда, величіемъ минуты, и скажетъ нѣчто великое и торжественное. „Qu'on m'amène les boyards“, обращается онъ вдругъ къ окружающимъ, и за боярами скачетъ блестящій генералъ съ приличнымъ хвостомъ свиты. Проходитъ два часа. Наполеонъ успѣваетъ позавтракать, опять возвращается на Поклонную гору и ждетъ бояръ. Рѣчь свою къ боярамъ онъ уже обдумалъ, какъ слѣдуетъ: въ своемъ воображеніи онъ уже назначилъ дні réunions

dans le palais des Czars, гдѣ должны будутъ сходиться русскіе вельможи съ вольможами французскаго императора, назначилъ губернатора Москвы. Онъ думалъ, что какъ въ Африкѣ надо было сидѣть въ бурнушѣ въ мечети, такъ въ Москвѣ надо было быть милостивымъ, какъ цари. И чтобъ окончательно тронуть сердца русскихъ, онъ, какъ и каждый французъ, не могущій себя вообразить ничего чувствительнаго безъ упоминанія о *ma chère, ma tendre, ma pauvre mère*, онъ рѣшилъ, что на всѣхъ богоугодныхъ заведеніяхъ велитъ написать большими буквами: *Etablissement dédié à ma chère mère*. Но покуда мечталъ Наполеонъ такимъ образомъ, генералы его свиты не знали какъ быть, и что дѣлать: посланные за боярами возвратились и, разумѣется, бояръ никакихъ не обрѣли. Господа свиты понимаютъ, что доложить объ этомъ обстоятельствѣ императору въ торжественномъ ожиданіи, съ гордою улыбкою на устахъ, будетъ слишкомъ „ridicule“. Императоръ самъ выводитъ ихъ изъ затрудненія: уразумѣвъ своимъ „актерскимъ чутьемъ“, что величественная минута продолжалась слишкомъ долго, онъ начинаетъ терять свою величественность, и даетъ знакъ рукою. Раздается выстрѣлъ сигнальной пушки, и войска сдвигаются; императоръ ѣдетъ съ ними. У Дорогомиловской заставы Наполеонъ останавливается еще разъ, надѣясь, что тутъ ему предстанетъ депутація, хотя для соблюденія вѣншнаго приличія. Когда ему съ должной осторожностью объявляютъ, что Москва пуста (сравненіе опустѣвшаго города съ обезматочившимъ ульемъ сдѣлано графомъ Толстымъ такъ хорошо, что я не нахожу словъ похвалы для этого художественнаго сравненія), онъ, сердито взглянувъ на доносившаго, приказываетъ подать экипажъ. „*Moscou déserte! Quel événement invraisemblable. Le coup de théâtre avait raté!*“

(съ точки зрѣнія автора „Войны и Мира“ на Наполеона, какъ на самозваннаго героя, какъ на ничтожнаго пошляка, приведенная сцена, въ художественномъ отношеніи, выполнена превосходно. Но если отрѣшиться отъ воззрѣнія графа на великія историческія личности, имѣющія въ общей

жизни человечества, по его мнѣнію, такое же значеніе какъ и самый послѣдній изъ кротиковъ, то комическія мечтанія Наполеона о подписяхъ на благотворительныхъ запискахъ, о собраніяхъ во дворцѣ царей и проч., едва ли покажутся возможными для такой личности. Для философа графа Толстого, которая вѣнцомъ человѣческой жизни, вѣнцомъ человѣческихъ стремленій и наслажденій считаетъ и что иное, какъ только любовь и семейное счастье, под комфортабельнымъ кровомъ, съ вѣрной подругой, съ куче ребячь, съ добрыми и простыми сосѣдями-нейзамами на вообщо людьми непосредственно-близкими къ природѣ,—для такой философіи каждый политическій и общественный дѣятель кажется актеромъ, фразеромъ, совершающимъ всякій свой подвигъ для того, чтобъ имъ любовались другіе, и, для того, чтобъ онъ могъ полюбоваться самъ своимъ величіемъ. Но, вѣдь, это едва ли справедливо на самомъ дѣлѣ. Скорѣй можно думать, что истинные политическіе герои понимающіе людей и привыкшіе двигать ими, весьма мало склонны увлекаться мечтаніями à la Манюловъ въ великіе моменты своей дѣятельности. Для графа Толстого Наполеонъ, ожидающій на Поклонной горѣ депутацію „бояръ“—фигура комическая, и минута этого ожиданія одна изъ помѣлѣйшихъ минутъ въ жизни историческаго дѣятеля; поэтому графъ заставляетъ Наполеона предаваться мыслямъ и мечтаніямъ, на манеръ тѣхъ, къ которымъ склонны русскіе „благодѣтельные помѣщики“: по, по всей вѣроятности, для Наполеона, понимавшаго человѣческое существованіе вообще, и свое собственное въ частности, нѣсколько иначе, это была одна изъ самыхъ трагическихъ минутъ его жизни. Онъ, идя въ Россію, воображалъ себя цивилизаторомъ (собственной ли волей подталкиваемымъ или какимъ-то мистическими силами, какъ увѣряетъ графъ Толстой—это не составляетъ существеннаго вопроса); онъ, вѣроятно, рассчитывалъ пойти въ этой странѣ населеніе если и полуварварское, то отнюдь не посящее въ себѣ качества дикихъ кочевыхъ племенъ. А это покиданіе городовъ, это бѣгство цѣлыхъ массъ населенія Богъ вѣсть куда, это равнодушіе

къ своему дому, очагу, достоянію, которое онъ встрѣтилъ въ русскихъ, конечно, казалось ему, западному человѣку, отнюдь не патріотической доблестью, какъ кажется оно намъ, и какъ оно было въ дѣйствительности. Онъ, конечно, понималъ, что въ этомъ качествѣ русскихъ лежатъ погибель его цивилизаторскихъ намѣреній, что дѣло его потеряно навсегда, и было предпринято совершенно напрасно. Въ Москвѣ, которая предстала ему пустыней, онъ понималъ это, быть можетъ, съ глубокой скорбью, и, конечно, онъ скорбѣлъ не о томъ, что ему „не удалась развязка театрального представленія“. Быть можетъ, я ошибаюсь, но мнѣ кажется, что логкомысленное обращеніе романистовъ съ крупными историческими дѣятелями не особенно полезно: оно распространяетъ въ массѣ публики не здоровый критическій взглядъ на ложныя стороны ихъ дѣятельности, а самодовольное и мелкое воззрѣніе на общій строй ея, воззрѣніе, близкое къ плоской фамиллярности. Если вы хотите развѣчивать героевъ, то ужъ развѣчивайте ихъ, по-крайней мѣрѣ, во-первыхъ—обстоятельно, доказательно, а во-вторыхъ—во имя дѣйствительно широкихъ и разумныхъ требованій, а не во имя пошло-буржуазнаго взгляда на событія. Пожаръ Москвы графъ Толстой объясняетъ вовсе не такъ, какъ это принято объяснять, и тутъ онъ едва ли не правъ. „Le patriotisme féroce de Rostopchine“, которому приписываютъ пожаръ французы, и изувѣрство французовъ, къ которому относятъ пожаръ русскіе, было тутъ не причемъ, говоритъ графъ Толстой; Москва сгорѣла вслѣдствіе того, что она была поставлена въ такія условія, при которыхъ всякій деревянный городъ долженъ былъ сгорѣть: Москва загорѣлась отъ трубокъ, отъ кухонь, отъ костровъ, отъ перинливости непріятельскихъ солдатъ, жителей—нехозяевъ домовъ. Если и были поджоги (что весьма сомнительно, потому что поджигать никому не было никакой причины, а во всякомъ случаѣ хлопотливо и опасно), то поджоги нельзя принять за причину, такъ какъ и безъ поджоговъ было бы то же самое.

Въ первыхъ двухъ частяхъ пятого тома, графъ Толстой

посвящаетъ меньше мѣста своимъ философскимъ и критическимъ размышленіямъ; но третья часть почти сплошь, за исключеніемъ четырехъ главъ, наполнена подобными размышленіями. Размышленія эти столько же странны въ романѣ, сколько они школьны. Талантливый писатель и въ этомъ томѣ, какъ въ четвертомъ, все усердно убѣждаетъ своихъ читателей, что историческія событія потому совершаются такъ, а не иначе, что имъ должно было совершиться. На основаніи этого наивнаго разсужденія, авторъ опровергаетъ историковъ, которые приписываютъ знаменитый „фланговый маршъ“ русской арміи совершившимся по волѣ и соображеніямъ нашихъ полководцевъ, и доказываетъ весьма подробно, что этотъ маршъ вытекъ самъ собой изъ различныхъ мелкихъ условій, и совершенъ преимущественно по произволу судьбы, безъ всякой инициативы генераловъ. По мнѣнію графа Толстого, каждый глупый тринадцатилѣтній мальчикъ безъ труда могъ догадаться, что въ 1812 году самое выгодное отступленіе отъ Москвы было по калужской дорогѣ. Ни глубокомыслия ни геніальности отъ не видятъ въ этомъ „фланговомъ маршѣ“, и увѣряетъ, что этотъ маршъ, при другихъ обстоятельствахъ, могъ бы быть пагубенъ для насъ и спасителенъ для французскаго войска. Можетъ быть, послѣднее мнѣніе автора и справедливо, но кажется, пренираться о подобномъ вопросѣ невозможно, ибо вопроса тутъ въ сущности нѣтъ. Мало ли что могло бы быть „при другихъ условіяхъ“; но такъ какъ ничего, кромѣ хорошаго, для русской арміи не случилось отъ этого марша, такъ какъ онъ былъ совершенъ по распоряженію тѣхъ или другихъ военачальниковъ, то очень естественно, что имъ приписываютъ участіе въ совершеніи марша. И за что графъ хочетъ обидѣть генераловъ двѣнадцатаго года, и планъ отступленія приписать непременно одной судьбѣ? Послѣдняя, само собой разумѣется, участвовала, какъ участвуетъ она во всемъ; но и генералы тоже участвовали. Стало-быть, и толковать объ этомъ много нечего. Очень хорошо авторъ сравниваетъ положеніе французскаго войска послѣ выхода изъ Москвы съ положеніемъ раненаго звѣря,

увствующаго свою погибель и не знающаго, что дѣлать. Всю вѣстельность Кутузова послѣ отступленія русскихъ за Москву, авторъ сводитъ только на то, что Кутузовъ всѣми силами противодѣйствовалъ наступленію. Всѣ высшіе чины арміи хотѣли отличиться, отрѣзать, перехватить, положить, прокинуть французовъ, и всѣ требовали наступленія. Кутузовъ, сколько могъ, воздерживалъ всѣхъ отъ безполезнаго столкновенія, безполезнаго убійства и траты людей, понимая, что французское войско должно было растаять само собой, какъ комъ снѣга. Онъ боялся только одного—что Наполеонъ не сталъ дѣйствовать его же оружіемъ, и остался выжидать въ Москвѣ. Когда въ ночь на 11-е октября онъ получилъ вѣрныя извѣстія о томъ, что французы покинули столицу и уходятъ, онъ понялъ, что Россія спасена, и заплакалъ отъ радости. Сцена эта прекрасно описана въ романѣ графа Толстого.

Говоря мимоходомъ о генералахъ двѣнадцатаго года, графъ Толстой выражаетъ больше всѣхъ сочувствія къ Дохтурову Конюшницину, который только какъ бы изъ приличія внесенъ въ списокъ героевъ—Барклаевъ, Раевскихъ, Ермоловъ, Платовыхъ, Милорадовичей, и пользовались репутаціей людей весьма ограниченныхъ свѣдѣній. Именно въ томъ, что объ этихъ генералахъ умалчиваютъ историка, то ихъ геніями не считали, авторъ и видитъ доказательство ихъ достоинствъ.

Переходя отъ исторической стороны пятаго тома „Войны Мира“ къ похождениямъ героевъ фантазіи автора, я только кратко передамъ главные эпизоды этихъ походовъ. Семейство Ростовыхъ выбралось изъ Москвы только наканунѣ того дня, когда туда вступилъ непріятель. Описаніе ихъ походовъ и выѣзда, разумѣется, сдѣлано съ тѣмъ художественнымъ талантомъ, силъ котораго въ „Войнѣ и Мирѣ“ приходится удивляться столько же, сколько слабости автора, философіи и критикѣ историческихъ событій. Выѣстъ въ обозъ Ростовыхъ поднимаются изъ Москвы также нѣсколько раненыхъ солдатъ и офицеровъ; между ними оказывается Андрей Болконскій, умирающій отъ раны, полу-

ченной при Бородинѣ. Поѣздъ Ростовыхъ останавливается въ Мытищахъ. Наташа Ростова узнаетъ, что въ числѣ раненыхъ находится Болконскій и ночью пробирается въ избу, гдѣ лежитъ онъ. Болконскій, котораго болѣзнь держитъ на волоскѣ отъ смерти, оказывается на этотъ разъ въ памяти, и узнаетъ Наташу. Слѣдуетъ трогательная сцена. Съ этого времени Наташа дѣлается сидѣлкой князя Андрея и не отходитъ отъ него. Семейство Ростовыхъ пріѣзжаетъ въ Ярославль и тамъ поселяется; князь Андрей остается на его попеченіи и вскорѣ умираетъ. Предсмертное состояніе князя изображено авторомъ опять съ поразительной правдой и искусствомъ. Впрочемъ, слѣдуетъ замѣтить, что въ изображеніи „просвѣтлѣнія“ князя незадолго передъ кончиной, графомъ Толстымъ пущенъ тоже нѣкоторый моральный мистицизмъ. Окончаніе земной карьеры графа въ романѣ производитъ сильное впечатлѣніе, за которымъ однакоже сейчасъ же слѣдуетъ недоумѣніе: что хотѣлъ выразить авторъ этимъ главнымъ своимъ героемъ, ради чего онъ подвергъ его воспроизведенію пяти томовъ различнымъ перипетіямъ? Конечно, патриотическая смерть на полѣ битвы, да еще на бородинскомъ, вещь недурная для героя; но все же было бы желательно, чтобы этотъ Болконскій, будучи такимъ характеромъ, какимъ онъ представленъ авторомъ, прекратилъ свое существованіе не такъ скоро. Что стоило бы графу Толстому, если онъ въ самомъ дѣлѣ намѣренъ продолжать романъ до послѣднихъ дней царствованія Александра I, умирить Болконскаго хоть, напримѣръ, въ двадцать пятомъ году. Но графъ не пожелалъ этого, ибо онъ художникъ, а художникъ неразборчивъ и безнощаденъ, какъ судьба. Судьбѣ ничего не стоитъ въ затылокъ величайшаго изъ героевъ, имѣющаго въ своей головѣ тысячу гениальныхъ плановъ для счастья човѣчества, направить дышло, несомое парой могучихъ рысаковъ, и тѣмъ прекратить его существованіе. Графу Толстому тоже ничего не стоило умирить осколкомъ гранаты своего героя, тѣмъ болѣе, что герой, по мнѣнію автора, „совершилъ уже въ предѣлѣхъ земномъ все земное: любилъ, посылалъ, породилъ

сына, стремился къ славѣ и, наконецъ, „просвѣтлѣлъ“ душою. Миръ ого праху“. Въ то время, когда Андрей Болконскій оканчивалъ свое земное странствованіе вдалекѣ отъ Москвы, Пьеръ Безухій, по причинамъ хорошо не мотивированнымъ авторомъ, остался въ Москвѣ. Ему пришлось въ голову убить Наполеона. Для этого онъ переодѣлся мушкетеромъ и приобрѣлъ себѣ пистолетъ. Но вмѣсто того, чтобы совершить свое ужасное намѣреніе, онъ, самъ не зная какъ, спасъ отъ смерти французскаго капитана по имени Рамбала, который, мимоходомъ очерченный авторомъ, появляется однимъ изъ рельефнѣйшихъ лицъ романа: потомъ на пожарѣ Пьеръ спасъ дѣвочку и былъ взятъ французами, какъ поджигатель. Вмѣстѣ съ другими поджигателями, Пьеръ Безухій былъ судимъ, и только благодаря Дану освобожденъ отъ расстрѣліянія. Надо читать въ самомъ романѣ сцены погрома и расстрѣліянія поджигателей, чтобы оцѣнить все мастерство автора. Особенно въ послѣдней необыкновенно поразителенъ эпизодъ расстрѣліянія молодого фабричнаго. Никакой французскій романистъ всѣми ужасами бойкаго изображенія не произведетъ на васъ такого сильнаго впечатлѣнія, какое производитъ графъ Толстой нѣсколькими простыми чертами. Вотъ этотъ эпизодъ.

— „*Tirailleurs du 86-me, en avant!*“ прокричалъ кто-то. Повели пятого, стоявшаго рядомъ съ Пьеромъ — одного. Пьеръ не понималъ того, что онъ спасенъ, что онъ и всѣ остальные были приведены сюда только для присутствія при казни. Онъ со всею возрастающимъ ужасомъ, не ощущая ни радости ни успокоенія, смотрѣлъ на то, что дѣлалось. Бѣлый былъ фабричный въ халатѣ. Только что до него оторнулись, какъ онъ въ ужасѣ отпрыгнулъ и схватился за Пьера (Пьеръ вздрогнулъ и оторвался отъ него). Фабричный не могъ идти. Его тащили подъ мышки, и онъ то-то кричалъ. Когда его подняли къ столбу, онъ вдругъ замолкъ. Онъ какъ-будто вдругъ что-то понималъ. То ли онъ понималъ, что напрасно кричать, или то, что невозможно, чтобы его убили люди, но онъ сталъ у столба, ожидая позычки вмѣстѣ съ другими, и какъ подстрѣленный звѣрь,

оглядываясь вокругъ себя блестящими глазами. Пьеръ не могъ взять на себя отвернуться и закрыть глаза. бонытство и волненіе его и всей толпы при этомъ публичествѣ дошло до высшей степени. Такъ же, какъ и другіе, этотъ пятый казался спокоенъ: онъ запахивалъ халатъ, почесывалъ одной босой ногой о другую. Когда ему начали завязывать глаза, онъ поправилъ самъ узелъ на затылкѣ, который рѣзалъ ему; потомъ, когда прислонили его къ опирающемуся столбу, онъ завалился назадъ, а такъ какъ въ этомъ положеніи было неудобно, онъ поправился и, расправивъ ноги, покойно прислонился. Пьеръ не сводилъ съ него глазъ, не упуская ни малѣйшаго движенія.

Должно быть послышалась команда, должно быть по команде раздались выстрѣлы 8-ми ружей. Но Пьеръ, сколько онъ ни старался вспомнить потомъ, не слышалъ ни малѣйшаго звука отъ выстрѣловъ. Онъ видѣлъ только, какъ что-то вдругъ опустился на веревкахъ фабричный, и показалась кровь въ двухъ мѣстахъ, и какъ самыя нежные, отъ тяжести повисшаго тѣла, распустились, и фабричный, неестественно опустивъ голову и подвернувъ шею, пошелъ. Пьеръ подбѣжалъ къ столбу. Никто не удерживалъ его. Вокругъ фабричнаго что-то дѣлали испуганные, блѣдные люди. У одного стараго усатаго француза тряслась нижняя челюсть, когда онъ отвязывалъ веревки. Тѣло свисало. Солдаты неловко и торопливо потащили его со столба и стали толкать въ яму.

Всѣ очевидно—несомнѣнно знали, что они были преступники, которымъ надо было скорѣе скрыть слѣды своего преступленія.

Пьеръ заглянулъ въ яму и увидѣлъ, что фабричный лежалъ кофѣинами вверхъ, близко къ головѣ, одно плечо выше другого. И это плечо судорожно, равномерно свисало и поднималось. Но уже лопатины земли сыпались на все тѣло. Одинъ изъ солдатъ сердито, злобно и бодро крикнулъ на Пьера, чтобъ онъ вернулся. Но Пьеръ не понялъ его и стоялъ у столба, и никто не отгонялъ его.

Изъ остальныхъ героевъ, графъ Толстой покуда похотѣлъ

нилъ красавицу Эленъ, предварительно обративъ ее въ католичество. Эпизодъ обращенія и смерти Элонъ въ романѣ представляется какъ-то неяснымъ и необработаннымъ. Мы сдѣлали только поверхностный обзоръ пятого тома и указали на два, на три мѣста, выдающіяся въ немъ, предполагая, что этого довольно для того, чтобы дать нѣкоторое понятіе объ его достоинствахъ и содержаніи. Вниманію публики къ роману гр. Толстого, можно сказать, небывалое: пятый томъ уже расходуется вторымъ изданіемъ. Это фактъ, конечно, отрадный и говорящій, съ одной стороны, объ интересѣ произведенія гр. Толстого, а съ другой—о развитіи въ обществѣ потребности къ чтенію. Сопоставьте, напримѣръ, успѣхъ „Войны и Мира“ съ успѣхомъ „Мертвыхъ душъ“ — произведенія, конечно, болѣе глубокаго, болѣе оригинальнаго—и вы поймете, насколько современная публика ушла впередъ относительно вниманія къ произведеніямъ отечественной литературы.

Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ за 1869 годъ. (Статья Ж. В. Буренина).

* * *

*) Наконецъ-то, послѣ долгихъ, долгихъ ожиданій, вышелъ пятый томъ сочиненія графа Л. Н. Толстого „Война и Миръ“. Вышелъ онъ въ двухъ видахъ: въ плашневой оберткѣ, для подписчиковъ перваго изданія книги, у которыхъ уже имѣлись первые ея четыре тома, и въ желтой оберткѣ, для новыхъ покупателей всего сочиненія изъ его второму изданіи. Надпись „изданіе второе“, красующаяся на части экземпляровъ этого пятого тома, ввела многихъ въ заблужденіе и заставила предполагать, что пятый томъ „Войны и Мира“ разошелся въ Москвѣ въ нѣсколько дней, и потребовалъ уже втораго изданія, прежде чѣмъ въ Петербургѣ узнали о его появленіи, между тѣмъ, какъ на самомъ дѣлѣ, на другой же день по выходѣ своемъ изъ свѣтъ въ Москвѣ, книга находилась уже въ продажѣ и въ Петербургѣ.

*) „Голосъ“ 1869 г., № 70. „Библиографія“. Статья Ю-ова.

Пятымъ томомъ не оканчивается еще сочиненіе гра Толстого: собственно романическая фабула еще не доведена въ немъ до конца, не развязана, и историко-общественная картина, составляющая главную задачу автора, еще не получила завершающей отдѣлки. Нужно ожидать еще шестого а можетъ быть, и седьмого, восьмого и т. д. томовъ. Авторъ довелъ свой рассказъ до выхода изъ Москвы французской до вынужденнаго поворота наполеоновской арміи на старую смоленскую дорогу. Но этимъ не оканчивается еще историческая борьба Россіи съ Франціей при Александрѣ, и нѣтъ сомнѣнія, что авторъ, для полноты картины, доведетъ рассказъ свой, если не до парижскаго мира и вѣнскаго конгресса, ужъ, во всякомъ случаѣ, до Березины.

Строгая справедливость требуетъ сказать, что пятый томъ „Войны и Мира“ менѣе интересенъ, чѣмъ первые четыре тома. Онъ переполненъ парадоксальными разсужденіями самого автора, служащими развитіемъ тѣхъ основныхъ взглядовъ графа Л. Н. Толстого на исторію человѣчества, въ которыхъ онъ съ такою наивною выскзалъ въ своей объяснительной статьѣ, помѣщенной въ „Русскомъ Архивѣ“ за 1868 г.

Забывая, какъ часто судьбы народовъ зависѣли отъ случайной прихоти ихъ правителей, какъ часто, вслѣдъ за либеральнымъ правительствомъ, слѣдовало въ данной странѣ правительство тираническое, безъ всякой къ тому разумной причины, безъ всякаго давленія со стороны историческихъ событій, какъ часто, наконецъ, одинъ и тотъ же правитель, подъ вліяніемъ преклоннаго возраста, естественнаго съ годами утомленія, а также недостойныхъ любимцевъ изъ доброжелательнаго и свободолюбиваго становился инымъ авторъ утверждаетъ, что правители ровно ничего не значатъ въ общемъ движеніи народныхъ массъ, что они не только не руководятъ этими массами, а сами руководимы ими, но что событія народной жизни всегда слагаются независимо и даже противъ воли правителей. Забывая блгстательные примѣры воинскаго гоним, забывая, что французы въ Италіи, во время республики, побуждали, пок

Наполеонъ былъ съ ними, но божъ него были поражаемы
а голову Суворовымъ, и снова вернулись къ побѣдамъ,
когда Суворовъ былъ отозванъ, а Наполеонъ вернулся изъ
гипта, графъ Толстой утверждаетъ, что никогда никакой
полководецъ не можетъ управлять ни общимъ ходомъ войны
и въ частности ходомъ сраженій, результатъ которыхъ,
по мнѣнію автора, всегда зависитъ исключительно отъ на-
строения и духа солдатъ, какъ будто въ Италіи оставалась
одна и та же французская армія, не тѣ же оставались
пералы, офицеры и солдаты, и какъ будто русская армія
одерживала побѣду надъ неграми, хотя война 1849 г.
была популярна въ нашемъ войскѣ, и хотя офицеры и
солдаты сочувствовали скорѣе неграмъ, чѣмъ австрійцамъ.
Справедливо замѣчая, что окончательный исходъ битвы
многое зависитъ отъ непредвидимыхъ случайностей,
авторъ доводитъ, однако, свое сужденіе до той крайности,
что военачальникъ совсѣмъ уже, будто бы, неспособенъ
имѣть какое бы то ни было направленіе битвы, и что ни-
какая диспозиція никогда и ни въ одной части своей на-
дѣ не выполняется. Тутъ авторъ смѣшиваетъ, какъ ему
справедливо было уже замѣчено въ военныхъ журналахъ,
два различные момента въ ходѣ каждаго сраженія. Первая
половина битвы, когда колонны получаютъ свое назначеніе
движутся къ тому или другому пункту, вполне зависитъ
отъ военачальника, и нѣтъ сомнѣнія, что на самый исходъ
сраженія не можетъ не имѣть большого вліянія догадка во-
еначальника и на надлежащій пунктъ направить ту или другую
часть войска; эта догадка, эта воинская сметливость и со-
общаетъ то, что мы называемъ военнымъ гениемъ. Второй
моментъ боя, когда войско вошло уже въ линію огня, дѣй-
ствительно не можетъ находиться подъ личнымъ, непо-
средственнымъ вліяніемъ главнокомандующаго: тутъ уже
дѣло частныхъ начальниковъ и отъ духа войскъ зависитъ
характеръ отдѣльныхъ эпизодовъ битвы. Но даже и тутъ,
нельзя вообще поддерживать въ войскахъ бодрость духа,
имѣть въ нихъ увѣренность въ побѣдѣ, хорошее воору-
женіе, хорошее содержаніе способствуютъ въ значительной

степени тому, чтобъ даже и въ огнѣ битвы, внѣ влія управляющей силы главнокомандующаго, выполнялись, общемъ смыслѣ говоря, его предназначенія. Графъ Толстой зло подсмѣивается надъ главнокомандующими, и всю заслугу ихъ видитъ въ томъ, чтобъ велѣть туда-то подвести пшасы, да приказать войскамъ повернуть направо или налево. Дѣйствительно, только въ этомъ вся ихъ заслуга; но способность во время и къ надлежащему мѣсту велѣть повести запасы, да знать, когда приказать войскамъ идти направо, а когда налево, именно и отличаетъ Суворова или Наполеона отъ какого-нибудь Мака или Бонедека. Графъ Толстой не видитъ никакой заслуги со стороны Кутузова въ томъ, что онъ, послѣ очищенія Москвы, предпринявъ фланговое движеніе на калужскую дорогу, рѣшившее, какъ извѣстно, гибель французовъ: „Для того—говоритъ онъ—чтобъ догадаться, что самое лучшее положеніе арміи (когда ее не атакуютъ), находится тамъ, гдѣ больше продовольствія, не нужно большого умственного напряженія, и кажды даже глупый тринадцатилѣтній мальчикъ, безъ труда можетъ догадаться, что въ 1812 году самое выгодное положеніе арміи, послѣ отступленія отъ Москвы, было на калужской дорогѣ“. Слова эти напоминаютъ намъ анекдотъ о козубовомъ яйцѣ. Когда завистники Христофора Колумба хотѣли умалить его заслугу, и говорили однажды, за однимъ столомъ съ нимъ, что открыть Америку было совѣтъ такъ мудрено, Колумбъ предложилъ собесѣдникамъ поставить яйцо такъ, чтобъ оно держалось стоймя на широкомъ концѣ своемъ. Какъ ни ухитрялись собесѣдники, они не могли установить яйцо въ требуемомъ положеніи. Когда Колумбъ взялъ яйцо и, слегка ударивъ его о столъ широкимъ его концомъ, сразу установилъ его. „Что же тутъ мудренаго!“ въ одинъ голосъ воскликнули обиженнымъ тономъ собесѣдники, увидѣвъ, что яйцо нѣсколько разбито съ своего широкаго конца. Дѣйствительно, ничего не было мудренаго установить такимъ образомъ яйцо: но дѣло въ томъ, что никто, кромѣ Колумба, не догадался сдѣлать это.

Говоря о главнокомандующихъ и вообще о правителяхъ

и государяхъ, авторъ говоритъ, что „одна безсознательная дѣятельность приносить плоды“; что „челонѣкъ, играющій роль въ историческомъ событіи, никогда не понимаетъ его значенія, и что „если онъ пытается понять его, онъ поражается безплодностью“. Правители авторъ сравниваетъ съ утлымъ челномъ, плывущимъ бокъ-о-бокъ съ большимъ народнымъ кораблемъ: пока на морѣ тихо, челнъ, упираясь шестомъ въ корабль, можетъ думать, что управляетъ его движеніями, но поднимается буря, и челнъ или гибнетъ или остается одинокомъ, теряя всякую связь съ кораблемъ, не достигая уже до него шестомъ своимъ, а корабль, тѣмъ временемъ величественно, хотя не безъ потерь и крушеній, продолжаетъ свой независимый ходъ. Или, по другому сравненію, правитель—просто фигура, вырѣзанная на носу корабля и бессмысленно воображающая, что она управляетъ его ходомъ. Все приводитъ, въ политической и въ военной исторіи, къ личности правителей и военачальниковъ было, разумѣется, крайностью; но авторъ впадаетъ въ другую крайность, когда требуетъ, чтобъ историки „оставили въ покоѣ царей, министровъ и генераловъ“, и для раскрытія законовъ историческаго движенія изучали и однородные, бесконечно малые элементы, которые руководятъ массами. Самъ авторъ побиваетъ, впрочемъ, свою теорію въ ея дальнѣйшемъ развитіи. Заимствуя сравненіе изъ математики, онъ говоритъ, что результатъ совокупнаго дѣйствія силъ не можетъ распознаваться по одной изъ составляющихъ, а лишь по діагонали такъ называемаго параллелограмма силъ; правители и главнокомандующіе—говоритъ онъ,—лишь одна такая составляющая. Совершенно справедливо; но, вѣдь, и бесконечно малыя тоже одна только составляющая, и мы тогда лишь будемъ правы, когда, для раскрытія истины, не оставимъ въ покоѣ ни царей съ ихъ министрами и генералами ни бесконечно малыхъ.

Примѣръ Ростопчина, дѣйствительно, подтверждаетъ теорію автора: Ростопчина мы охотно отдаемъ графу Толстому; Ростопчинъ, отчасти, впрочемъ, вводимый въ заблужденіе осторожнымъ Кутузовымъ, дѣйствительно не понималъ, что

вокругъ него дѣлалось; онъ, дѣйствительно, „хотѣлъ толь-
ко что-то сдѣлать самъ, удивить кого-то, что-то совершить
патріотически-геройское, и какъ мальчикъ, рѣзвился надъ
величавымъ и неизбѣжнымъ событіемъ оставленія и сожже-
нія Москвы, и старался своею маленькою рукою то по-
ощрить, то задерживать теченіе громаднаго, уносившаго
его, вмѣстѣ съ собою, народнаго потока“. Но, желая под-
вести и Кутузова подъ ту же рамку „безсознательнаго“
участія въ событіяхъ, авторъ невольно впадаетъ въ про-
тиворѣчіе съ самимъ собою. Онъ утверждаетъ, что отече-
ственная война разыгралась безъ всякаго руководящаго
участія со стороны главнокомандующаго, что онъ отсту-
пилъ, потому что нельзя было не отступить, перешелъ на
калужскую дорогу, потому что нѣкуда было больше идти.
Но такъ мы судимъ теперь, аргѳа соир, а тогда, въ самый
разгаръ событій, думали иначе, и самъ авторъ вынужденъ
сознаться, что одинъ только Кутузовъ понималъ необходи-
мость терпѣнія и выжиданія, только онъ могъ рѣшиться
оставить Москву безъ выстрѣла, только онъ одинъ пони-
малъ значеніе бездѣйствія французской арміи; онъ одинъ—
тотъ, который, казалось бы, по своему положенію главно-
командующаго, долженъ былъ вызываемъ къ наступленію—
онъ одинъ всѣ силы свои употреблялъ на то, чтобъ удер-
жать русскую армію отъ безполезныхъ сраженій. Неужели
все это можетъ быть названо „безсознательнымъ“ уча-
стіемъ въ событіяхъ? Неужели не воинская заслуга со сто-
роны человека, который, несмотря на общее въ войскѣ
стремленіе къ наступательному образу дѣйствій, несмотря
на энергическія настоянія всѣхъ окружающихъ, несмотря
на ропотъ всей Россіи, несмотря даже на самыя положи-
тельныя повелѣнія со стороны государя и на горькіе упре-
ки, сыпавшіеся на него съ высоты трона за кажущееся
бездѣйствіе, устоялъ на своемъ и, такъ сказать, вопреки
Россіи, спасъ армію?

Чтобъ доказать малое участіе главнокомандующихъ въ
ходѣ сраженій и практическую несполнимость военныхъ
диспозицій, авторъ приводитъ канунъ тарутинскаго сраже-

вія. Какъ извѣстно, наступленіе назначено было на 5-е октября, по диспозиціи, составленной Толемъ; существованіе этой диспозиціи извѣстно было Ермолу еще 4-го числа утромъ, но, вмѣсто того, чтобъ заняться дальнѣйшими по ней распоряженіями, онъ уѣхалъ на балъ къ генералу Кикину, такъ что когда диспозиція была переписана в Коповницынъ послалъ ее съ адъютантомъ къ Ермолу, его не могли найти до поздней ночи; распоряженія сдѣланы не были, и когда рано утромъ 5-го числа, Кутузовъ выѣхалъ къ войскамъ, онъ засталъ ихъ вовсе неготовыми къ наступленію. Сраженіе должно было быть отложено до слѣдующаго дня. Что же доказываетъ этотъ случай? развѣ онъ можетъ быть принятъ за нормальное явленіе? Изъ разсказа графа Толстого, совершенно сходнаго, впрочемъ, съ изложеніемъ г. Богдановича *), ошибка произошла отъ умышленной или не умышленной оплошности Ермолова: одинъ штабный офицеръ прямо говорилъ, что Ермолу сдѣлалъ это нарочно, чтобъ „Коповницина подкатить“. И если это такъ, чему даже вѣрить не хочется, то понятенъ гнѣвъ Кутузова, и дѣйствительно, стоило бы разстрѣлять, но только, разумѣется, не подвергнувшись случайно на глаза главнокомандующаго офицеровъ Эйхина и Нороздина... Вообще, съ своей общественно-исторической стороны, 5-й томъ „Войны и Мира“ имѣетъ характеръ сочиненія, писаннаго на заданную тему, и всѣ разсказанные въ немъ отдѣльные эпизоды подведены подъ одну предвзятую мысль. Авторъ безпрестанно твердитъ, что причинъ историческаго событія вовсе нѣтъ и быть не можетъ, кромѣ единственной причины всѣхъ причинъ, т. е. верховнаго предопредѣленія, судьбы, и что все совершающееся совершается только потому, что должно совершаться. Принявъ такую фаталистическую теорію, мы должны были бы отринуть вліяніе доблестныхъ примѣровъ прошедшаго, но что же значитъ доблесть человѣка, когда она въ немъ не служитъ актомъ его свободной воли, а произведена въ немъ темными, не-

*) „Исторія царствованія Александра I“, томъ I, стр. 381.

вѣдомымъ силами? Мы должны были бы тогда покориться злу, и не бороться съ нимъ: что же мы можемъ противъ него сдѣлать, если судьбою предопредѣлено уже ему совершить свой полный кругъ?

Авторъ совсѣмъ потопилъ свое художественное творчество во всѣхъ этихъ туманныхъ и ребячески-наивныхъ разсужденіяхъ, и если освободить отъ нихъ книгу графа Толстого, то останется лишь немногое тѣхъ объективныхъ картинокъ, которыя плѣняли насъ въ предыдущихъ томахъ. Таковы: совѣщаніе на Поклонной горѣ, военный совѣтъ въ Филахъ, убіеніе Верещагина, преданнаго Ростопчиннымъ народу, послѣдній выѣздъ Ростопчина изъ Москвы. Эти эпизоды разсказаны авторомъ по Богдановичу, у котораго они изложены столь же подробно, но, разумеется, безъ той художественной рельефности и жизненности, которыя составляютъ особенность разсказа графа Толстого. Въ избу мужика Андрея Савостьянова, въ Филахъ, въ часъ совѣта, авторъ вводитъ лицо, котораго не находимъ ни у Богдановича ни у другихъ историковъ, по которое, своимъ безучастнымъ присутствіемъ, оживляетъ сцену и придаетъ ей какой-то особенный, задумчивый колоритъ, а именно, шестилѣтнюю внучку Андрея, Малану, облаканную свѣтлѣйшимъ. „Малана—разсказываетъ авторъ—робко и радостно смотрѣла съ печи на лица, мундиры и кресты генераловъ, одинъ за другимъ входившихъ въ избу и разсаживавшихся въ красномъ углу, на широкихъ лавкахъ подъ образами. Сажъ дѣдушка, какъ внутренно называла Малана Кутузова, сидѣлъ отъ нихъ особенно, въ темномъ углу за печкой. Онъ сидѣлъ, глубоко опустившись въ складное кресло, и безпрестанно покрикивалъ и расправлялъ воротникъ сюртука, который, хотя и разстегнутый, все какъ будто жаль его шью. Входившіе одинъ за другимъ подходили къ фельдмаршалу; нѣкоторымъ онъ пожималъ руку, нѣкоторымъ кивалъ головой. Адъютантъ Кайсаровъ хотѣлъ было отдернуть занавѣску на окнѣ противъ Кутузова, но Кутузовъ сердито замахалъ ему рукой, и Кайсаровъ понялъ, что свѣтлѣйшій не хочетъ, чтобы видѣли его лицо“. Вониг-

сенъ, котораго ждали болѣе двухъ часовъ, открылъ совѣтъ вопросамъ: оставить ли безъ боя священную и древнюю столицу Россіи, или защищать ее?

„Послѣдовало долгое и общее молчаніе—продолжаетъ авторъ. — Всѣ лица нахмурились, и въ тишинѣ слышалось сердитое кряхтѣніе и покашливанье Кутузова. Всѣ глаза смотрѣли на него. Маша тожо смотрѣла на дѣдушку. Она ближе всѣхъ была къ нему, и видѣла, какъ лицо его сморщилось: онъ точно собрался плакать. Но это продолжалось недолго. „Священную древнюю столицу Россіи! вдругъ заговорилъ Кутузовъ, сердитымъ голосомъ повторяя слова Беннигсена и этимъ указывая на фальшивую ноту этихъ словъ. — Позвольте вамъ сказать, ваше сіятельство, что вопросъ этотъ не имѣетъ смысла для русскаго человѣка. (Онъ пореванился впередъ своимъ тяжелымъ тѣломъ). Такой вопросъ нельзя ставить, и такой вопросъ не имѣетъ смысла. Вопросъ, для котораго я просилъ собраться этихъ господъ, это вопросъ военный, вопросъ слѣдующій: спасеніе Россіи въ арміи; выгодноѣ ли рисковать потерей арміи и Москвы, принявъ сраженіе, или отдать Москву безъ сраженія? Вотъ на какой вопросъ желаю я знать ваше мнѣніе. (Онъ откачнулся назадъ на спинку кресла)“...

Начались пренія.

При изображеніи всей этой сцены, графъ Толстой, по всѣмъ своимъ предвзятымъ теоріямъ и въ силу своего художественнаго такта, доказываетъ несомнѣнное превосходство Кутузова надъ всѣми прочими генералами по уму и пронзительности взгляда; видно, что онъ одинъ понимаетъ значеніе событій, и не только умѣетъ покоряться имъ, но даже какъ бы владѣетъ ими. „Машинъ—разсказываетъ авторъ—Машинъ, которая, не спуская глазъ, смотрѣла на то, что дѣлалось передъ нею, казалось, что все дѣло было только въ личной борьбѣ между дѣдушкой и длиннополымъ, какъ она называла Беннигсена. Она видѣла, что они злились, когда говорили другъ съ другомъ, и въ душѣ своей она держала сторону дѣдушки. (Невольно держитъ его сторону и читатель). Въ сородинѣ разговоръ она замѣтила

быстрый, лукавый взглядъ, брошенный дѣдушкой на Бенгсена, и вслѣдъ затѣмъ, къ радости своей (и читателя), замѣтила, что дѣдушка, сказавъ что-то длиннополному, осадилъ его: Бенгсенъ вдругъ покраснѣлъ и сердито прошелся по пзбѣ“. Извѣстно, что Кутузовъ прекратилъ пренія слѣдующими словами: „Eh bien, messieurs, je vois que c'est moi qui rayurai les pots cassés“, сказалъ онъ и, медленно приподнявшись, подошелъ къ столу. „Господа. я слышала ваши мнѣнія. Нѣкоторые будутъ несогласны со мною. Но я (онъ остановился). властью, врученною мнѣ моимъ Госудиремъ и отечествомъ—приказываю отступленіе“. Вслѣдъ за этимъ, заключаетъ авторъ, генералы стали расходиться съ тою же торжественною и молчаливою осторожностью, съ какою расходится послѣ похоронъ.

Изъ лицъ собственно романтической фабулы авторъ сводитъ со сцены главного и любимѣйшаго своего героя— князя Андрея Болконскаго, который умираетъ отъ раны, полученной имъ въ Бородинской битвѣ. Еще тамъ, на Бородинскомъ полѣ, и особенно въ походномъ госпиталѣ, при видѣ страданій врага его, князя Анатолія Курагина, миръ низлетѣлъ на душу князя Андрея, вывѣстъ со страхомъ смерти, съ желаніемъ жить, съ любовью ко всѣмъ и особенно къ Наташѣ Ростовой. Тогда же, въ тѣ страдальческіе и мучительные часы, гордый умъ князя Андрея, склонный прежде къ скептицизму и невѣрію, сталъ понимать возможность вѣры и молитвы. На минуту любовь къ жизни и къ Наташѣ овладѣла съ новою силою душою князя Андрея, когда Наташа, узнавъ о ранѣ Болконскаго и случайно сведенная подъ одинъ кровъ съ нимъ (при общемъ бѣгствѣ изъ Москвы), кинулась къ нему съ новымъ приливомъ страсти и не отходила отъ одра его. Но быстро развивалась въ немъ предсмертная болѣзнь, и скоро сталъ онъ чуждъ всему живому; начало новой, вѣчной любви открылось ему, и онъ съ спокойнымъ, ужасающимъ равнодушіемъ смотрѣлъ и на Наташу, и на подослѣвшую къ нему княжну Марью, и на сына Николушку. Когда княжна Марья спросила у брата, хочеть ли онъ видѣть Николушку.

то князь Андрей чуть замѣтно улыбнулся; но и княжна Марья, такъ знавшая его лицо, съ ужасомъ поняла, что это была улыбка не радости, не нѣжности къ сыну, но тихой кроткой насмѣшки надъ тѣмъ, что княжна Марья употребляла, по ея мнѣнію, послѣднее средство для приведенія его въ чувство“. Впрочемъ, несмотря на все мастерство графа Толстого и на всю художественность его тонкихъ психологическихъ анализовъ, описаніе послѣднихъ минутъ князя Андрея отличается слишкомъ уже мистическимъ характеромъ. Княжну Марью авторъ дѣлаетъ почти неизъстому Николаю Ростову, отъ котораго, съ болью въ сердцѣ и въ угоду старикамъ Ростовымъ, отказывается Соня; но состоится ли этотъ бракъ, мы еще не знаемъ; точно такъ же, какъ не знаемъ, чѣмъ разрѣшатся отношенія между Пьеромъ Безухимъ (успѣвшимъ овдовѣть) и Наташей. Самого Пьера авторъ проводитъ черезъ цѣлый рядъ приключеній: онъ хочетъ убить Наполеона, но попадаетъ на пожаръ, гдѣ спасаетъ какую-то дѣвочку изъ пламени и защищаетъ армянскую красавицу отъ французскихъ солдатъ; его берутъ подъ арестъ, чуть не разстрѣливаютъ, сажаютъ въ бѣлизна, вмѣстѣ съ десятками другихъ арестантовъ, держатъ тамъ около двухъ мѣсяцевъ, гонятъ потомъ за обозомъ отступающей французской арміи, и все это, по мнѣнію автора, должно было послужить Пьеру во благо. „Онъ долго въ своей жизни искалъ съ разныхъ сторонъ этого успокоенія, согласія съ самимъ собою, того, что такъ поразило его въ солдатахъ въ бородинскомъ сраженіи — онъ искалъ этого въ филантропіи, въ масонствѣ, въ разсѣяніи свѣтской жизни, въ винѣ, въ геройскомъ подвигѣ самопожертвованія, въ романтической любви къ Наташѣ; онъ искалъ этого путемъ мыслей, и все эти исканія и попытки, все обманули его. И онъ, самъ не думая о томъ, получилъ это успокоеніе и это согласіе съ самимъ собою только черезъ ужасъ смерти и черезъ лишенія. Отсутствіе страданій, удовлетвореніе потребностей и, вслѣдствіе того, свобода выбора занятій, т. е. образа жизни, представлялась теперь Пьеру несомнѣннымъ и высшимъ счастьемъ

человѣка. Здѣсь, теперь, только въ первый разъ Пьеръ оцѣнилъ наслажденіе ѣды, когда хотѣлось ѣсть, когда хотѣлось пить, сна, когда хотѣлось спать, когда хотѣлось говорить и послушать человѣчeskій голосъ. Удовлетвореніе потребностей—хорошая пища, чистота, свобода—теперь, когда онъ былъ лишенъ всего этого, казались Пьеру совершеннымъ счастьемъ, а выборъ занятія, то-есть, жизни, теперь, когда выборъ этотъ былъ такъ ограниченъ, казался ему такимъ легкимъ дѣломъ, что онъ забывалъ, что избытокъ удобствъ жизни уничтожаетъ все счастье удовлетворенія потребностей, и большая свобода выбора занятій, та свобода, которую ему въ его жизни дали образование, богатство, положеніе въ свѣтѣ, что эта свобода и дѣлаетъ выборъ занятій неразрѣшимо-труднымъ и уничтожаетъ самую потребность и возможность занятія.

Въ заключеніе скажемъ, что одну изъ художественныхъ страницъ романа графа Толстого составляетъ описаніе выѣзда изъ Москвы семейства Ростовыхъ, который нагружали было множество подводъ разными добромъ, и потомъ опять свалили все это добро, чтобъ дать мѣсто военнымъ офицерамъ и солдатамъ.

Изъ «Голоса» 1869 г. Статья Ю—ова.

* * *

*) Недавно замолкшіе въ нашей печати толки о новомъ художественномъ произведеніи г. Л. Н. Толстого опять возобновились, съ появленіемъ его пятого тома. Каждая газета, каждый листокъ считаетъ своею обязанностию, если не критически отозваться, то хоть къ чему-нибудь придраться, что-нибудь по своему похвалить или въ свою пользу скомпрометировать. Такъ-какъ все эти толки, слушаніе болѣе или менѣе выраженіемъ общественнаго мнѣнія, не могутъ быть игнорируемы, то мы и начнемъ свою критическую замѣтку съ этой возникающей у насъ, такъ-сѣ

*) „Сѣверная Пчела“ 1869 г., № 12. Статья Н.С-на, подъ заглавіемъ: „Война и Миръ (по поводу романа г. Л. Н. Толстого)“.

затѣ, оцѣнки знаменитаго романа. Большинство критическихъ и политическихъ отзывовъ, высказанныхъ по поводу этого произведенія, сводятся къ тому, что гр. Л. Н. Толстой какъ художникъ безукоризненъ, но какъ мыслитель будто-бы плохъ. Это противорѣчіе между его художественными и мыслительными способностями многіе стараются видѣть почти въ каждой главѣ; отданая полную справедливость его таланту, они, въ то же время, дѣлаютъ ему самыя ядовитыя упреки за высокоумный взглядъ на историческихъ или міровыхъ дѣятелей и за слишкомъ большое пристрастіе къ единичной и семейной жизни массъ. Всѣ эти такъ часто повторяемыя отзывы намъ кажутся, однако, положительно несправедливыми. Мѣстами, и особенно въ пятомъ томѣ, авторъ, конечно, увлекается подробнѣйшимъ изложеніемъ своего художественнаго міросозерцанія; но созерцаніе это у него въ политическомъ согласіи съ его изображеніями жизни; оно, такъ-сказать, выросло изъ нихъ, и оттого идея романа почти не отдѣлена отъ его страницъ. Но общество обыкновенно знаетъ не хочетъ этого свойства художественныхъ произведеній; ему всегда нужно нѣчто осязаемое, непосредственно приложимое изъ работы беллетриста, какъ-бы тамъ ни велики были ея поэтическія достоинства. Попробуемъ-же, слѣдуя этому требованію времени, извлечь главную идею произведенія гр. Л. Н. Толстого, насколько она представляется со стороны. Идея эта, вольно или невольно пробивающаяся сквозь длинную вереницу художественныхъ изображеній гр. Л. Н. Толстого, заключается въ изведеніи войны на степень явленій случайныхъ, хаотическихъ, а потому и не могущихъ считаться необходимостью въ историческомъ движеніи. Великая, но къ несчастію, еще не выполненная мечта о всеобщемъ разоруженіи, перетревожившая столько умовъ, начиная съ генерала Гарибальди до послѣдняго публициста, отозвалась, вѣроятно, и на авторѣ „Войны и Мира“. Только при этомъ предположеніи дѣлается понятнымъ, почему онъ съ такою настойчивостію приводитъ съ высокихъ пьедесталовъ Наполеона и другихъ полководцевъ, и съ такимъ безпооща-

нымъ скептицизмомъ относится къ воинственному жару военному патриотизму. Въ одномъ мѣстѣ онъ прогоняется даже, что не вѣрить „ни въ военную науку и въ военный гений“. Мысль эта, высказанная еще въ первый разъ въ нашей литературѣ, побудила одинаково сильные возраженія какъ со стороны людей, для которыхъ военное дѣло—ремесло, такъ и со стороны называющихъ себя друзьями мира. Ни многозначительный политическій фактъ свершившійся у насъ на глазахъ по поводу разрывныхъ пуль, ни безумно-колоссальный прогрессъ, который замѣчается въ вооруженіи западной Европы, ничто не могло отрезвить пылкіе умы, возмущенные взглядами гр. Л. Н. Толстого на войну. Всѣ начали твердить, что онъ топчетъ значеніе личности; между тѣмъ какъ онъ, указывая на фаталистическій, роковой характеръ тѣхъ историческихъ явленій, которыя зависятъ отъ сраженій, собственно не унижаетъ личности, а только какъ-бы предостерегаетъ чтобы эти живыя личности не отдавались хаосу рокового случайнаго разрушенія. Изъ его романа дѣлается яснымъ что ни въ какомъ, конечно, другомъ дѣлѣ, человѣкъ не подвергаетъ себя такому риску, какъ въ военномъ; и это не въ отношеніи только того, что онъ, воюя, ставитъ на карту свою жизнь—капиталъ и плоды трудовъ, но и въ отношеніи ближайшей цѣли войны. Цѣль эта (объ отдаленныхъ цѣляхъ мы не говоримъ) — произведеніе безпорядка, разрушенія, хаоса или, какъ прекрасно выразился гр. Толстой, распаденіе условій жизни. Въ войнѣ все перевертывается вверхъ дномъ. Когда французы, послѣ бородинской битвы, вступили въ Москву, то городъ уподобился, по превосходному выраженію автора, обезматочившему улью, въ которомъ все стало разлагаться. Какъ промышленность и трудъ есть стремленіе къ созиданію, такъ и война въ непосредственномъ ближайшемъ ея значеніи, есть стремленіе къ разрушенію. Стремленіе же къ разрушенію, хаосу, не подчиняется никакимъ законамъ, кромѣ хемическихъ, роковыхъ. До тѣхъ поръ, конечно, пока сраженіе не началось, всѣ матеріалы битвы располагаются, обыкновенно,

по законамъ тактики, фортификаціи, артиллеріи и другихъ наукъ, пытающихся подчинить себѣ дѣло разрушенія, но какъ только столкнулись двѣ стороны, равновѣсіе теряется, условія перепутываются, и борющіяся стороны отдаются на жертву случая. Вслѣдствіе ежеминутнаго присутствія смерти, человѣкъ падаетъ въ такое возбужденное состояніе, что малѣйшая случайность вліяетъ на вѣрность прицѣла, силу размаха, общее настроеніе сражающихся и отсюда на судьбу сраженій, и за этимъ на участь народовъ. Хотя отъ силы случайности, силы неумовимыхъ обстоятельствъ, человѣкъ и не избѣгаетъ совсѣмъ въ другихъ своихъ дѣлахъ, напр., въ желѣзно-дорожномъ дѣлѣ случаются совершенно непредвидимыя столкновенія и соскакиванія съ рельсовъ. Но все-таки человѣкъ тутъ неизмѣримо большій господинъ, чѣмъ въ дѣлѣ войны, и это опять оттого, что война есть собственно не дѣло, а разрушеніе, и противъ нея злѣе никто застраховать себя не можетъ, особенно когда, благодаря артиллерійскимъ усовершенствованіямъ, война такъ тѣсно переплелась съ промышленными и финансовыми условіями, и получилась возможность иногда въ одинъ часъ уничтожить плоды многолѣтнихъ трудовъ и сбереженій.

Многіе удивляются, какъ можетъ графъ Толстой съ такимъ безошаднымъ анализомъ касаться до славы героевъ; но это, при его взглядахъ на исторію, вещь понятная; что человѣкъ, очутившійся въ центрѣ арміи, очень скоро дѣлается идоломъ, явленіе вполне естественное; массы находятся въ такомъ напряженномъ восторженно-колеблющемся состояніи, что въ этомъ идолослуженіи, энтузіазмѣ къ полководцу сосредоточивается ихъ сила. Но полководецъ все-таки черезъ это не дѣлается полновластнымъ господиномъ своихъ поступковъ.

„Главкомадующій, говоритъ авторъ, всегда въ срединѣ движущагося ряда событій, въ центрѣ сложнѣйшей игры, интригъ, заботъ, зависимости, власти, проектовъ, совѣтовъ, угрозъ, обмановъ и т. д.“ Особенно рельефно изображено у автора значеніе интриги, этой страшной силы, обладающей свойствомъ останавливать какъ самое

вредные замыслы, такъ и самыя желаемыя и благія намѣренія. „До тѣхъ поръ, пока историческое море спокойно, администратору съ своей утлой лодочки, упирающемуся на корабль народа, и самому двигающемуся, должно казаться: что его усилиями двигается и корабль. Но стоитъ подняться бурѣ, взволноваться морю и двинуться кораблю, тогда заблужденію невозможно. Корабль идетъ своимъ громаднымъ независимымъ ходомъ, шесть не достаетъ до двинутаго корабля“.

Такъ старается изобразить авторъ роковую силу различныхъ жизненныхъ условий и безчисленныхъ вѣншихъ обстоятельствъ, влияющихъ на ходъ исторіи, на перекоръ личностямъ, носящимся надъ моремъ житейскимъ. И такъ какъ человекъ нигдѣ такъ не насилуетъ судьбы, какъ въ войнѣ, то и не удивительно, что гр. Толстой своимъ художественнымъ чутьемъ дошелъ до убѣжденія, что война есть распаденіе условий жизни, а миръ—сохраненіе этихъ условий и источникъ жизненной гармоніи. Иноиѣ опредѣлительно мысль эта нигдѣ не высказывается, но она сквозитъ сквозь всякую страницу; подъ влияніемъ этой грандіозной и вмѣстѣ простой мысли написано, кажется, и заглавіе художественнаго произведенія. Создавая его, авторъ какъ-бы говоритъ читателю: Вотъ вамъ картины войны, вотъ вамъ картины мира. Выбирайте что лучше. Картины мира у него, конечно, еще не дорисованы такъ, какъ картины войны: онъ ихъ едва-ли не оставляетъ на концѣ своего произведенія, когда военная гроза, имъ теперь изображаемая, разразится, и наступитъ дѣйствительный миръ. Но симпатіи автора уже, очевидно, клонятся къ мирнымъ сценамъ и мирнымъ явленіямъ жизни. Далѣе его Ростовъ: этотъ истый любитель военного искусства, и тотъ, разсказываетъ авторъ, почувствовалъ наслажденіе, когда послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ, проведенныхъ въ военной атмосферѣ, очутился вѣ солдатъ, фуръ, госпиталей, провѣанта и слѣдовъ боевого лагеря, и увидѣлъ деревни, помѣщичьи дома, поля съ пасущимся скотомъ, станціонные дома съ заснувшими зрителями, здоровыхъ мужичковъ, крас-

ныхъ женщинъ—словомъ, жизнь увидѣлъ, а не разрушеніе. Пьеръ Безуховъ, ходившій, какъ дилетантъ, въ самый пылъ бородинскаго боя, и тотъ, когда увидѣлъ вдругъ сквозь сонъ бумъ-бумъ выстрѣловъ, стопы, крики, лопанье снарядовъ, запахъ крови и пороха, то почувствовалъ ужасъ и страхъ смерти, и обрадовался, какъ ребенокъ, когда до его слуха донесся разговоръ дворника, гоготанье птицъ и учуять запахъ сѣна, навоза, дегтя; словомъ, убѣдился, что онъ не на полѣ смерти, а въ жиломъ постояломъ дворѣ. Болѣе реальнымъ образомъ невозможно изобразить мирныхъ истинниковъ и плеченій. И эта мирная, обыденная будничная жизнь, не только не заслоняется въ произведеніи гр. Толстого грандіозными историческими событіями, но даже выглядываетъ какъ-то заманчивѣе; она виднѣется читателю сквозь всѣ перипетіи все болѣе разгорающейся народной войны, въ видѣ какихъ-то обольстительныхъ картинокъ, прячущихся далеко за рядомъ крутыхъ горъ и возвышеній. Отрывочныя изображенія мира нарисованы у автора не только съ одинаковою яркостію и выуклостію въ сравненіи съ картинами войны, но имъ даже приданъ нѣкоторый историческій характеръ. Доселѣ мы видѣли, что вводныя побочныя лица въ историческихъ романахъ, обыкновенно, не принимали существеннаго участія въ тѣхъ событіяхъ, которыя передавались художниками по лѣтописямъ. Побочныя лица давали только романисту возможность изображать предполагаемый духъ вѣка, нравы и обычаи: въ самыя историческія событія романисты ихъ не впутывали, считая эти событія дѣломъ только избранныхъ личностей. Такъ дѣлалъ Вальтеръ-Скотъ, такъ сочиняли и другіе историческіе романисты. Но не такъ рѣшился поступить авторъ „Войны и Мира“. Люди, обыкновенные люди, не принимавшіе, если вѣрять лѣтописямъ, никакого дѣятельнаго участія въ ходѣ исторіи, оказываются у него тѣснѣйшимъ образомъ связанными съ самыми крупными событиями, вслѣдствіе непрерывности всѣхъ звеньевъ жизни. Привязанность къ своему имуществу, наирямѣрь, заставляють семейство Ростовыхъ увозить свои пожитки изъ Москвы

порядъ входомъ въ нее Наполеона, но сила сочувствія и ревѣшиваетъ это влеченіе: стотысячные пожитки сброшены и на подводахъ помѣщаются раненные—принесена значительная жертва, совершенъ подвигъ. Такъ переплетаются у автора всѣ героическія и обыкновенныя явленія жизни; при этомъ нередко героическія низводятся на степень самыхъ обыкновенныхъ явленій, а обыкновенныя возводятся на степень героическихъ. Рядъ историческихъ и жизненныхъ картин у него поставленъ въ такомъ изумительномъ равенствѣ какому еще и примѣра не было въ литературахъ. Дерзость его при союзности съ высоты неведсталовъ разныхъ героевъ тоже то истиннѣ изумительна. Намеки великаго Наполеона, рядъ памятью котораго витало столько поэтическихъ умовъ, начиная съ Гейне и кончая Пушкинымъ, онъ изображаетъ ничѣмъ инымъ какъ воплощеніемъ идеала французскаго сержанта, стремящагося изумить миръ дерзостію и порисоваться великодушіемъ, полюбоваться пзъ любовью къ искусству храбростію враговъ и въ то-же время насильно навязать имъ свою цивилизацію, такъ что между императоромъ Наполеономъ, торжественно ждущимъ ключей отъ бояръ Москвы и неподражаемымъ капитаномъ Рамболомъ, рассказывающимъ, какъ они брали Вѣну, Берлинъ, Познань, Римъ—оказывается у гр. Толстого очень небольшое нравственное различіе. Замѣчательно, что этотъ духъ французской бравуры, бывшей причиной столькихъ громкихъ и совершенно безплодныхъ историческихъ событій до сихъ поръ еще отражается во французскихъ пѣсенкахъ и частію во французской литературѣ.

Какую-же форму избралъ собѣ гр. Л. Н. Толстой для разрѣшенія этихъ чрезвычайно сложныхъ художественныхъ задачъ? А форму чрезвычайно простую и вмѣстѣ оригинальную. Авторъ не рассказываетъ о событіяхъ и происшествіяхъ, а какъ-бы рисуетъ и живописуетъ ихъ передъ глазами читателя. На крупный историческій фактъ у него смотритъ всегда кто-нибудь изъ самыхъ обыкновенныхъ смертныхъ и по впечатлѣніямъ этого простого смертнаго уже составляется художественный матеріалъ и оболочка со-

бытія. Шенграбенское дѣло описано по впечатлѣніямъ князя Андрея, прїѣздъ Александра въ Москву отражается въ волненіяхъ Пети, на военный совѣтъ передъ оставленіемъ Москвы смотритъ невинное личико ребенка Малаши и т. д. Такимъ образомъ, подъ перомъ автора является безконечная вереница другъ за друга цѣпляющихся изображеній, а въ цѣломъ какая-то картина-романъ, форма, совершенно новая и столь-же соответствующая обыкновенному ходу жизни, сколько и безграничная какъ сама жизнь.

Но что-же значить это безстрастіе въ изображеніяхъ, о которомъ такъ твердятъ читавшіе „Войну и Миръ“? Это не холодное, апатичное отношеніе автора къ жизни, но сильно сдерживаемое чувствомъ мѣры и вкуса влеченіе къ ней. Жизнь гр. Л. Н. Толстой до того любитъ, что у него съ одинаковою прелестію и поэзіею нарисована Наташа, торжествующая, что ей удалось, наконецъ, запереть сундукъ, и старикъ Кутузовъ, плачущій при вѣсти, что Наполеонъ оставилъ Москву. Все фальшивое, утрированное, являющееся въ чертахъ и образахъ искривленныхъ будто бы сильными страстями, словомъ все, что такъ прельщаетъ посредственные таланты—все это противно гр. Л. Н. Толстому. Сильныя страсти, глубокое душевное движеніе у него, напротивъ, являются обведенными такими тонкими очертаніями и нѣжными штрихами, что невольно подвигнешься, какъ такіе до крайности простые орудія слова производятъ такой поразительный эффектъ. Присматриваясь, однакожъ, къ тѣмъ съ перваго взгляда спокойнымъ, но, при болѣе глубокомъ разсмотрѣніи, оживающимъ внутреннюю жизнь школъ Рафаэля и Мурилло, мы начинаемъ разумѣть, какимъ образомъ художники, поэты неслучайными движеніями мысли и чувства обнаруживаютъ глубочайшія тайники души. Наташа, въ своемъ безутѣшномъ горѣ передъ смертію Андрея, потрясаетъ читателя не громкими рыданіями или ломаніемъ рукъ, къ чему бы прибѣгнули у насъ другіе романисты, а какимъ-то полумертвеннымъ спокойствіемъ, заставляющимъ страшиться за ея жизнь. Также просто и безэффектно выражается и героизмъ Багратіона,

Кутузова, Тушина. Типовъ у него собственно нѣтъ—въ этомъ его слабость, но въ этомъ его и сила. Изображая характеръ, онъ, какъ настоящій реалистъ-художникъ, не дѣлаетъ какого-нибудь собирательнаго отвлеченія изъ множества однородныхъ наблюдаемыхъ имъ лицъ, а просто дѣлаетъ снимокъ съ одного человѣка, но при этомъ такъ глубоко заглядываетъ ему въ душу, что отыскиваетъ не только типовыя, но и общечеловѣческія черты. Рисуя, напримеръ, пѣшнаго солдата Каратаева, онъ въ немъ не замѣчаетъ никакой озлобленности къ врагамъ, и этимъ реальнѣйшимъ образомъ показываетъ одинъ изъ недостижимѣйшихъ принциповъ нравственности, вполне усвоенный самымъ простѣйшимъ изъ смертныхъ. Фигуры князя Андрея и Пьера Безухова, несмотря на ихъ осязаемость, тоже мало типичны, но ихъ стремленіе вырваться изъ свѣтскихъ слоевъ жизни и послѣ роскошной, полной удобствъ, обстановки, испытать трудовую и истинно-геройскую жизнь, есть черта, такъ сказать, историческая, особенно для памятной всѣмъ эпохи 1812 года, когда на Руси въ первый разъ было еще создано единство всѣхъ сословій, единство всего народа. Мысль изобразить чистѣйшихъ кровныхъ аристократовъ въ роли простыхъ работниковъ и совлечь мишуру невѣдѣнія всего своего, русскаго, мысль по истинѣ гениальная, и намѣреніе показать, что мирная семейная или одинокая жизнь есть идеалъ гражданской, политической и всякой другой добродѣтели—есть такое намѣреніе, которому и цѣны нѣтъ. Намѣреніе это, однако-же, не доведено у него до конца; такъ какъ миръ у него еще не одержалъ окончательной побѣды надъ войной.

Изъ „Сѣверной Пчелы“ 1869 г. Статья II. С—ва.

* * *

*) Въ третій разъ намъ приходится говорить объ этомъ произведеніи, и мы все еще не можемъ сказать послѣдняго слова, потому что оно до сихъ поръ не кончено. Судя по хо-

*) „Всемирный трудъ“ 1869 г., № 3. Статья II. Ахшарумова, подъ заглавіемъ: „Война и Миръ“, сочиненіе гр. Толстого, томъ V.

ду, трудно даже представить себя, чтобы оно могло окончиться въ скоромъ времени. Какъ Ахиллесъ, догоняющій черепашку, рассказъ графа Толстого догоняетъ фактическую исторію, и не можетъ ее догнать, потому что послѣдняя движется хотя и гораздо медленнѣе, но за то непрерывно, а рассказъ догоняетъ со скачками, остановки между которыми растутъ въ той же пропорціи, въ какой разстояніе сокращается. Мы, впрочемъ, и не желаемъ конца въ смыслѣ чиста фактическомъ. Напротивъ, мы только того и боимся, чтобы рассказъ не окончился, какъ онъ грозитъ окончиться, безъ всякой нужды, случайно, въ угоду какимъ-нибудь недантическимъ требованіямъ художественной рутинѣ, или за истощеніемъ матеріала, служившаго ему до сихъ поръ основою.

Въ нѣтомъ томѣ индивидуальныя роли знакомыхъ намъ лицъ блѣднѣютъ передъ яркой картиною народныхъ событій, и только одинъ эпизодъ—смерть князя Андрея, своимъ особеннымъ интересомъ, отвлекаетъ на время вниманіе отъ исторической сцены, на которой авторъ изобразилъ намъ Москву, въ эпоху занятія ея непріятелемъ, выѣздъ изъ города русскихъ и, наконецъ, первый шагъ знаменитаго бѣгства французовъ. Передать красоту этихъ картинъ и ихъ глубокую правду какими нибудь другими словами, кромѣ тѣхъ подлинныхъ, которыми ихъ очертилъ художникъ, мы не надѣемся даже и приблизительно; а потому не станемъ напрасно указывать на то, что такъ ясно само собою; постараемся только отмѣтить нѣкоторыя точки опоры для нашей оцѣнки, точки особенно выдающіяся,—и съ этою цѣлю обратимъ вниманіе читатели прежде всего на мастерство, съ которымъ авторъ вывелъ на первомъ планѣ одну изъ крупныхъ фигуръ, знакомыхъ намъ такъ хорошо по предыдущему: толстаго, добродушнаго Пьера. Этотъ Пьеръ является здѣсь личнымъ центромъ, сосредоточивающимъ въ себѣ тысячи яркихъ и разнообразныхъ мотивовъ того впечатлѣнія, какое всѣ эти событія должны были произвести на ихъ очевидца, русскаго, по степени своего развитія, способнаго если не все обсудить, то все перечувствовать. Мало того, самъ Пьеръ, въ этой роли, является намъ съ

такой стороны, которую никакія другія событія не въ состояніи были выяснить. Это рыхлое существо, этотъ изнѣженный баринъ, вывернутый обстоятельствами наизнанку, оказывается простымъ, здоровеннымъ парнемъ, способнымъ бодро переносить нужду, и жить весело въ такомъ положеніи, въ которомъ другой, на мѣстѣ его, совершенно упалъ бы духомъ. Вотъ въ какомъ видѣ мы застали его у французовъ, въ плѣну...

„Одѣяніе Пьера теперь состояло изъ грязной, продранной рубашки, единственного остатка его прежняго платья, солдатскихъ портокъ, завязанныхъ для тепла веревочками на щиколкахъ, по совѣту Каратаева, изъ кафтана и мужицкой шапки. Пьеръ очень измѣнился физически въ это время. Онъ не казался ужъ толстѣе, хотя и имѣлъ все тотъ же видъ крупности и силы, наследственной въ ихъ породѣ. Борода и усы обросли нижнюю часть лица: отростіе, спутанные волосы на головѣ, наполненные вшами, курчавились теперь шапкою. Выраженіе глазъ было твердое, спокойное и оживленно готовое, такое, какого никогда не имѣлъ прежде взглядъ Пьера. Прежняя его распушенность, выражавшаяся и во взглядѣ, замѣнилась теперь энергической, готовой на дѣятельность и отпоръ подобранностью. Ноги его были босыя... Въ разоренной и сожженной Москвѣ, Пьеръ испыталъ почти крайніе предѣлы лишеній, которые можетъ переносить человѣкъ; но, благодаря своему сильному сложенію и здоровью, котораго онъ не сознавалъ до сихъ поръ... онъ переносилъ не только легко, но и радостно свое положеніе. И именно въ это самое время онъ получилъ то спокойствіе и довольство собой, къ которымъ онъ тщетно стремился прежде. Онъ долго въ своей жизни искалъ съ разныхъ сторонъ этого успокоенія, согласія съ самимъ собой, того, что такъ поразило его въ солдатахъ, въ Бородинскомъ сраженіи, — онъ искалъ этого въ филантропіи, въ масонствѣ, въ разсѣяніи сибирской жизни, въ винѣ, въ героическомъ подвигѣ самопожертвованія, въ романтической любви къ Наташѣ; онъ искалъ этого путемъ мысли, и всѣ эти исканія и попытки, всѣ обманули его. И онъ, самъ не ду-

мая о томъ, получилъ это успокоеніе и это согласіе съ самимъ собою только черезъ ужасъ смерти, черезъ лишеніе и черезъ то, что онъ понималъ въ Каратаевъ. Тѣ страшныя минуты, которыя онъ пережилъ... какъ будто смыли навсегда изъ его воображенія и воспоминанія тревожныя мысли и чувства, прежде казавшіяся ему важными. Ему не приходило и мысли ни о Россіи, ни о войнѣ, ни о политикѣ, ни о Наполеонѣ. Ему очевидно было, что все это не касалось его, что онъ не призванъ былъ и потому не могъ судить обо всемъ этомъ. „Россія да лѣту — союзу нѣту“, повторялъ онъ слова Каратаева, и эти слова странно успокаивали его... Но кто это Каратаевъ, на котораго авторъ указываетъ намъ такъ часто, какъ на ключъ къ уразумѣнію нравственнаго переворота, совершившагося въ Пьерѣ? Каратаевъ — плѣнный русскій солдатъ, товарищъ Пьера по заключенію, и авторъ ему посвятилъ всего десять страницъ; но этого было достаточно, чтобъ воспроизвести одинъ изъ самыхъ живыхъ и своеобразныхъ типовъ простого, русскаго человека, по сжатости, правдѣ его очертаній и по отсутствію всякой карикатуры едва ли имѣющій что-нибудь равное въ нашей литературѣ. Припомнимъ нѣкоторые черты его... „Платону Каратаеву должно было быть за 50 лѣтъ, судя по его рассказамъ о походахъ, въ которыхъ онъ участвовалъ давнишнимъ солдатомъ. Онъ самъ не зналъ и никакъ не могъ опредѣлить, сколько ему было лѣтъ; но зубы его, ярко бѣлые и крѣпкіе, которые всѣ выказывались своими двумя полукругами, когда онъ смѣялся (что онъ часто дѣлалъ), были всѣ хороши и цѣлы; ни одного сѣдого волоса не было въ его бородѣ и волосахъ, и все тѣло его имѣло видъ гибкости и въ особенности твердости и споспѣлости... Лицо его, несмотря на мелкія, круглыя морщинки, имѣло выраженіе невинности и юности; голосъ у него былъ пріятный и нѣжный. Но главная особенность его рѣчи состояла въ непосредственности и спорости. Онъ, видимо, никогда не думалъ о томъ, что онъ скажетъ и что онъ скажетъ, и отъ этого въ быстротѣ и вѣрности его интонаціи была особенная, неотразимая убѣдительность... Поговорки, которыя на-

попаяли его рѣчь, не были тѣ, большею частью неприличные и бойкія поговорки, которыя говорятъ солдаты, но это были тѣ народныя изреченія, которыя кажутся столь незначительными взятыя отдѣльно, и которыя получаютъ вдругъ значеніе глубокой мудрости, когда они сказаны кстатіи... Часто онъ говорилъ совершенно противоположное тому, что онъ говорилъ прежде, но и то и другое было справедливо. Онъ любилъ говорить и говорилъ хорошо... но главная прелесть его разсказовъ состояла въ томъ, что въ его рѣчи событія самыя простыя, иногда тѣ самыя, которыя, не замѣчая ихъ, видѣлъ Пьеръ, получали характеръ торжественнаго благообразія... Привязанностей, дружбы, любви, какъ понималъ ихъ Пьеръ, Каратаевъ не имѣлъ никакихъ; но онъ любилъ и любовно жилъ со всѣмъ, съ чѣмъ его сводили жизнь, и въ особенности съ человѣкомъ, не съ извѣстнымъ какимъ-нибудь человѣкомъ, а съ тѣми людьми, которые были передъ его глазами. Онъ любилъ свою шавку, любилъ товарищей, французовъ, любилъ Пьера, который былъ его сосѣдомъ; но Пьеръ чувствовалъ, что Каратаевъ, несмотря на всю свою ласковую кѣжность къ нему, ни на минуту не огорчился бы разлукой съ нимъ... Платонъ Каратаевъ былъ для всѣхъ остальныхъ плѣнныхъ самымъ обыкновеннымъ солдатомъ... Но для Пьера, какимъ онъ представился въ первую ночь, непостижимымъ, круглымъ и вѣчнымъ олицетвореніемъ духа простоты и правды, такимъ онъ и остался навсегда... Онъ не понималъ и не могъ понимать значенія словъ отдѣльно взятыхъ изъ рѣчи. Каждое слово его и каждое дѣйствіе было проявленіемъ неизвѣстной ему дѣятельности, которая была его жизнь. По жизнь его, какъ онъ самъ смотрѣлъ на нее, не имѣла смысла какъ отдѣльная жизнь. Она имѣла смыслъ только какъ частица цѣлаго, которое онъ постоянно чувствовалъ... Черты эти, кромѣ художественной ихъ красоты, имѣютъ для насъ еще особенное значеніе, потому что онѣ являются Пьеру проблескомъ идеала, смутно мелькавшаго порождъ нимъ въ послѣднее время и вдругъ представшаго во плоти. И мы, конечно, не ошибемся, сказавъ, что идеаль этотъ не да-

ромъ тутъ,—что онъ въ тѣсной связи съ философическимъ взглядомъ автора на событія отечественной войны. Чтобы понять эту связь, мы переходимъ отъ Каратаева прямо къ тѣмъ двумъ страницамъ, гдѣ авторъ намъ объясняетъ: кто были истинные, полезные дѣятели этой эпохи... „Разсказы“, говоритъ онъ,—описанія того времени всё, безъ исключенія, говорятъ только о самопожертвованіи, любви къ обществу, отчаяньи, горѣ и геройствѣ русскихъ. Въ дѣйствительности же это такъ не было... Большая часть людей того времени не обращали никакого вниманія на общій ходъ дѣлъ, и руководились только личными интересами настоящаго. И эти-то люди были самыми полезными дѣятелями того времени... Тѣ же, которые пытались понять общій ходъ дѣлъ и съ самопожертвованіемъ и геройствомъ хотѣли участвовать въ немъ, были самые бесполезные члены общества... Въ историческихъ событіяхъ очевидно всего запрещеніе вкушенія плода древа познанія. Только одна безсознательная дѣятельность приноситъ плоды, и человекъ, играющій роль въ историческомъ событіи, никогда не понимаетъ его значенія. Ежели онъ пытается понять его, онъ поражается непродуктивностью“... Какъ жаль, что авторъ здѣсь не привелъ въ примѣръ какое-нибудь пзвѣстное имя, на примѣръ Вашингтона, или хотъ Бисмарка, или Кавура!.. Но дѣло не въ этомъ...

Съ подобными данными, мы имѣемъ уже возможность дополнить то, что самъ авторъ нашелъ неудобнымъ или излишнимъ. Мы попытаемся приложить теорію, которую онъ предпослалъ V-му тому, къ тому, по поводу чего она, очевидно, высказана,—къ исторической критикѣ событій, имъ помѣщаемыхъ.—Та безконечно малая единица для наблюденія, которую графъ Толстой называетъ дифференціаломъ исторіи и которую онъ находитъ въ однородныхъ влеченіяхъ массы людей, является намъ теперь уже не голымъ абстрактомъ. Мы уже знаемъ нѣчто о томъ, какого рода были эти влеченія въ русскихъ людяхъ, игравшихъ полезную роль въ событіяхъ отечественной войны; — знаемъ, по утвержденію графа Толстого, что они,—эти влеченія,—были безсозна-

тельными, т. е. что люди эти не понимали значенія совершившагося и не должны были понимать, не обращали никакого вниманія на общій ходъ дѣла, и не должны были обратить, чтобы быть полезными историческими дѣятелями. Мало того, мы видимъ передъ собою живою, мастерски воплощенный типъ одного изъ такихъ людей, въ образѣ Каратаева, каждое слово и дѣйствіе котораго было проявленіемъ неизвѣстной ему дѣятельности; въ глазахъ котораго все было ладно, все получало характеръ какого-то торжественнаго благообразія; который не имѣлъ никакихъ особыхъ привязанностей, а любилъ всѣхъ и все, что окружало его, до тѣхъ поръ пока окружало, и уживался со всѣми людьми, которые были передъ его глазами, съ русскими и французами... Какое богатство данныхъ!... Но если, сообразивъ и проработавъ всѣ эти данныя, мы спросимъ себя: какого же рода были влеченія, которыми дѣлали Каратаевыхъ историческими дѣятелями въ минуту отечественной войны; — то мы будемъ не мало затруднены... Любовь къ свободѣ? Къ отечеству? Неправисть къ непріятелю?.. Вовсе нѣтъ. Чтобы быть движиму этими чувствами, надо было хоть сколько-нибудь понимать значеніе совершившагося; а по мнѣнію графа Толстого, не только фактъ подобнаго пониманія (едва ли возможный безъ интегральнаго вычисленія), а даже попытка понять поражаетъ уже людей безплодіемъ. И тѣмъ менѣе это идетъ къ Каратаевымъ, каждое слово которыхъ и дѣйствіе суть проявленіе неизвѣстной имъ дѣятельности, которая есть ихъ жизнь... Но, говоритъ авторъ, его жизнь, какъ онъ самъ смотрѣлъ на нее, не имѣла смысла какъ жизнь отдѣльная. Она имѣла смыслъ только какъ частица цѣлаго, которое онъ постоянно чувствовалъ... Какое же это было цѣлое? Но отечество; потому что отечество есть обобщеніе, есть идея сознательная, да о немъ и не упоминается въ отношеніи къ Каратаеву. Нѣтъ, это была та случайная и ближайшая обстановка, съ которою онъ успѣлъ сжиться, и которую онъ полюбилъ. Въ родной деревушкѣ — это была семья и кругъ земляковъ; — въ солдатскомъ быту, — вѣроятно, свой полкъ или, еще вѣроят-

нѣе,—своя рота;—въ балаганѣ, гдѣ онъ содержался нѣдѣльнѣе,—это была его шавка, товарищи, Пьеръ и французы. И это-то чувство единства, цѣлости съ привычной своей обстановкой, чувство невольной и безотчетной привязанности къ ней, на обратной своей сторонѣ, выразившееся столь же бессознательнымъ отвращеніемъ отъ всякой другой, чужой, незнакомой ему обстановки, по мнѣнію графа Толстого, высказанному довольно опредѣлительно, было именно то однородное влеченіе массы русскаго народа, которое повлекло за собой самые плодотворные результаты... (Они уѣзжали потому, —(говоритъ онъ въ V главѣ V тома о жителяхъ, остававшихся Москву), — „что для русскихъ людей не могло быть вопроса: хорошо или дурно будетъ подъ управленіемъ французовъ въ Москвѣ? Подъ управленіемъ французовъ нельзя было быть;—это было хуже всего“...

До сихъ поръ все гладко; но тутъ начинается рядъ самыхъ странныхъ противорѣчій. Во-первыхъ, авторъ намъ говоритъ, что уходили одни только богатѣйшіе элементы населенія; а бѣднѣйшіе оставались. Такіе люди, какъ Каратаевъ, стало быть, не находили, что подъ управленіемъ французовъ нельзя было быть? Конечно, не находили. Каратаевъ именно отличался своею способностью быстро ужиться о всякою новою обстановкою, и вдругъ почувствовать себя частицею, и что это не было въ немъ индивидуальной ертою характера, то въ этомъ насъ убѣждаетъ самъ графъ Толстой, описывая въ четвертомъ томѣ событіе, происшедшее въ имѣніи князя Болконскаго, въ то время, когда княжна Марья сѣвшила выѣхать изъ него. Ея мужички, въ общемъ счетѣ такіе же Каратаевы, по завѣренію автора, вовсе не чувствовали влеченія бросать дома и уходить отъ снріятеля, подъ управленіемъ котораго нельзя было быть. Напротивъ, имъ это казалось возможно, и такъ возможно, что они даже бунтовали. Испо—стало быть, что любовное влеченіе Каратаева къ той обстановкѣ жизни, которая непосредственно его окружала, — было вовсе не то однородное влеченіе массы русскихъ людей, которое играло такую важную роль въ событіяхъ отечественной войны.

Последнее увлекало только однихъ зажиточныхъ, а Картаевы безъ какого нибудь особеннаго толчка извинѣ, по собственному влеченію не трогались съ мѣста. Мы спрашиваемъ: да какую же роль играли они, эти люди безснотные и потому наиболѣе плодотворные дѣятели исторіи? На это авторъ намъ отвѣчаетъ въ V главѣ, I части V тома, что они жили и истребляли оставленное имущество. Онъ говоритъ (стр. 19)... утѣшающіе *„не думали величественномъ значеніи этой громадной, богатой столицы оставленной жителями и очевидно сожженной (не разрушить, не сжечь пустые дома не въ духъ русскаго народа)“*. Но въ XXVI главѣ той же части, авторъ успѣлъ уже за бытъ то, что онъ утверждалъ такъ положительно въ V-ой. Другой мотивъ его философіи потребовалъ и другихъ доказательствъ, и вотъ мы читаемъ уже, что народный духъ былъ ни при чемъ въ пожарѣ Москвы, которая никогда не была сожжена, а сгорѣла, какъ долженъ сгорѣть всякій деревянный городъ, оставленный жителями. Онъ говоритъ (стр. 120.): *„Москва должна была сгорѣть влѣдствіе того, что изъ нея выѣхали жители и также неизбежно, какъ должна загорѣться куча стружекъ, на которую впродолженіи нѣсколькихъ дней будутъ сыпаться искры огня. Деревянный городъ, въ которомъ при жителяхъ, владѣльцахъ домовъ и при полиціи, бываютъ почти каждый день пожары, не можетъ не сгорѣть, когда въ немъ нѣтъ жителей, а живутъ войска, куряція трубы, раскладывающія костры на Сенатской площади, изъ сенатскихъ стульевъ, и варяція себѣ чай два раза въ день... Москва загорѣлась отъ трубокъ, отъ кухонь, отъ костровъ, отъ неряшливости неприятельскихъ солдатъ, жителей, пехоты домовъ. Кжесл и были поджоги (что весьма сомнительно, потому что поджигать никому не было никакой причины, а во всякомъ случаѣ хлопотливо и опасно), то поджоги нельзя приписать за причину, такъ какъ и безъ поджоговъ было бы тоже самое... Какъ ни лестно было французамъ обвинять зѣвство Ростопчина и русскимъ обвинять злодѣя Бонапарта или потому влѣдствіе героическій фактъ въ руки своего на-*

рода, нельзя не видеть, что такой непосредственной причины пожара не могло быть, потому что Москва должна была сгорѣть, какъ должна сгорѣть каждая деревня, фабрика, всякій домъ, изъ котораго выйдутъ хозяева, и въ который пустятъ хозяйничать и варить себѣ кашу чужихъ людей"... Изъ этого видно, какую роль играютъ негѣдо факты у г. Толстого. Онъ добываетъ ихъ а priori, путемъ логическихъ выводовъ изъ своихъ основныхъ положеній. И это не шутка. Попробуемъ разсуждать тѣмъ же путемъ; мы сами необходимо придемъ къ тому же. Вотъ, напримѣръ:

Первая посылка:—все, что дѣйствительно нужно сдѣлать для достиженія историческихъ результатовъ, дѣлается людьми, не понимающими историческаго значенія своихъ поступковъ.

Вторая посылка:—Москву нужно было сжечь для достиженія и т. д.

Выводъ: Слѣдовательно, — Москва была сожжена оставшимися въ ней русскими, которые не понимали... и проч.

Но стоитъ переменить вторую посылку, и выводъ изменится.

Напримѣръ: *Первая посылка:*—историческія событія не совершаются умышленно и сознательно.

Вторая посылка: Поджогъ есть дѣло умышленное и проч.

Выводъ: — Слѣдовательно:—Москва не была сожжена, а горѣла и проч.

Методъ этотъ есть собственно *дедуктивный*; но въ примѣненіи къ историческому анализу, его вѣрнѣе слѣдовало бы назвать *методомъ предопредѣленія*, такъ какъ искомый фактъ въ немъ опредѣленъ заранѣе извѣстной предшествующей ему необходимостью, въ силу которой онъ долженъ неизбежно совершиться. Примѣненіе этого метода требуетъ разумѣется осторожности. Нужно стараться, чтобъ выводы не противорѣчили прямо другъ другу.

Но онъ представляетъ большія удобства, потому что путемъ его можно добыть пронасть фактовъ, неопровержимыхъ, и потомъ этими самими фактами доказать обратно законы, на основаніи которыхъ они должны были совер-

шиться. Орудіе очень острое; но графъ Толстой восполнялся имъ немного неосмотрительно, и оттого у него оказалось столько противорѣчій.

Сообразивъ всѣ эти противорѣчія, мы могли бы логически придти къ заключенію, прямо противоположному съ тѣмъ, которое онъ дѣлаетъ, и сказать, что только одни сознательные участники въ событіяхъ отечественной войны были полезными дѣятелями этой эпохи; а та масса, которая направляема была туда и сюда влеченіями безсознательными, а потому очень перѣдко глупыми, играла роль вѣса, хотя и громаднаго но совершенно пассивнаго, вѣса, который склонился на сторону національной цѣли только случайнымъ стеченіемъ обстоятельствъ, да рядомъ толчковъ, данныхъ ему сознательно его осмысленными руководителями, понимавшими хорошо значеніе историческаго событія. Мы повторяемъ, легко было бы придти къ такому выводу на основаніи тѣхъ самыхъ данныхъ, которыя сообщаетъ намъ графъ Толстой—но мы этого не въ правѣ сдѣлать, потому что находимъ его столь же одностороннимъ, какъ и будады автора, который самъ, кажется, не давалъ себѣ яснаго отчета, что собственно онъ желалъ доказать, а нападалъ по очереди на всякое положительное возрѣніе, съ единственной цѣлью убѣдить его сторонниковъ, что всѣ они одинаково далеки отъ истины, ключъ отъ которой въ его рукахъ. Но,—ключа этого онъ не далъ, а далъ рядъ историческихъ и философическихъ антиномій, предоставивъ своимъ читателямъ выпутываться изъ нихъ, какъ знаютъ... Что-жъ дѣлать? Попробуемъ какънибудь выпутаться.

По нашему искреннему и глубокому убѣжденію, дѣятелей отечественной войны нельзя дѣлить на сознательныхъ и безсознательныхъ. Громадное большинство ихъ сознавало широкій народный смыслъ событія, и всѣ были одушевлены сознательнымъ, однороднымъ стремленіемъ дать отпоръ врагу. Но масса неразвитыхъ людей хорошо понимала, что она не можетъ сама судить о томъ, что именно нужно дѣлать съ этою цѣлю, а потому громадное большинство ея скромно ввѣряло свою судьбу тѣмъ, которые, по ея убѣжденію, по-

ставлены были надъ нею выше руководителями. Такіе люди какъ Каратаевъ, при всемъ простодушіи ихъ, сознавали отлично, что передъ ними ихъ врагъ, чужеземецъ, за ними родина, со всѣмъ, что имъ мило и дорого; а надъ ними люди, гораздо болѣе ихъ свѣдущіе и опытные, люди способные и призванные распоряжаться ихъ дѣйствіями. И въ ра въ способность этихъ призванниковъ, въ то что они съумѣютъ, найдутся, не выдадутъ, выручатъ,—была не слѣпое влеченіе роковаго инстинкта, а истинно, —человѣческая и глубоко осмысленная дань уваженія къ силѣ разумной. И одна только эта въ ра, снимая съ нихъ бремя личной отвѣтственности за избранный путь, могла имъ дать тотъ глубокій, внутренній миръ души и тотъ стоицизмъ, передъ лицомъ самыхъ грозныхъ событій, которыя такъ поражаютъ насъ въ Каратаевыхъ... Выравъ ли мы сказать, что все это вздоръ, что никакого довѣрія къ избраннымъ, въ простыхъ русскихъ людяхъ не было, что причины ихъ твердости, долготерпѣнія и безстрашія не имѣли въ себѣ ничего осмысленнаго, разумнаго; что человѣческія идеи свободы и родины были имъ незнакомы, что имъ не было дѣла, какъ Пьеру, во время его заключенія въ балаганъ, ни до Россіи ни до войны; что ими руководили одни только мелкіе интересы текущей минуты; что они не чувствовали въ себѣ лица и достоинства человѣческаго, а чувствовали себя только частицею той непосредственной обстановки, въ которую ихъ занесла судьба?.. Нѣтъ, мы не въ правѣ такъ оскорбить нашъ русскій, простой народъ. Но мы еще меньше выравъ сказать вслѣдъ за графомъ Толстымъ, что хотя масса простого народа и довѣряла своимъ предводителямъ, но что такое довѣріе было вполне незаслужено, потому что эти послѣдніе, дѣятели сознательные—они, *„нытавшіеся понятъ общій ходъ дѣла и съ самопожертвованіемъ и геройствомъ стремившіеся принять въ немъ участіе, были самые бесполезные члены общества“*. Конечно, они ошибались, и многіе изъ ихъ дѣйствій не достигали цѣли, иногда даже вредили ей, но сказать, что они ошибались кругомъ и что всѣ ихъ стремленія остались безплодны не по случайнымъ

причинамъ, а по закону исторіи, не значитъ ли это осудить безусловно науку и опытъ, и все европейское просвѣщеніе, да не только одно европейское, а вмѣстѣ и азіатское? Не значитъ это сравнить какъ въ военномъ, такъ и въ другихъ отношеніяхъ, орду дикарей съ самымъ высоко-развитымъ народомъ? Къ чему, въ самомъ дѣлѣ, развитіе и наука, если попытка понять общій ходъ дѣла поражаетъ людей безплодіемъ? Къ чему тутъ Кутузовъ и проч., если нужны одни Каратаены? Чтобы управиться съ непріятелемъ, совершенно достаточно было массы убогихъ, безнечныхъ, темныхъ людей, взрослыхъ младенцевъ, способныхъ ужиться вездѣ и со всѣми, говорящихъ пословицами, расцѣвляющихъ нѣсни, смысла которыхъ они не понимаютъ, и шьющихъ рубахи своимъ палачамъ!.. Дикость подобнаго вывода рѣжетъ глаза, и мы должны ихъ закрыть, чтобы неотвернуться съ ужасомъ отъ теоріи графа Толстого... Кого онъ надѣется убѣдить?.. Кому неизвѣстно, что значитъ масса, неосвѣщенная никакою осмысленною, сознательною идеей, руководимая только однимъ слѣпымъ, роевымъ инстинктомъ? Кому неизвѣстны плодотворные ея подвиги при самозванцахъ при Стенькѣ, при Пугачевѣ? И развѣ мы не видали подобныя массы, несмотря на всю силу свою, задавленные и уживающіеся по цѣлымъ десяткамъ вѣковъ подъ игомъ, домашнимъ или чужеземнымъ?..

Нѣтъ, мы не вѣримъ графу Толстому. Мы не вѣримъ, чтобъ только одни безсознательныя влеченія темныхъ людей, эти неизмѣримо-малыя единицы движенія, эти дифференціалы, какъ онъ называетъ ихъ, имѣли въ исторіи какой нибудь смыслъ. Конечно такіе историкки, которые, говоря словами его, „излагаютъ намъ дѣянія и рѣчи нѣсколькихъ десятковъ людей, въ одномъ изъ изданій города Парижа, называя эти дѣянія и рѣчи словомъ революція, потомъ даютъ подробную біографію Наполеона и нѣкотрыхъ сочувственныхъ и враждебныхъ ему лицъ, рассказываютъ о вліяніи однихъ изъ этихъ людей на другія, и говорятъ: вотъ отчего произошло это движеніе и вотъ законы его...“ такіе историкки, безъ сомнѣнія, поступаютъ глупо. Но гдѣ же авторъ

нашелъ такихъ историковъ?... Въ такомъ тупоуміи нельзя добросовѣстно обвинить даже и Пьера, котораго онъ такъ осмѣиваетъ. Даже и Пьеръ понималъ, что смотрѣть на представителей извѣстной эпохи или движенія, какъ на людей полновластно распоряжающихся событіями, крайне нецѣлесообразно, что и заставило его между прочимъ объяснить дѣйствія Наполеона и главныхъ актеровъ французской революціи вѣншиною силою обстоятельствъ, ихъ увлекавшихъ. Графъ Толстой совершенно правъ, требуя, чтобы анализъ исторіи не останавливался на сочетаніяхъ уже готовыхъ, а доходилъ до послѣднихъ своихъ предѣловъ, т. е. до безконечно-малыхъ; но онъ ошибается крѣпко, если онъ думаетъ, что интеграція, т. е. объединеніе этихъ дифференціаловъ, есть нечто такое, о чемъ никому, кромѣ двухъ-трехъ философовъ, вродѣ Бока, до сихъ поръ не приходило и въ голову. Объединеніе это не есть искусство, доселѣ еще незнакомое, а есть простой историческій фактъ, самый первый, самый простой и осязательный фактъ, съ котораго начинается историческая очевидность. Сходство и совокупность отдѣльныхъ моментовъ движенія являются намъ въ исторіи на каждомъ шагѣ, въ безконечной градаціи тѣхъ очевидныхъ и осязательныхъ единицъ, тѣхъ степеней естественнаго объединенія—которыя онъ почему-то счелъ себя вправе назвать произвольными. Все, что имѣло отдѣльное имя въ памяти націи или рода людскаго, каждый моментъ, выделяющійся изъ ряда другихъ какою-нибудь замѣтной особенностью, каждая личность, выступающая впередъ,—все это представители того естественнаго объединенія, которое вовсе не есть результатъ нашего произвола или искусства, а неизбежный итогъ процесса, совершающагося фактически въ жизни народовъ и отражающагося сознательно въ пониманіи современниковъ и потомства. Но графъ Толстой не хочетъ ничего знать о представительномъ смыслѣ историческихъ лицъ и событій. Онъ полагаетъ, что такое лицо, напримѣръ, какъ Висмаркъ, можетъ быть понято только, или очевидно невярно, какъ полный хозяинъ и главный двигатель переворота совершившагося подъ его предвод-

тельствомъ, или вѣрно, какъ безсознательный рабъ, простой инструментъ событій и силъ, выдвинувшихъ его впередъ, событій и силъ, къ которымъ личный характеръ его и геній не имѣли никакого другого, болѣе тѣснаго отношенія, чѣмъ отношенія стрѣлки на циферблатѣ, указывающей тотъ часъ, когда начинается благовѣсть, къ этому благовѣсту. Но графъ Толстой забываетъ, что голова такого дѣятеля, какъ Бисмаркъ и его политическій путь, были именно тотъ перекрестокъ, въ которомъ произошла интеграція самыхъ разнообразныхъ силъ и влеченій, въ общемъ итогѣ опредѣлившихъ событiе. Мало того, итогъ этотъ былъ сведенъ въ головѣ предводителя идеально, прежде чѣмъ онъ осуществился въ жизни народовъ фактически. Онъ интегрировалъ абстрактно то, что вокругъ него интегрировалось конкретно, и пришелъ къ выводу мысленному прежде, чѣмъ жизнь пришла къ итогу фактическому. Стало быть, мы имѣемъ право считать его не куклою, выдвинутою впередъ, какъ кукушка въ стѣнныхъ часахъ, сознательнымъ представителемъ событiя, которое связано въ исторiи Европы съ его именемъ... И вслѣдъ затѣмъ, само событiе представляется намъ не произвольно выдѣленнымъ кускомъ изъ непрерывной нити движенiя, а узломъ захватывающимъ въ себя несчетное множество нитей, которыя сходятся въ одинъ пунктъ съ разныхъ сторонъ, переплетаются въ немъ и расходятся снова во всевозможныя стороны. Это и есть интегралъ естественнаго объединенiя, съ его объективной фактической стороны, являющийся намъ въ образѣ историческаго событiя, а живое лицо, человекъ, стоящiй въ центрѣ событiя и интегрирующiй въ себѣ абстрактно его разностороннiе элементы, является намъ представителемъ субъективной личной его стороны.

Но графъ Толстой не считалъ за нужное говорить о такихъ представителяхъ. Онъ нашелъ гораздо удобнѣе взять въ Кайданови или Смарагова свое представление о какихъ-то царяхъ, министрахъ и генералахъ, съ именемъ которыхъ въ головѣ школьника, повторяющаго урокъ, не связано ничего, кромѣ какого-нибудь голословнаго утвер-

идея, что это былъ мужъ твердый, неустрашенный, великодушный и проч.... Короче, онъ самъ ставитъ на мѣсто живыхъ людей куклы, и потомъ обращаясь къ читателю, говоритъ: да посмотрите же хорошенько, — вѣдь, это не бо-го какъ кукла! Можетъ ли же она имѣть какую-нибудь живую связь съ историческими событіями?... Такой же пріемъ мы замѣчаемъ и въ подстановкѣ единственныхъ причинъ, или причинной очереди на мѣсто той многосторонней, естественной связи событій между собою, путемъ которой исторія старается выяснитъ конкретную единицу историческаго движенія. Авторъ воображаетъ себѣ какихъ-то самыхъ же мы вымышленныхъ педантовъ, которые будто бы рѣжутъ исторію безъ всякаго смысла на произвольные лоскутки, и говорятъ: вотъ это событіе случилось немедленно передъ какимъ-то другимъ, стало быть, оно очевидно причина того. спрашивается: въ какомъ учебникѣ вычитанъ этотъ пріемъ, зачѣмъ приписывать такіа неѣмкости какому бы то ни было исторіографу, даже и мнимому? какой же ребенокъ въ состояніи нынче понять, что *post hoc non propter hoc*; и требуетъ ли подобная очевидность такихъ старательныхъ доказательствъ, какія авторъ употребляетъ въ изло для убѣжденія мнимыхъ своихъ оппонентовъ?... А что касается до послѣдней причины, или причины причинъ, то ни кто-нибудь въ наше время и трогать еще усилія на изысканіе этого *regretum mobile*, такъ развѣ одинъ графъ Мстой, который въ IV томѣ очень серьезно доказывалъ, что все изумительное въ нашествіи двенадцати языкъ статья ясно, если принять, что событіе это было *предвѣчно предѣлено*. Въ V томѣ однако этотъ пріемъ почему-то таинственъ, и на мѣстѣ *предвѣчнаго опредѣленія* мы съ удивленіемъ видимъ *законы исторіи*, эти *ria desideria* Бокля!... то-жъ это за метаморфоза? спрашиваемъ мы себя. И не-вели авторъ воображаетъ, что это одно и то же? И если, то какимъ образомъ все можетъ стать ясно, вслѣдствіе истой ссылки на будущіе успѣхи науки такимъ путемъ, которымъ и конь еще не валялся?... „Никто“, говоритъ торъ, „не можетъ сказать—насколько дано человѣку до-

стигнуть этимъ путемъ пониманія законовъ исторіи“... Не если не можетъ сказать, то не проще ли было остаться при старомъ, потому что такая формула, какъ *предвѣстное опредѣленіе*, при всей своей жидкости, можетъ имѣть хотя какой-нибудь смыслъ. Мы еще можемъ предполагать, что это не просто фраза, что авторъ хотѣлъ этимъ высказать свою вѣру въ промыселъ; хотѣлъ намекнуть, можетъ быть, что нашествіе двенадцати языкъ и его исходы были нужны въ виду какой-нибудь благой цѣли. Такую вѣру, даже и не раздѣляя ее, можно понять, потому что она выражается ясно и положительно. Но сказать, какъ онъ говоритъ теперь въ объясненіе прежней формулы, что нашествіе совершилось по законамъ историческаго движенія, для насъ неизвѣстнымъ, это значить рѣшительно ничего не сказать, потому что, конечно, наперекоръ законамъ историческаго движенія ничего совершиться не можетъ, иначе законъ былъ бы не законъ. Но затѣмъ, то или другое совершается по историческому закону, для послѣдняго это все равно: до такой степени все равно, что сегодня можетъ случиться одно, а завтра совсѣмъ другое, прямо противоположное; сегодня одинъ народъ защищался плохо, и онъ завоеванъ, порабощенъ; завтра другой далъ сильный отпоръ врагу, и остался свободенъ. Оба событія совершенно естественны, оба произошли по законамъ, опредѣляющимъ извѣстный исходъ, при извѣстныхъ условіяхъ; а между тѣмъ весьма позволительно усумниться, чтобы *оба* они были нужны въ виду какой-нибудь благой цѣли, и съ этою цѣлію предназначены, потому что благая цѣль, несомѣстная съ благомъ людей, есть идея весьма неудобопонятная. Лучше бы было, конечно, не трогать этого мистическаго вопроса, но разъ затронувъ его, разъ высказавъ вѣру въ *предопредѣленіе*, слѣдовало уже объяснить просто и искренно, какъ авторъ самъ это понимаетъ? Въмѣсто того, онъ прочелъ диссортацію о приложеніи математическаго анализа къ исторіи, и въ результатъ покрылъ окончательнымъ мракомъ то, что онъ взялся намъ объяснить. Не правы ли были мы въ нашей догадкѣ, что вѣра графа Толстого не есть вѣра сплош-

няя и положительная, а не болѣе какъ итогъ несчетнаго множества сомнѣній, недоумѣній и отрицаній?... Онъ не можетъ намъ высказать ясно и положительно свои убѣжденія, потому что у него положительныхъ убѣжденій нѣтъ, а на мѣстѣ ихъ мы видимъ фантазмагорію мысли, создающую призраки, неуловимые и неустойчивые... Мы видѣли эти призраки въ образѣ историческихъ парадоксовъ и видѣли, въ какія невольныя противорѣчія авторъ впутывается, стараясь ихъ доказать. Взглянемъ на нихъ еще и въ другой сферѣ его разсказа.

Изъ лицъ, доминирующихъ въ *Войнѣ и Мирѣ*, огромное большинство живетъ зря, не патуживаясь, — живетъ какъ живется, и только два мудреца отличаются въ этомъ смыслѣ отъ всѣхъ другихъ: — это Пьеръ и Андрей. Первый трудился усордно надъ передѣлкой и выработкой себя, увлекался энциклопедистами и массонствомъ, и, наконецъ, убѣдился, что всѣ эти усилія были напрасны, что никакого развитія мысли и сознательнаго, отчетливаго труда надъ собой неужно, потому что все это не приближаетъ, а удаляетъ насъ отъ того спокойствія духа и согласія съ самимъ собой, которыя онъ нашелъ въ простомъ русскомъ солдатѣ, никогда ничему не учившемся и не знающемъ ничего, кромѣ нѣсколькихъ пѣсень да поговорокъ. Не быть привязаннымъ ни къ чему въ особенности, а любить безъ различія все и всѣхъ, кто попадаетъ на глаза, не чувствовать въ себѣ личности, а чувствовать себя частью той обстановки, въ которую ставитъ насъ случай и обстоятельства, вотъ мудрость, которой его научилъ примѣръ Каратаева... И счастливымъ онъ былъ, что онъ постигъ эту мудрость по время, потому что другимъ она не дается всю жизнь. Князю Андрею, на примѣръ, нѣчто подобное открылось только въ предсмертныя часы, а между тѣмъ этотъ послѣдній трудился едва ли не болѣе Пьера. Онъ вѣчно былъ въ напряженіи, вѣчно стремился къ чему-то, чего-то искалъ и добивался, но замѣчая, что это нѣчто искомое, эта цѣль постоянно мѣняется, и никогда не достигается. Одна только смерть, или вѣрнѣе сказать осязательное присутствіе и близость

смерти открыли ему глаза. Лицомъ къ лицу съ этой грозной гостьею, Андрей вдругъ понялъ что-то другое, чего не могутъ, какъ это ему казалось, понять живые, и что поглотило его всего. Онъ понялъ, что всѣ эти чувства, которыми люди такъ дорожатъ (любовь къ роднѣ, къ близкимъ и милымъ людямъ) — и всѣ эти мысли, которыя кажутся намъ такъ важны, что *все это не нужно*; и что тѣ, которые любятъ кого-нибудь или что-нибудь на землѣ горячею человѣческою привязанностію, *живутъ во лжи*. И онъ жилъ во лжи до тѣхъ поръ, пока что-нибудь на землѣ имѣло цѣну въ его глазахъ. Но теперь все, что было ему когда-нибудь дорого, *стало все равно*, и все равно отъ того, что что-то другое, важнѣйшее было ему открыто, *что-то страшно далекое отъ всего живого...* И это важнѣйшее, это далекое на земномъ языкѣ называется *начало вѣчной любви*. Но и это названіе не передаетъ истины; — это есть только имя истины на языкѣ лжи, ибо что такое значить: *вѣчная любовь?*... *Все, всѣхъ любить, всегда жертвовать собой для любви, не значитъ ли это въ сущности никого не любить?*... Совершенно вѣрно, почему князь Андрей думалъ, что этого рода вѣра недоступна живымъ, а можетъ только открыться духовному зрѣнію умирающаго, это немного насъ удивляетъ. Неужели онъ не знаетъ, что еще за 5 вѣковъ до нашей эры, въ Индо-Китаѣ возникло ученіе, уразумѣвшее высшую истину въ такой же *страшной дали отъ всего живого*, въ какой она и ему открылась? И что это ученіе до сихъ поръ имѣетъ больше послѣдователей, чѣмъ христіанство и чѣмъ Исламъ? И что главные догматы его совпадаютъ вполне съ тѣмъ, что онъ понялъ въ предсмертный часъ? Рожденіе, старость, болѣзни, — рядъ неминуемыхъ бѣдствій... Жизнь — тяжкій разладъ и мучительная борьба... Смерть — полное успокоеніе въ лонѣ вѣчной безличности и безстрастія... Тотъ ближе къ истинной цѣли своихъ житейскихъ блужданій, кто живо отрѣшится отъ всякихъ привязанностей, отъ всякихъ надеждъ и стремленій. Идеалъ счастья — вѣчный, невозмутимый покой... Спорить противъ такихъ позрѣній мы не намѣрены; мы только замѣтимъ, что они по-

роносятъ насъ въ нѣдра буддизма, въ Индо-Китай, въ родину заживо умирающихъ національностей, въ царство застоя умственного и политическаго, а потому намъ нѣсколько странно встрѣтить ихъ въ переходномъ человѣкѣ, представителѣ молодого народа, только что выступившаго на путь европейскаго просвѣщенія. Конечно, все это открылось ему только въ предсмертный часъ, но предсмертный часъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ его пережилъ князь Андрей, есть итогъ цѣлой жизни, и намъ какъ-то дико видѣть, что этотъ итогъ отрицаетъ всю сумму пережитаго, утверждая, что все это была ложь!... Мы видимъ черную точку, зерно разложенія и усадка на самой вершинѣ дорева, въ сердцѣ его цвѣтка, тамъ, гдѣ мы вправѣ бы были искать свѣжую почку надежды на будущее, и мы оглядынаемся со страхомъ кругомъ. Мы ищемъ, мы спрашиваемъ себя: гдѣ же эти задатки молодой жизни, если ихъ нѣтъ и не было въ князѣ Андрѣ? Гдѣ эти люди: надежда Россіи, которые должны были быть на лицо въ эпоху отечественной войны, люди, которые бодро смотрѣли впередъ и видѣли впереди свѣтлое будущее, люди, которые вѣрили въ жизнь и въ истину жизни, потому что ихъ Богъ былъ Богъ живыхъ, а не мертвыхъ?... Но авторъ намъ не дастъ отвѣта. Новыхъ лицъ нѣтъ въ его V томѣ, а на старыхъ надежда плоха. Все тотъ же умственный недоросль графъ Николай Ростовъ да Пьеръ, который и самъ весьма недалекъ отъ буддизма, а тамъ княжна Марья, Наташа, и даже рядъ безконечно-малыхъ... Но подождемъ; повѣсть еще не кончена, и мы не имѣемъ права сказать о ней послѣднее слово, покуда самъ авторъ не скажетъ его.

II. Ахшарумовъ.

* * *

*) Въ ожиданіи скорого выхода въ свѣтъ послѣдняго тома замѣчательнаго романа „Война и Миръ“, графа Л. Н. Толстого--мы хотимъ поговорить по поводу этого лите-

*) „Всеобщая Газета 1869 г., № 45. „Война и Миръ“. Статья „Книжника“.

ратурнаго произведенія. Предъ нашими взорами развивается величественная картина, — начало послѣдняго акта той драмы, которая началась ужасами французской революціи, и кончилась, послѣ пожара Москвы и страшныхъ бѣдствій на русской землѣ, одинокой смертью главнаго ея героя на пустынныхъ утесахъ острова Эльбы и новымъ порабощеніемъ французскаго народа. Тутъ же рядомъ течетъ тихая жизнь отдѣльныхъ личностей въ лонѣ семейномъ и въ условныхъ общественныхъ отношеніяхъ, которую мы видимъ еще и теноръ передъ собою, жизнь того же человека съ его желаніями и нуждами, радостію и горемъ, любовію и ненавистью. Но здѣсь мы видимъ этого человека въ великую эпоху мірового переворота, въ борьбѣ за жизнь свою и своихъ и за свободу любимаго отечества. Какой великій моментъ для того, чтобы освѣтить всѣ стороны человѣческой души, чтобы раскрыть всю тайную ея силу, дремлющую обыкновенно въ тѣни покойнаго *dolce far niente* обыденной жизни.

Такой великій моментъ въ жизни народа, какъ наша отечественная война, глубоко отпечатлѣвается въ сознаніи народномъ, и оживляющее, ободряющее и расшевеливающее вліяніе это замѣтно еще долго послѣ того, когда уже давно простыли кровавые слѣды. Историкъ съ любовью долженъ останавливаться на нихъ, какъ на великихъ точкахъ, мѣстахъ перелома прямой линіи обыкновенной торной дороги и началъ новаго направленія.

Глядя на жизнь народовъ съ узкой точки зрѣнія, кажется, будто ихъ исторіей управляетъ личный произволъ; но если бросить болѣе глубокій взглядъ на всю массу событій, которыя выражаютъ собою проявленіе жизни народовъ, состоящихъ изъ милліоновъ отдѣльныхъ личностей, соединенныхъ въ одно органическое цѣло, то мы увидимъ, что исторіей народа управляетъ не какой-нибудь абсолютный произволъ Людовика XIV, не его куртизанка Помпадуръ и не ея горничная или любовникъ, какъ нѣкоторые не въ шутку утверждали; но высшая сила, предвѣчный, неизмѣнный законъ. Давно уже писались ученія, исто-

рическія сочиненія, но только въ недавнее время пришли къ такому плодотворному міросозерцанію. И мы находимъ, что авторъ нашъ также стоитъ на этой ступени; онъ по-нялъ, усвоилъ и наглядно представилъ на живомъ примѣрѣ это великое ученіе нашего времени. Намъ приходилось слышать странное мнѣніе, будто графъ Толстой прямо заимствовалъ свои философствованія у Бокля. Смѣшно сказать! Развѣ гдѣ либо авторъ говоритъ, что его сужденія объ историческихъ явленіяхъ суть его личныя изобрѣтенія? А откуда Бокль заимствовалъ свои воззрѣнія? заслуга Бокля состоитъ только въ томъ, что онъ одинъ изъ первыхъ ясно и опредѣленно высказалъ тѣ идеи, которыя уже давно, такъ сказать, плавали растворенными въ воздухѣ. Не тотъ справедливо считается изобрѣтателемъ, у кого въ первый разъ мелькнетъ какая-нибудь новая идея въ головѣ, тотъ, кто сумѣетъ родить ее на свѣтъ и выставить ее на дѣлѣ. Положенія Бокля давно уже стали общечеловѣческимъ достояніемъ, и тотъ, кто первый у насъ сумѣлъ въ частномъ примѣрѣ, входя во всѣ подробности мелочной жизни индивидуумовъ, составляющихъ народъ, ясно отчетливо, каждому доступно, способомъ равно удовлетворяющимъ разуму и сердцу изложить эти великія истины, тотъ достоинъ похвалы и славы.

„Движеніе человѣчества, разсуждаетъ Л. Н. Толстой, вытекающая изъ безчисленнаго количества людскихъ произволовъ, совершается непрерывно. Только допустивъ безконечно малую единицу для наблюденія—дифференціалъ исторіи, т. е. однородныя влеченія людей и достигнувъ искусства интегрировать (брать суммы этихъ безконечныхъ), мы можемъ на-браться на постигновеніе законовъ исторіи“. Такъ. Но извѣ изъ этого вытекаетъ то, что для пониманія этого теченія должно раздроблять его на безконечно малыя величины и вводить дифференціалы въ такую область, гдѣ дѣло не замѣрено еще вѣрно, просто положеніемъ аршина?

„Для человѣческаго ума не понятна абсолютная непрерывность движенія. Человѣку становятся понятны законы какого бы то ни было движенія только тогда, когда онъ

разсматриваетъ произвольно-взятыя единицы этого движенія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ изъ этого-то произвольнаго дѣленія непрерывнаго движенія на непрерывныя единицы происходитъ большая часть человѣческихъ движеній“. Дѣйствительно для того, чтобы понять человѣку формы какого либо движенія, ему необходимо раздроблять движеніе на извѣстные моменты. Вообще для того, чтобы понять какое либо явленіе, механизмъ или органъ, первая задача изслѣдователя будетъ состоять въ расчлененіи: только свойствъ частей разъяснить свойство цѣлаго. Если бы историческое движеніе представляло такую простую форму, какъ математическая линія, то, раздробляя часть этой линіи на бесконечно малыя величины, мы могли бы приблизиться къ истинѣ. Но историческое движеніе никакъ нельзя сравнивать съ математической линіей, потому что гдѣ же бы и ей пришлось помѣстить все безконечное количество рядовъ текущихъ разнообразнѣйшихъ явленій? Скорѣе ли бы здѣсь сравненіе съ толстѣйшей линіей, нарисованной мѣломъ на доскѣ: если вы станете раздроблять эту линію на бесконечно малыя величины, то вы получите безконечное число точекъ, разбѣянныхъ безъ всякой правильности по бросьте общій взглядъ на всю эту линію *in toto*, и вѣдь легко замѣтите ея направленіе.

„Извѣстенъ, говоритъ авторъ, такъ называемый софизмъ древнихъ, состоящій въ томъ, что Ахиллесъ никогда не догонитъ впереди идущую черепаху, несмотря на то, что Ахиллесъ идетъ въ десять разъ скорѣе черепахи: какъ только Ахиллесъ пройдетъ пространство, отдѣляющее его отъ черепахи, черепаха пройдетъ впереди его одну десятую этого пространства; Ахиллесъ пройдетъ эту десятую черепаха пройдетъ одну сотую и т. д. до безконечности“. Отчего эта задача казалась неразрѣшимой? Оттого ли, что еще не были открыты дифференціалы, на что такъ будто намекаетъ авторъ? Нѣтъ. Неразрѣшимой она казалась потому, что изъ задачи хитро упущенъ былъ изъ виду одинъ важный факторъ каждаго движенія: время. Если только у софиста, предложившаго такую головоломную шту-

ку, спросишь: во сколько же времени Ахиллесъ пройдетъ одну десятую, а черепаха одну сотую пространства, то задача сразу объяснится. Единственнымъ доказательствомъ того, что Ахиллесъ догонитъ черепаху, будетъ доказательство наглядное и очевидное, точно такое же, какое употребляется въ основныхъ и простѣйшихъ задачахъ геометріи, какъ, напримѣръ, при наложеніи другъ на друга угловъ или треугольниковъ для доказательства ихъ равенства или неравенства. Начертите линію, обозначьте на ней положеніе Ахиллеса и положеніе черепахи, и отмѣйте на этой линіи ту часть пространства, какую пройдетъ каждый изъ нихъ *въ единицу времени*, и задача окажется весьма легкою. Мы раздробляемъ линію на конечныя величины, беремъ какую нибудь крупную единицу времени, и задача разрѣшается безъ всякихъ дифференціаловъ, которые могутъ только запутать весьма простое дѣло. Точно также и въ исторіи. При излишнемъ дробленіи мы имѣли бы безконечное число романовъ, которые вмѣстѣ взятые должны были бы назваться исторіей.

„Для человѣческаго ума недоступна совокупность причинъ явленій“... потому что именно задача историка и будетъ въ томъ, чтобы отличить типическія свойства явленій, составляющихъ причины другихъ явленій, чтобы найти неизмѣнныя законы отношеній между хаосомъ разнообразнѣйшихъ явленій, и уже при ихъ посредствѣ понимать отдѣльное явленіе.

Но почему до сихъ поръ преувеличивалось историками значеніе относительно произвольныхъ дѣйствій какого-нибудь лица и значеніе какихъ нибудь отдѣльныхъ фактовъ? Очевидно, значеніе фактовъ и дѣйствій различно; всѣ они хотя вытекаютъ изъ общаго непрерывнаго теченія дѣла, но мы все-таки съ ясностью можемъ указать на тотъ или другой фактъ, какъ на особенно важный, и дѣйствія Наполеона во всякомъ случаѣ интереснѣе знать, чѣмъ дѣла какого-нибудь солдата.

Способъ писать исторію, какъ онъ существовалъ прежде и еще существуетъ до сихъ поръ, ложенъ не потому,

что описывали особенно подробно дѣйствія одного какого нибудь высокопоставленнаго лица, и забывали про жизнь какого нибудь рядового; но вся ошибка состояла въ томъ, что историки изъ за описанія отдѣльныхъ личностей, ихъ мнѣній и соображеній и изъ-за описанія придворной обстановки, совершенно забывали о жизни цѣлаго народа, которая единственно можетъ составлять предметъ исторіи: ошибка состояла въ томъ, что мемуары придерживались ложнаго близорукаго міросозерцанія.

Различные люди и событія имѣютъ различную важность. Такіе люди, какъ Ростовъ, Николай, Денисовъ, Борисъ Друбецкой и т. д. историку могутъ служить только примѣрами, типами, надъ которыми онъ изучаетъ того важнаго дѣятеля историческихъ событій, котораго мы называемъ массою, публикой, народомъ, различными сословіями. Но личности подобныя Александру I-му, Наполеону, Кутузову, Сперанскому и т. п., историкъ изучаетъ не какъ произвольно выбранные имъ примѣры, но какъ личности, рѣзко выдающіяся изъ массы времени, какъ главныхъ дѣятелей историческихъ событій, достойныхъ во всякомъ случаѣ особеннаго вниманія.

Главная роль великой драмы, разыгранной на сценѣ Европы, въ началѣ нынѣшняго столѣтія, очевидно выпала на долю Наполеона. Авторъ, который не допускаетъ признанія въ исторіи, точно также не можетъ допустить игнорированія и глупаго случая. Стараясь выставить ничтожность произвольныхъ дѣйствій Наполеона въ сравненіи съ тѣми силами, которыми движутся массы, составляющія народъ, онъ не вдается въ разборъ того, на примѣръ, отчего именно на долю этого человѣка выпала роль стоять во главѣ разнузданныхъ стремленій, остатковъ подгнившей въ своемъ корнѣ цивилизаціи прошлаго столѣтія; отчего миллионы людей съ любовью и привязанностію продались во власть именно этого человѣка, который не принесть съ собою въ это никакихъ правъ для того, чтобы заставить поклониться всю Европу? Итъ, нельзя у Наполеона отнять чести называться великимъ, гениальнымъ — хотя онъ подчасъ не

жотъ казаться чрезвычайно мелочнымъ, даже смѣшнымъ (например, послѣ битвы при Аустерлицѣ, Бородино, и пожара Москвы, афиши къ народу и т. п. Въ особенности въ Наполеонѣ можетъ поражать крайнее отсутствіе пониманія чужого образа жизни, мышленія и чувствованія (мечты его благодѣтельствовать русскимъ). Если даже мы считаемъ la gloire—главный двигатель его личныхъ побужденій, однимъ изъ самыхъ низкихъ, пошлыхъ его идеаловъ, то мы крайне ошибаемся. Не надо забывать также и того, что онъ мечталъ осуществить мысль о республикѣ-монархіи, которая увлекала многихъ изъ знаменитыхъ современниковъ.

Изъ „Всеобщей Газеты“ 1869 г. Статья „Книжника“.

*
* *

*) Пятый томъ „Войны и Мира“ гр. Толстого, съ такимъ истерическимъ ожидавшимъ публикою, наконецъ, появившійся въ свѣтъ. Къ сожалѣнію, эта часть труда гр. Толстого не соответствуетъ ожиданіямъ, которыя на него возлагались, ни въ отношеніи живости и занимательности разсказа ни по остоинству заключающихся въ ней мыслей. Читатель не находитъ уже въ романѣ мастерскихъ описаній боевыхъ и пивачныхъ сценъ, не увлекается тонкостями психологическаго анализа, которыя съ такимъ искусствомъ, хотя часто и безъ софизмовъ, гр. Толстой проводилъ въ своемъ романѣ,—напротивъ, читатель видитъ вилое, безсвязное изложеніе событій, слѣдующихъ за Бородинскимъ сраженіемъ, ое-гдѣ перемѣшанное со сценами изъ домашней жизни героевъ и героинь романа, сценами мертвенными, но пмѣющими и живости красокъ ни опредѣлоннаго колорита; видно, что авторъ едва дотянулъ непосильный грузъ до обязательнаго конца. Значительная часть книги, тамъ, гдѣ дѣло кажется историческихъ событій, наполнена выписками изъ документовъ и мемуаровъ того времени, извѣстныхъ читающей публикѣ частію изъ богатыхъ приложений, находя-

*) „Русскій Инвалидъ“ 1869 г., № 37. „Библиографическія замѣтки. „Война Мира“, V томъ“.

щихся при сочиненіи г. Богдановича объ отечественно войнѣ 1812 года, частію изъ статей, помѣщавшихся въ „Русскомъ Архивѣ“, выписокъ, не имѣющихъ между собою никакой руководящей связи. Иногда авторъ, описывая историческое событіе, придаетъ той или другой сценѣ, той или другой личности, совершенно произвольное освѣщеніе, основанное лишь на его собственномъ капризѣ; таковъ произвольный колоритъ, приданный имъ сценѣ убійства Верещагина; таковы характеристики Дохтурова, Коновницына, Бартолута... А между тѣмъ событія, слѣдовавшія за бородинскимъ сраженіемъ, представляли обширное поле для художественнаго изображенія: пожаръ и оставленіе Москвы а въ особенности тогдашнее настроеніе народныхъ массъ, были бы необыкновенно интересны при добросовѣстномъ изслѣдованіи и художественномъ изложеніи. Гр. Толстой едва касается этого настроенія и, какъ кажется, хочетъ доказать, что массы были *апатичны* и *равнодушны*, что онѣ дѣлали свое дѣло въ силу того же фатализма, который, по мнѣнію автора, управляетъ и войсками въ бою; между тѣмъ, врядъ ли такое предположеніе согласно съ истиной. Мы видимъ, что при бѣдствіяхъ меньшей степени, чаще встрѣчающихся въ жизни народа, какъ, напримѣръ, во время пожаровъ, массы бываютъ возбуждены до такой степени, что готовы бросить въ огонь всякаго, по малѣйшему, часто неосновательному подозрѣнію; каково же должно быть это возбужденіе при опасности, грозившей жизни, достоинству и независимости cadaго; когда наносился жестокий ударъ народному самолюбію и религіозному чувству народа. Невозможно представить себѣ, чтобы гр. Ростовичи и народъ съ такою холодною жестокостью совершили убійство Верещагина, какъ это описано въ романѣ гр. Толстого. Несомнѣнно, что было совершено преступное убійство, но оно было совершено подъ вліяніемъ страсти, бывшей черезъ край и искавшей жертвы, въ минуту той запальчивости и раздраженія, которые во всѣхъ кодексахъ принимаются, какъ смягчающія обстоятельства при обсужденіи преступленій. Что касается до дѣйствующихъ лицъ романа, то авторъ

счесть за нужное поступить съ ними довольно безцеремонно, уморивъ нѣкоторыхъ изъ нихъ совершенно неожиданнымъ образомъ: такой участи подвергся герой романа, князь Андрей Болконской и красивая графиня Елена Безухова; если прибавить къ этому умершаго масона Баздѣова и искалѣченнаго Анатоля, то будемъ имѣть полный перечень потерь, понесенныхъ дѣйствующими лицами романа. Впрочемъ, нельзя сказать, чтобы смерть ихъ всѣхъ была неестественна: герой романа, кажется, высказалъ все, что могъ, и отъ него нельзя ожидать ни болѣе плодотворнаго дѣла ни болѣе дѣльной мысли, онъ утомился самъ и утомилъ читателей своею доктринерскою болтовней, и замолкъ, по нашему мнѣнію, во-время.

Въ заключенію нельзя не сказать нѣсколько словъ о попыткахъ автора подкрѣпить и доказать свою теорію историческаго фатализма, для чего онъ прибѣгаетъ къ пособию математики, и высказываетъ желанію дойти до историческаго интегрированія. Попытки эти приводятъ къ тому, къ чему и должны привести попытки оправдать несостоятельную теорію, т. е. къ полному убѣжденію въ ея несостоятельности. Философія гр. Толстого принадлежитъ къ числу тѣхъ туманныхъ и мистическихъ признаковъ, которые представляются уму, еще не вошедшему въ періодъ изслѣдованія; постепенно исчезая по мѣрѣ приближенія и ближайшаго съ ними знакомства, они разлетаются въ прахъ при первомъ прикосновеніи съ жизненною правдою. Нельзя удержаться, чтобы не посоветовать гр. Толстому оставить въ покоѣ глибы и пучины философіи, и обратить свой талантъ на ту сферу объективнаго и художественнаго описанія, въ которой онъ такъ силенъ.

Изъ „Русскаго Инвалида“ 1869 г.

*
* *

*) А. С. Пороновъ напечатанъ въ „Военномъ Сборникѣ“ № 11, 1868) и потомъ отдѣльно статью, подъ именемъ:

*) „Всемирная Иллюстрація“ 1869 г., № 41. Статья Г. Данилевскаго, подъ заглавіемъ: „Историки-очевидцы“.

„Война и Миръ 1805—1812 года, съ исторической точкой зрѣнія и по воспоминаніямъ современника“ (съ помяткою въ концѣ: „Павловскъ, 18 сентября 1868 г.).

Еще до изданія этой статьи, годъ назадъ, онъ познакомилъ меня съ нею. Увлеченный достоинствами романа графа Толстого, я не безъ досады слушалъ эту рецензію и спорилъ съ А. С. Поровымъ чуть не за каждое его замѣчаніе.— „Будучи въ числѣ немногихъ оставшихся очевидцевъ великихъ отечественныхъ событій (quorum pars minima fui), не могъ—говоритъ А. С. Поровъ:—безъ оскорбленнаго патристическаго чувства дочитать этотъ романъ, имѣющій претензію быть историческимъ. Возраженія мои на стратегическія припирки А. С. Порова мало имѣли вѣса въ глазахъ критика, говорившаго на все: „Я самъ былъ участникомъ Бородинской битвы и очевидцемъ картинъ, изображенныхъ такъ невѣрно гр. Толстымъ, и переувѣрить меня въ томъ, что я доказываю, никто не въ силахъ!“—Я возражалъ А. С. Порову, что не всегда отдѣльные участники и непосредственныя очевидцы извѣстныхъ историческихъ событій передаютъ ихъ вѣрнѣе позднѣйшихъ историковъ, имѣвшихъ доступъ къ болѣе разнообразнымъ источникамъ, и что, наконецъ, художественная правда романа графа Толстого никакъ не зависитъ собственно оттого: стояла ли такая-то колонна во время такого-то боя направо или налево отъ полководца и т. п. Болѣе всего пришлось спорить съ А. С. Поровымъ противъ слѣдующаго мѣста въ его рецензіи „Графъ Толстой рассказываетъ намъ, какъ князь Кутузовъ принимая въ Царевъ-Займищѣ армію, болѣе былъ занятъ чтеніемъ романа г-жи Жанлисъ „Les Chevaliers du Cygne“, чѣмъ докладомъ дежурнаго генерала. И есть ли какое вѣроятіе, чтобы Кутузовъ, видя передъ собою всѣ арміи Наполеона и находясь наканунѣ рѣшительной ужасной битвы, имѣлъ бы время не только читать, но и думать о романѣ г-жи Жанлисъ?

— Что же тутъ невозможнаго!—возражалъ я А. С. Порову,—быть можетъ, это былъ одинъ расчетъ, чтобы ободрять окружающихъ! И почему графъ Толстой не имѣлъ

права придать своему герою эту черту, настолько свойственную всякому человеку, жаждущему, подчасъ, въ чтеніи книги успокоить потрясенныя чувства и черезъ нее оторваться, хотя на мигъ, отъ роковой дѣйствительности!“.

И приводилъ А. С. Норову множество примѣровъ изъ жизни разныхъ великихъ людей: Цезаря, Петра Великаго и въ томъ числѣ указывалъ ему на Александра Македонскаго, который въ битвахъ не разставался съ Гомеромъ, и изъ индѣйскаго похода, среди постоянныхъ столкновеній съ азіатскими дикарями того времени, писалъ къ Аристотелю и къ своимъ друзьямъ въ Вавилонъ, просилъ ихъ о высылкѣ ему книгъ для чтенія и въ особенности занимательныхъ и любимыхъ ему греческихъ трагиковъ. И ему, наконецъ, указывалъ на описанія послѣднихъ дней приговоренныхъ къ казни, и на то обстоятельство, что эти люди часто, за нѣсколько часовъ до смерти, читали своихъ любимыхъ поэтовъ...

— „Все это такъ, и могло случиться въ другія времена и съ другими народами! — сказалъ мнѣ напоследокъ А. С. Норовъ. — Мы же въ 12 году не были искателями приключеній, въ родѣ македонскаго героя, и искателями эффектовъ, въ родѣ гипотинированныхъ, во время французской революціи, клубистовъ. До Бородина и послѣ него, мы всѣ, отъ Кутузова и до послѣдняго подпоручика артиллеріи, какимъ былъ я, горѣли однимъ высокимъ и священнымъ огнемъ любви къ отечеству, смотрѣли на свое призваніе, какъ на нѣкое священнодѣйствіе, и я не знаю, какъ бы приняли товарищи такого изъ насъ господина, который бы въ числѣ своихъ вещей имѣлъ книгу для легкаго чтенія, да еще французскую, въ родѣ романовъ м-мъ Жанлисъ!

А. С. Норовъ напечаталъ свой отзывъ о романѣ графа Толстого, и вскорѣ умеръ. Въ концѣ января этого года былъ напечатанъ его некрологъ. Каково же было мое удивленіе, когда, собирая матерьялы для послѣдняго, я узналъ слѣдующее обстоятельство.

При разборѣ петербургской бібліотеки А. С. Норова, одинъ изъ его знакомыхъ, профессоръ г. Саввантовъ, раз-

вернулъ крошечную книжочку, романъ конца прошлаго столѣтія „*Похожденія Родерика Рандома*“ („*Aventures de Roderik Random, tom I—II, à Reims, chez Cazin, Libraire. 1784, in 32^o*“), и на оберткѣ оя пореплета прочелъ слѣдующую надпись, сдѣланную рукою А. С. Поровъ:

„*Lu à Moscou, blessé et fait prisonnier de guerre chez les Français, au mois de Sempembre. 1812 г. *)*“

То, что было съ подпоручикомъ артиллеріи, въ сентябрѣ 1812 года, забылось маститымъ сановникомъ, черезъ сорокъ шесть лѣтъ, въ сентябрѣ 1867 года, потому что не подходило подъ понятіе, составленное имъ впоследствии объ эпохѣ 1812 года.

Разумѣется, нельзя утверждать, чтобы романъ о Родерикѣ Рандомѣ покойный Поровъ читалъ и подъ Царевымъ-Займищемъ, тамъ, гдѣ въ романѣ графа Толстого, Кутузовъ читалъ произведеніе г-жи Жанлисъ. Но нельзя отвергать и предположенія о томъ, чтобы А. С. Поровъ не имѣлъ романа о Родерикѣ Рандомѣ съ собою въ походъ и чтобы онъ не читалъ его до Бородинна, какъ потомъ читалъ его въ Московской больницѣ, изъ оконъ которой, по его словамъ, онъ, съ такимъ, будто-бы, презрѣніемъ смотрѣлъ на уходившія французскія войска и самого Наполеона...

Г. Дамилевскій.

* * *

Въ фельетонѣ, г. Z. (В. Буренина) озаглавленномъ: „Журналистика“, между прочимъ говорится:

**) „Въ первомъ выпускѣ „Русскаго Архива“ за настоящій годъ помѣщена неизданная тетрадь изъ записокъ Порошина, заключающая въ себѣ нѣкоторыя любопытныя подробности о воспитаніи императора Павла Петровича и его характеръ въ дѣтскіе годы. Затѣмъ обращаютъ вниманіе воспоминанія кн. Вяземскаго о Бородинской битвѣ. Воспоминанія эти написаны, такъ сказать, въ стихахъ и въ прозѣ.“

*) Читалъ въ Москвѣ, раненый и попавшій военнопленнымъ къ французамъ, въ сентябрѣ 1812 г.

**) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1869 г., № 18.

Изъ стиховъ и прозы мы узнаемъ многія подробности, не Бородинской битвы, а участія въ ней автора. Между прочимъ, князь касается въ своихъ воспоминаніяхъ сочиненія гр. Толстого „Война и Миръ“, и говоритъ, что этотъ романъ есть „протестъ противъ 1812 года“, что авторъ является въ немъ послѣдователемъ школы „отрицанія и уничтоженія исторіи“.

„Безбожіе“, восклицаетъ князь, „опустошаетъ небо и удушю жизнь. Историческое вольнодумство и невѣріе опустошаетъ землю и жизнь настоящаго, отрицаніемъ соціальной минувшаго“. Сколько мнѣ кажется, авторъ, увлеченный патріотическими воспоминаніями, подобно тому, какъ влекся ими другой почтенный ветеранъ, А. С. Норовъ, смотритъ неправильно на романъ гр. Толстого и на принадлежность его автора къ школѣ, отрицающей событіе минувшаго и опустошающей землю. Такой школы не существуетъ въ мірѣ, ибо какимъ же образомъ возможно отрицать то, что несомнѣнно было?

Князю Вяземскому не нравится, что графъ Толстой изобразилъ въ своемъ романѣ обыкновенныхъ людей, а не героевъ съ характерами возвышенными и благородными. „Та-е герои“, восклицаетъ кн. Вяземскій, „отыщутся въ нашихъ рядахъ“. Для отысканія героевъ князь Вяземскій со- ставляетъ графу Толстому не оставаться „въ лошадкахъ и юскостяхъ“, а взойти на „пригорки, гдѣ воздухъ чище, агораствореннѣе“ и т. д. Такъ какъ графъ Толстой въ оемъ романѣ не соображается съ приглашеніемъ кн. Вяземскаго, и больше все по лошадкамъ гуляетъ, то князь жалуется тѣмъ, что авторъ „Войны и Мира“ осмѣлился спутать историческихъ личностей знаменитой эпохи, и прямо рекомендуетъ „оставить ихъ въ покоѣ“. Нельзя не замѣтить, читая наставленія князя Вяземскаго автору „Войны Мира“, что вообще притязанія патріотовъ минувшихъ вѣковъ довольно странны. Напримѣръ, князь охотно дозволяетъ себѣ описывать въ слабыхъ стихахъ бородинскія сраженія, и, между тѣмъ, графу Толстому запрещаетъ изображать его въ хорошей прозѣ. Неужели эти стихи ните-

решѣно художественныхъ картинъ гр. Толстого потому, что они написаны съ полнымъ отсутствіемъ не только волюнтаризма историческаго, но даже всякой мысли?

Изъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» за 1869 г. Ст. Z. (Л. Буренина).

*
* *

Въ № 63 Голоса г. С. П., описывая засѣданіе „Общества любителей россійской словесности“, между прочимъ говоритъ:

*) П. К. Щобальскій прочелъ отрывокъ изъ посмертнаго сочиненія бывшаго министра народнаго просвѣщенія. А. С. Норова, „Война и Миръ“, возбуждавшаго любопытство въ литературныхъ кружкахъ тѣмъ собственно, что авторъ войны 1812 года, бородинскую битву, въ которыхъ онъ еще отрокомъ, только что оставившимъ школьную скамью, участвовалъ и потерялъ ногу, старался представить совершенно съ другой точки зрѣнія, нежели представилъ ихъ графъ Л. Н. Толстой въ своемъ романѣ-исторіи „Война и Миръ“. Извѣстно, что, по мнѣнію графа Л. Н. Толстого ни Наполеонъ не предвидѣлъ опасности въ движеніи на Москву, ни Александръ, ни его военачальники не думали о знаменитомъ отступленіи или „заманиваніи“ Наполеона, а думали о совершенно противоположномъ: завлеченіе Наполеона въ глубь страны произошло не по чьему-либо плану, а отъ сложнѣйшей игры интригъ, цѣлей, желаній участниковъ войны, не угадывавшихъ того, что было единственнымъ спасеніемъ Россіи; не только никто не предвидѣлъ этого (говоритъ гр. Толстой), но всѣ усилія со стороны русскихъ были постоянно устремляемы на то, чтобы помѣшать тому, что одно могло спасти Россію, а со стороны Франціи, несмотря на опытность и геній Наполеона, были устремлены всѣ усилія, чтобы растянуть армію, т. е. сдѣлать то самое, что должно было погубить ее; наконецъ, Бородинская битва была дана единственно для того, чтобы не сказали, что

*) „Голосъ“ 1869 г., № 63. Фельетонъ: „Московская жизнь“. Статья С. П.

Москва уступлена безъ боя; въ стратегическомъ же отношеніи, битва эта, принадлежавшая къ числу великихъ побоевъ, не можетъ выдержать даже слабой критики. Вотъ положенія графа Толстого. Какъ же опровергають ихъ покойный Порозъ? Изъ прочитаннаго отрывка слушателей узнали, что онъ, потерявъ ногу, былъ привезенъ въ Москву, лежалъ въ Голицынской больницѣ, что ампутацію ему дѣлалъ знаменитый тогда докторъ французской арміи Маррей; что, при выходѣ изъ Москвы, войска хладнокровно кричали „vive l'empereur“, что раненные французы, лежа въ голицынскомъ госпиталѣ, отдавали на сбереженіе русскимъ больнымъ свои деньги и вещи. Затѣмъ, узнали мы, какія чувства волновали автора при видѣ кремлевскихъ развалинъ, п... и только. Спрашивается: зачѣмъ былъ проптанъ, и прочитанъ превосходно, этотъ отрывокъ? Впрочемъ, можетъ быть, это была amende honorable памяти покойнаго, который, въ качествѣ министра, имѣлъ непосредственное отношеніе къ обществу.

Изъ «Голоса» за 1869 г. Статья С. И.

* * *

*) Наконецъ, на-дняхъ появился шестой и послѣдній томъ сочиненія графа Л. Н. Толстого „Война и Миръ“, возбужденнаго, при своемъ появленіи, столько самыхъ противоположныхъ толковъ. Многими въ томъ числѣ и нами, этотъ томъ ожидался съ нетерпѣніемъ, впрочемъ, значительно убѣжденнымъ, нежели то, съ которымъ встрѣчались предыдущія, такъ какъ уже въ четвертомъ и пятомъ томахъ творчество автора замѣтно слабѣло, авторская рука, дергавшая зурочки, становилась замѣтнѣе, и художникъ все болѣе и болѣе превращался въ резонера. Но, не ожидая, съ одной стороны, чтобы конецъ романа былъ такъ близокъ, съ другой—мы надѣялись хотя на нѣсколько смѣлыхъ и живыхъ картинъ, матерьяломъ для которыхъ должны были послужить и событія войны и событія мира. Мы ошиблись. Ро-

*) „Новороссійскій Телеграфъ“ 1869 г., № 263. Статья А. Воиновичева, съ заглавіемъ: „Война и Миръ, томъ шестой“.

манъ, какъ видно, совершенно обезсилилъ творческую фантазію автора, и онъ, во чтобы-то ни стало, рѣшился, наконецъ, покончить съ нимъ, какъ можно скорѣе и какъ мож короче; въ 6-мъ томѣ, состоящемъ изъ 290 страницъ, собственно роману отведено немногимъ болѣе половины, остальное занято какимъ-то политико-историко-философскими толкованіями. Не довольствуясь попрежнему тѣмъ, что дава такія толкованія въ перемежку съ романомъ, авторъ теперю всю вторую часть эпилога прямо назначилъ для диссертационныхъ разнѣмъ вопросамъ историческаго философствованія. Значительное мѣсто, которое даетъ авторъ развитію своихъ воззрѣній, заставляетъ насъ заняться сперва ими, и только потомъ перейти къ роману, который представляетъ такую весьма курьезную тенденцію.

Точка зрѣнія автора на историческія событія — безсильности предъ общими причинами историческихъ явленій. Въ основѣ такой взглядъ имѣетъ много справедливаго, и высказывался чуть ли не каждымъ историкомъ, но доведенный до крайнихъ предѣловъ и крайней исключительности, онъ представляетъ весьма много страннаго. Мы хотѣли бы, соглашаясь съ авторомъ „Войны и Мира“, отнестись съ почтеніемъ къ излагаемымъ имъ воззрѣніямъ, но не можемъ не замѣтить, что съ одной стороны,

Стараясь важно въ томъ увѣрять,
Въ чемъ всѣ увѣрены давно,

онъ, съ другой — щедръ на оригинальныя положенія, которыя могутъ изумить всякаго. Съ необыкновенною логичностью и со строго научными пріемами, онъ доказываетъ истинны, настолько всѣми усвоенныя, что на нихъ достаточно было-бы только намекнуть, и между тѣмъ дѣлаетъ изъ нихъ невѣрные выводы потому, что вводитъ кое-что новое, или не доказанное, или потому, что его хитрыя построения основываются на положеніяхъ невѣрныхъ, такъ какъ произвольное и неточное опредѣленіе графа Толстой принималъ за аксіому. Примеромъ этого можетъ служить опредѣленіе власти, о которомъ мы скажемъ ниже. Теперь же приве

демъ примѣръ парадоксовъ, источникъ которыхъ въ книгѣ графа Толстого, мы видимъ, увѣ! въ наклонности къ оригинальничанью. Только въ наше самоуверенное время популяризаціи знаній, благодаря сильнѣйшему орудію неустыжества — распространенію книгопечатанія... и т. д. Первая мысль, приходящая вамъ въ голову, — не опечатка ли это, до того вы привыкли считать книгопечатаніе орудіемъ распространенія знаній. Затѣмъ вы начинаете вспомнить, что читали гдѣ-то о томъ, что съ изобрѣтеніемъ книгопечатанія челоѣчская память начала ослабѣвать, такъ какъ не предстояло надобности запоминать множество вещей, которыя легко можно найти въ книгѣ; но что терялось въ развитіи памяти, то съ избыткомъ пріобрѣталось въ развитіи сужденія, думаете вы, и бросаетесь къ предположенію, не разумѣлъ ли авторъ усиленія преслѣдованія слова со времени книгопечатанія, напскій индексъ и considérant французскаго правительства, но соображаете, что если въ настоящее время могутъ сжечь или инымъ образомъ уничтожить книгу, — до книгопечатанія старались уничтожить мысль, сожигая того, въ чьей головѣ она родилась. Довольный тѣмъ, что заставилъ васъ колебаться, принять ли эту фразу за абсурдъ или за соображеніе самаго тонкаго свойства, недоступное для васъ по своей глубинѣ, авторъ нпчѣмъ и не думаетъ пояснить читателю свое пикантное положеніе. „Быть можетъ, въ этомъ и дѣйствительно есть какой-нибудь смыслъ“, думалъ онъ вѣроятно про себя, — „и ужъ если есть, то самый глубокій“.

Главная задача диссертациі графа Толстого — опровергнуть участіе въ историческихъ событіяхъ какъ случая, такъ и личной воли историческихъ дѣятелей. Все происходитъ вслѣдствіе необходимости, иногда принимаемой авторомъ въ смыслъ древняго фатума, иногда въ смыслъ провидѣнія. Случайнаго нѣтъ ничего на свѣтѣ, все обусловлено необходимостью; если что случилось, то потому, что не могло не случиться — таковъ смыслъ разныхъ мѣстъ въ книгѣ „Война и Миръ“. Авторъ подтверждаетъ это разными ил-

иллюстраціямъ *). Такъ какъ къ такимъ иллюстраціямъ тотчасъ же примѣшивается авторомъ что-нибудь постороннее, то въ pendant къ его примѣрамъ, мы приведемъ свой, вѣрно исчерпывающій приемы графа. Чиновникъ спѣшилъ зимой на службу; съ крыши, очищаемой дворниками отъ снѣга, ему упала на голову обледѣлая масса, и убила его. Вы видите въ этомъ случаѣ, графъ доказываетъ, что это необходимость, и раздражается цѣлымъ рядомъ, если и не очень глубокомысленныхъ, но всякомъ случаѣ несомнѣнныхъ положеній: масса снѣга, то таящая, то промерзающая. дѣлается плотною какъ ледъ; дворники наши неосторожны; полиція нерадушна, и не принимаетъ достаточныхъ мѣръ для безопасности прохожихъ; пдѣ по тротуару, нельзя видѣть, что дѣлается на крышѣ дома; твердое тѣло, упавъ съ значительной высоты, можетъ убить; чиновники обыкновенно ходятъ по тротуарамъ, такъ какъ они недостаточно богаты, чтобы имѣть экипажи, и не носятъ длинныхъ саногъ, чтобы могли брести въ снѣгу; „сгдо“, по законамъ необходимости, нѣсколько чиновниковъ въ годъ должны быть убиты снѣгомъ, свалившимся съ крыши, и это подтверждается статистикой, которая показываетъ, что ежегодно убивается такимъ образомъ почти одинаковое число лицъ. Мы взяли примѣръ совершенно фантастически, но разсужденія графа совершенно въ этомъ же родѣ. Что дѣйствія безъ причины не бываетъ, никто въ этомъ не сомнѣвается, но именно явленіе, причины котораго не имѣютъ съ нимъ никакой логической связи, и называется случаемъ. Если человѣкъ глупѣетъ отъ того, что пренебрегаетъ развитіемъ своего ума, мы говоримъ, что это необходимость, законъ; если онъ терять разсудокъ вслѣдствіе контузіи въ сраженіи, мы называемъ это случаемъ, хотя въ сраженіяхъ лотають ядра и производятъ сгущеніе воздуха, а организмъ человѣка... и т. д. до безконечности.

Еще менѣе основательно отрицаніе вліянія на событія

*) Слѣдить за всеми изворотами мысли автора чрезвычайно трудно. При всѣхъ ученыхъ достоинствахъ, книгѣ не достаетъ положительно единства. Авторъ разомъ гоноритъ обо всемъ.

историческихъ личностей. Событія движутся не личной волей,—говоритъ авторъ,—а тысячью мелкихъ неувидимыхъ причинъ, личная же воля такъ называемыхъ героевъ безсильна: Наполеонъ хочетъ идти на Англію, и не идетъ; хочетъ быть въ мирѣ съ Александромъ, и воюетъ съ нимъ. Все это прекрасно.

Объяснить исключительно волею или соображеніями Наполеона всѣ политическія событія его времени, разумѣется, нельзя; но еще страннѣе было бы говорить о нихъ, не упоминая о волѣ или воззрѣніяхъ Наполеона. Мы вообще совершенно не поймемъ, за что графъ гнѣвается на историковъ, упрекая ихъ въ томъ, что они пишутъ „исторіи монарховъ (разумѣя въ общемъ смыслѣ историческихъ дѣятелей) и писателей, а не исторію народовъ“. Хочетъ ли онъ, чтобы историки, говоря объ объединеніи Италіи, не разбирали подробно дѣйствій Кавура и Гарибальди? „До тѣхъ поръ, пока пишутся исторіи отдѣльныхъ лицъ—будь они Цесари, Александры или Лютеры и Вольтеры, а не исторія *всѣхъ*, безъ исключенія всѣхъ людей, принимающихъ участіе въ событіи, нѣтъ никакой возможности описывать движенія человѣчества безъ понятія о силѣ, заставляющей направлять свою дѣятельность къ одной цѣли. И единственное извѣстное историкамъ такое понятіе есть власть“. Понимаете ли вы, читатель, что нибудь въ этой тирадѣ? Читаетъ ли дѣйствительно возможнымъ графъ какъ то писать исторію всѣхъ людей. И какъ это всѣхъ людей? Каждаго человѣка въ отдѣльности? Мы говоримъ, разумѣется, фактической исторіи, т. е. о той, безъ которой никакія мыслительныя исторіи, обобщенія невозможны. Положимъ, вторъ будетъ излагать исторію просвѣщенія во Франціи въ 18 вѣкѣ. Какимъ образомъ онъ изобразитъ степень образованности каждаго изъ французовъ. Или какимъ образомъ онъ умудрится не сказать о Вольтерѣ? То же самое съ исторіею торговли, искусства и чего хотите, не говоря уже о политической исторіи. Но эта исторія—*всѣхъ* въ будущемъ. Пока графъ Толстой, съ нѣкоторымъ высокомеріемъ впрочемъ, позволяетъ, кажется, историкамъ говорить объ историческихъ лич-

ностяхъ, но „единственная ручка, посредствомъ которой можно владѣть матеріаломъ исторіи при теперешнемъ ея изложеніи—есть власть“. Что же такое власть? Профилософы навѣ объ этомъ на 12 страницахъ, авторъ резюмируетъ свое опредѣленіе такимъ образомъ: „какая причина историческихъ событій?“ Власть. Что есть власть? Власть есть совокупность воли, перенесенныхъ на одно лицо. При какихъ условіяхъ переносятся воли массъ на одно лицо? При условіяхъ выраженія лицомъ воли всѣхъ людей, т. е. власть есть власть. Т. е. власть есть слово, значеніе котораго намъ непонятно“.—Вотъ примѣръ умозаключеній автора. Онъ взялъ невѣрное опредѣленіе, и на основаніи его пришелъ къ невѣрому заключенію. Власть не есть совокупность воли, переносимыхъ на одно лицо, а есть вѣра въ то, что извѣстное лицо имѣетъ право дѣлать обязательными для другихъ свою волю или воззрѣнія, — или увѣренность, что извѣстное лицо будетъ дѣйствовать въ извѣстной сферѣ выгоднымъ образомъ для тѣхъ, которымъ вручили ему власть. При этомъ сопротивленіе лицъ, но имѣющимъ такой увѣренности, подавляется силою, истекающею изъ поддержки массы или страхомъ этой силы. Часто случается, что увѣренность въ благотѣльномъ значеніи какой нибудь власти исчезаетъ во всѣхъ, а власть между тѣмъ держится. Это происходитъ оттого, что хотя каждый увѣренъ, что власть извѣстнаго лица вредна, но боится, что другіе противнаго мнѣнія, потому онъ не только не найдетъ въ нихъ поддержки, въ случаѣ протеста, но потерпитъ за это. Для того, чтобы такое недовольство стало общимъ (въ смыслѣ большинства), и организовалось бы для дѣйствія, нужно время. Это и можетъ служить отгѣтомъ на задаваемый авторомъ вопросъ: „почему Людовики XIV спокойно доживаютъ свои царствованія, а Людовики XVI-е и Карлы I-ые казняются народами?“. Этимъ же доказывается, что Монтескье, Руссо, Вольтеры и др., обобщавшіе извѣстные идеи, дѣйствительно историческіе двигатели, и что сравненіе ихъ съ дымомъ идущаго паровоза не совѣтъ основательно.

Мы не будемъ слѣдить далѣе за разными положеніями

графа Толстого, и замѣтимъ только въ заключеніе, что анализъ, составляющій силу графа, какъ художника, не по-счастливился ему въ умозрѣніяхъ. Дѣло въ томъ, что умозрительный анализъ г. Толстого дурного сорта: это не плодотворный анализъ, изслѣдующій составныя части, для того чтобы создать изъ нихъ цѣлое, лучше отвѣчающее своему назначенію, а анализъ ребенка, ломающего вещь на кусочки и ничего въ ней не находящаго. Что касается до метода изслѣдованій графа Толстого, то опять въ ре-
pandant его иллюстраціямъ—онъ заимствуетъ ихъ отовсюду; у него идетъ въ дѣло и сила тяжести, и паровозъ, и стадо барановъ. Мы также постараемся объяснить его нагляднымъ образомъ. Графъ видитъ движущійся поѣздъ, и ему гово-
рятъ, что двигатель—локомотивъ. Онъ, желая провѣрить это, пачинаетъ съ того, что разбираетъ локомотивъ на части, и затѣмъ пускается въ хитрую работу разныхъ вопросовъ, отвѣ-
ты на которые основываются на несомнѣнныхъ данныхъ. „Что можетъ быть причиной движенія въ локомотивѣ? Огонь? Но наши печи топятъ ежедневно, а дома стоятъ на мѣстѣ. Кипя-
щая вода? Но она остъ въ самоварахъ, а они не бѣгаютъ. Всѣ эти рычаги, колеса? Но они спокойно лежатъ на мѣстѣ. Наконецъ, машинистъ? Но онъ не въ состояніи сдвинуть
съ мѣста локомотивъ, но только везти его со всѣмъ поѣз-
домъ. Очевидно, причина движенія не въ локомотивѣ, она заключается въ массѣ, т. е. въ сотнѣ вагоновъ, движу-
щихся вслѣдствіе какихъ то непонятныхъ, но необходи-
мыхъ причинъ, и толкающихъ локомотивъ. Если послѣд-
нему приписывалась движущая сила разными близорукими
историками, то это потому, что ихъ соблазнило его пере-
довое положеніе, и что наблюдая за его движеніемъ по-
верхностно, они ни разу не дали себѣ труда разобрать
его также основательно, какъ это сдѣлалъ я“.

Анализъ орудіе очень хорошее и очень дѣйствительное, но въ то же время и очень сложное. Имъ нельзя дѣйстви-
вать по рецепту: было бы горячо, а вкусъ какой нибудь
выйдетъ.

Въ слѣдующій разъ мы скажемъ о романическомъ от-

дѣлѣ 6-го тома, но, къ сожалѣнію, и въ немъ найдемъ мало хорошаго.

Изъ „Новороссійскаго Телеграфа“ 1869 г. Статья А. Воициникова.

*
* *

*) Съ жадностію накинулась московская и петербургская публика на вышедшіи недавно шестой томъ сочиненія графа Л. Н. Толстого „Война и Миръ“. Читатели надѣялись найти здѣсь ту же роскошь художественнаго изображенія характеровъ и сценъ изъ семейнаго и общественнаго быта, какою они наслаждались въ первыхъ томахъ этого замѣчательнаго произведенія. Но какъ горько пришлось разочароваться! Въ 6-мъ томѣ всего нѣсколько страничекъ такой художественной работы, и эти странички (закрывающія въ себѣ собственно развязку романической фабулы сочиненія) легко могли бы быть пристегнуты къ пятому тому. Остальные—все ученическія и весьма жидкія философствованія автора объ исторіи да еще о свободной волѣ человека. И для этихъ то десятковъ страницъ туманныхъ и чрезвычайно наивныхъ будто бы философскихъ умствованій публика съ такимъ историческимъ чуть ли не цѣлый годъ ожидала появленія нынѣ вышедшаго шестого тома книги графа Толстого! Уже съ пятого, впрочемъ, тома было видно, что поэтическое вдохновеніе покидаетъ автора, или что онъ самъ отвертывается отъ него, самъ отказывается отъ художественнаго творчества, и изъ поэта, изъ художника хочетъ стать философомъ. Въ вышедшемъ нынѣ шестомъ томѣ авторъ совсѣмъ уже погрязъ въ метафизику, и кое-какія попадающіяся еще въ книгѣ житейскія сценки приведены имъ только въ подтвержденіе философскихъ умствованій. Шестой томъ раздѣленъ на четыре части: двѣ части собственно сочиненія и двѣ части эпилога. Въ первыхъ двухъ частяхъ разсѣяны, среди густого мрака умствованій, двѣ—три сценки изъ послѣднихъ эпизодовъ отечественной войны;

*) „Голосъ“ 1869 г., № 360. „Библиографія“. „Война и Миръ. Соч. гр. Л. Н. Толстого, т. VI“.

вторая же часть эпилога вся сплошь состоитъ изъ философствованій, и ничѣмъ, равно-таки ничѣмъ не связана съ первою его частью, гдѣ разсказана дальнѣйшая судьба главныхъ героевъ фабулы сочиненія. Эти философствованія механически пристегнуты къ книгѣ, и ихъ-то такъ долго выработывалъ авторъ! Пока книга еще не появлялась, разные толки ходили о ней въ читающемъ мірѣ, и многіе почему-то ожидали, что въ шестомъ томѣ „Войны и Мира“ будетъ мастерская картина второй, реакціонной половины царствованія императора Александра I; вмѣсто того, авторъ поднесъ намъ ученическій трактатъ о свободной волѣ! Впрочемъ, и реакціи-то авторъ вовсе не видитъ въ царствованіи Александра. Но объ этомъ послѣ; а теперь поговоримъ о тѣхъ немногихъ художественныхъ красотахъ, которыя, все-таки, сохранились въ сочиненіи графа Толстого.

Мы сказали, что въ первой части эпилога разсказана дальнѣйшая судьба героевъ романической фабулы сочиненія. Но и этотъ разсказъ весь окутанъ и опутанъ философскими разсужденіями. Сначала, пи съ того ни съ сего и безъ малѣйшей связи съ послѣдующимъ, идетъ рѣчь о военныхъ событіяхъ первой четверти текущаго столѣтія, о движеніи народовъ съ запада на востокъ и съ востока на западъ; потомъ безъ всякаго посредствующаго перехода, авторъ вдругъ обращается къ своимъ героямъ и начертываетъ идеалъ семьи — идеалъ, который очень подѣлать статью „Домострою“, но совсѣмъ ужъ не соответствуетъ требованіямъ нашего времени. Еще въ итогѣ томъ разсказъ былъ веденъ къ тому, что графъ Пьеръ Безухій женится на Наташѣ. Авторъ и точно женитъ ихъ. Княжна Марья Болконская тоже выходитъ замужъ за Николая Ростова. Одна Соня осталась безъ мужа (хотя въ былое время и надѣялась быть женою этого самого Николая Ростова), и на уходъ за дѣтьми своего бывшаго жениха тратитъ теперь внутреннія силы своей преданной натуры. Потя Ростовъ погибъ въ партизанской схваткѣ; самъ старый графъ умеръ, не перенесъ ударовъ судьбы; старая графиня доживаетъ свой вѣкъ въ полуробическомъ состояніи. Обѣ молодыя супружескія четы боль-

шею частью проводятъ время (особенно лѣтомъ) вмѣстѣ, имѣютъ кучу дѣтей, и блаженствуютъ. Въ перспективѣ, впрочемъ, возможность новыхъ бурь и волненій: Пьеръ недоволенъ реакціоннымъ направленіемъ 20-хъ годовъ, громко осуждаетъ правительство, и говоритъ о необходимости образованія общества для противодѣйствія злу; юный Николай Болконскій, сынъ умершаго отъ раны князя Андрея, жадно вливается въ рѣчи Пьера; Николай Ростовъ хмурится и споритъ...

Свой идеалъ семьи авторъ начертываетъ по Пьеру и Наташѣ. Наташу, по словамъ самого автора, нельзя было бы теперь узнать. „Въ ея лицѣ не было, какъ прежде, этого непрестанно горѣвшаго огня оживленія, составлявшаго ея прелесть. Теперь часто видно было одно ея лицо и тѣло, а *души вовсе не было видно*. Видна была одна сильная, красивая и плодовитая *самка*“. Наташа только и дѣлала, что носила, рожала и кормила дѣтей. Она бросила сразу всѣ свои очарованія, изъ которыхъ одно у ней было необычайно сильно—пѣніе. „Она оттого и бросила его, что это было сильное очарованіе“. Она не заботилась ни о своихъ манерахъ, ни о деликатности рѣчей, ни о туалетѣ, ни о томъ, чтобъ не стѣснять мужа своею требовательностью; она опустила до распушенности, до неряшливости. Мы никакъ ужъ не согласны сочувствовать такому идеалу семьи, и рѣшительно отказываемся понять, почему женщина, становясь женою и матерью, должна непременно утратить все человѣческое и обратиться въ самку; мы рѣшительно отказываемся понять, въ какой мѣрѣ опрятность одежды (авторъ выводитъ здѣсь Наташу постоянно растрепанною), пристойность рѣчи, деликатность въ обращеніи съ мужемъ, а въ свободныя отъ материнскихъ заботъ минуты пѣніе, книги или иное эстетическое или умственное развлеченіе—могутъ мѣшать женщинѣ быть хорошею женою и хорошею матерью. Впрочемъ, самъ авторъ сѣмнитъ обнаружить предъ нами несостоятельность своего идеала, и рисуетъ чорны, свидѣтельствующія, что и въ Наташѣ не одно тѣло, что въ ней осталась и душа. Наташа сумѣла

сдѣлать Пьера своему воззрѣнію, состоявшему въ томъ, что каждая минута его жизни должна принадлежать ей и мѣ; во всемъ, что касалось семьи, дома, практической жизни, Наташа имѣла неограниченное вліяніе на Пьера; шее мнѣніе было даже то, что Пьеръ былъ подъ башмакомъ у своей жены. Но зато въ умственномъ отношеніи Наташа вполне признавала превосходство мужа, и не просто корялась этому превосходству, а старалась сама питаться имъ, старалась сама проникаться идеями Пьера. У автора какъ изображенъ процессъ этого взаимнаго духовнаго вліянія у Наташи и Пьера, этого установленія, такъ сказать, ственнаго между ними уровня:

„Весьма часто, въ минуты раздраженія, случалось, что жъ съ женою спорили, но долго потомъ послѣ спора ерь, къ радости и удивленію своему, находилъ не только словахъ, но и въ дѣйствіяхъ жены ту самую мысль ю, противъ которой она спорила“. Черта, чрезвычайно ко и вѣрно подмѣченная. Человѣкъ другого, чѣмъ Пьеръ, ала, Николай Ростовъ, честный, прямой, добрый, но въ ственномъ отношеніи много уступавшій женѣ своей, бывшій княжнѣ Марьѣ, такъ отзывался о Наташѣ: „Эта Наташѣ уморительна. Вѣдь, какъ она мужа подъ башмакомъ жить, а чуть дѣло до разсужденія—у нея своихъ словъ тѣ; она такъ ого словами и говоритъ“. Но то же самое, къ замѣчаетъ авторъ, можно было слово въ слово сказать и о самомъ Николаѣ въ отношеніи его жены. „Послѣ и лѣтъ супружества—продолжаетъ авторъ въ своей характеристикѣ четы Безухихъ—Пьеръ чувствовалъ радостное, ердое сознаніе того, что онъ недурной человѣкъ, и чувствовалъ онъ это потому, что видѣлъ себя отраженнымъ своей женѣ. Въ себѣ онъ чувствуетъ все хорошее и оное смѣшаннымъ и затемнившимъ одно другое. Но на нѣ его отражалось только то, что было истинно хорошо; не совсѣмъ хорошее было откинуто. И отраженіе это произошло не путемъ логической мысли, а другимъ, таинственнымъ, непосредственнымъ отраженіемъ“. Изъ однихъ многихъ строкъ этого тонкаго анализа становится уже

очевиднымъ, что Наташа была не только самою, но и женщиною—человѣкомъ, и что идеалъ семьи, какъ онъ создавался въ умѣ автора подъ вліяніемъ его ученической философіи, не выдержалъ пробы объективнаго его анализа, гдѣ онъ изъ философа становится художникомъ...

Военныхъ картинокъ, столь плѣнявшихъ многихъ изъ предыдущихъ томахъ сочиненія, очень мало въ нынѣшнемъ. Даже такимъ фактомъ, какъ удаление Бенннгсена изъ арміи, авторъ и не подумалъ воспользоваться. Лучшею военно-сценкою шестого тома слѣдуетъ почитать разсказъ о партизанскомъ налетѣ Донисова (Давыдова) и Дорохова (Дорохова) на французскій обозъ. Передъ этимъ дѣломъ къ отряду Давыдова, изъ ребяческой отваги, болѣе похожей еще на любопытство, чѣмъ уже на настоящую храбрость, присталъ юный Петя Ростовъ, вообще чрезвычайно поэтически очерченный авторомъ. Не желая никому уступать въ бояхъ, онъ переодѣтый во французскій мундиръ, отправился съ Дороховымъ во французскую стоянку; но тутъ, несмотря на всю его юношескую удалъ, Петѣ стало очень жутко, когда опытный и серьезный Дороховъ, чтобы и возбудить подозрѣнія во французскихъ офицерахъ съ умнымъ словомъ затягивалъ бесѣду съ ними, молчаливо отъѣздомъ лѣниво сѣдла на лошадь, отправляясь въ обратный путь. На другой день, едва тронулся отрядъ Давыдова и Дорохова, Петя безъ малѣйшей надобности, повинаясь одной новостіи непонятнаго имъ чувства воинской отваги, впрямь... понесся впередъ, самъ не зная, за чѣмъ и куда, и скакалъ до тѣхъ поръ, пока шальная пуля не пробилась ему насквозь голову. Разсказъ оканчивается изображеніемъ того, какъ послѣ побѣды надъ непріятельскимъ отрядомъ Дороховъ, облокотясь на обнаженную саблю, сурово пропуская мимо себя страшившихся даже взглянуть на него французскихъ плѣнныхъ, а Давыдовъ, прислонясь головою къ забору, громко рыдалъ о смерти Ростова...

Эта прелестная сценка, какъ и всѣ другія, совсѣмъ затонула въ умствованіяхъ автора. Умствованія его не имѣютъ никакой даже видимой связи ни съ фабулою романа,

ни съ военными и общественными картинками, служащими ей украшеніемъ. Только съ большими натяжками можно прослѣдить на дѣйствующихъ лицахъ и особенно на Андреѣ Болконскомъ и на Пьерѣ Безухомъ развитіе идеи, которая положена у автора въ основаніе его философіи. Перейдя черезъ сомнѣніе, черезъ мистицизмъ, черезъ трезвую работу мысли, герои графа Толстого приходятъ къ душевному успокоенію въ безропотной покорности волѣ провидѣнія, къ тому убѣжденію, что каждая личность носитъ въ самой себѣ свои цѣли только для того, чтобъ служить недоступнымъ человеку цѣлямъ общимъ. Личная дѣятельность ничтожна, какъ въ частной, семейной жизни, такъ и въ общественной, публичной; нѣтъ ни героевъ, ни геніевъ, ни правителей, ни полководцевъ: есть только совокупныя движенія массъ. Иногда этимъ движеніемъ массъ выставляется на видъ какой-нибудь блестящій актёръ въ родѣ Наполеона 1-го. Но блескъ его мншурный, значеніе ничтожно; современники думаютъ, что это онъ управляетъ событіями, но на самомъ дѣлѣ событія управляютъ имъ, и когда кончилась комедія, „распорядитель“, раздѣвъ актёра и смывъ съ него сурьму, показываетъ его народамъ: „Смотрите, чему вы вѣрили! Вотъ онъ! Видите ли вы теперь, что не онъ, а я двигаю васъ? „Но французскою революціою, не славолюбіемъ Наполеона, не твердостью русскаго правительства, не великодушіемъ Александра—объясняются событія первыхъ пятнадцати лѣтъ нынѣшняго столѣтія, а предопредѣленіемъ судьбы. Такъ нужно было, чтобъ народы шли сперва съ запада на востокъ, всюду выдвѣрая смерть и разрушеніе, и чтобъ потомъ они совершили свое обратное смертоносное шествіе съ востока на западъ; такъ нужно было—и никакіе Наполеоны и Александры не могли тутъ имѣть ровно никакого значенія. Но для чего было это нужно? для чего, какъ выражается самъ авторъ, весь этотъ безсмысленный порывъ народовъ къ самоистребленію? къ чему эта человѣческая бойня? Авторъ не даетъ иного отвѣта, кромѣ того, что шли и должны были идти народы Европы, сначала въ одномъ направленіи, съ запада на востокъ, по-

томъ въ другомъ—съ востока на западъ, и что цѣль этого движенія, какъ и всякаго иного, крупнаго и молчаго событія, недоступна человѣку:

Первыя причины и конечныя цѣли явленій намъ, разумѣется, недоступны; но авторъ воспрощаетъ намъ изслѣдовать и ближайшія причины явленій, то-есть, обстоятельства, предшествующія имъ и объясняющія ихъ. Никакой логической связи, доступной нашему уму, нѣтъ между событиями; то есть, эта связь и существуетъ, но она намъ недоступна. Никакого стройнаго порядка, никакихъ законовъ, доступныхъ уму, нѣтъ въ человѣческой жизни; то-есть, этотъ порядокъ и эти законы, пожалуй, и существуютъ, но они намъ недоступны. Итакъ, сухой, безотрадный фатализмъ—вотъ послѣднее слово философіи графа Л. Н. Толстого. Чтобъ доказать ничтожное значеніе личнаго вліянія въ историческихъ событіяхъ, авторъ кидается и въ алгебру и въ геометрію; но уравненія и математическія фигуры очень плохо ему повинуются, и ровнехонько ничего не доказываютъ. Отношенія царей и полководцевъ къ народу и войску представляетъ онъ себѣ въ видѣ конуса съ очень широкимъ основаніемъ; внизу массы, принимающія наибольшее участіе въ событіяхъ, но не отдающія никакихъ приказаній; чѣмъ выше къ вершинѣ, тѣмъ менѣе непосредственнаго участія принимаютъ въ событіяхъ сословія или лица, составляющія эти слои, и тѣмъ болѣе отдають они приказаній; лицо, занимающее самую вершину конуса, царь ли то, или полководецъ, вовсе уже не принимаетъ непосредственнаго участія въ событіяхъ, а только отдають приказанія. Изъ ста такихъ приказаній 99 пропадаютъ безслѣдно; сотое случайно совпадаетъ съ теченіемъ событій, и вотъ неосвященные утверждаютъ, что событие совершилось по волѣ, по приказанію этого лица! Авторъ съ особенною настойчивостью повторяетъ, что человѣкъ, занимающій вершину, вовсе не господинъ событій, а рабъ ихъ, болѣе даже, чѣмъ послѣдній изъ его поданныхъ или его подчиненныхъ. Разумѣется, пельзя отрицать, что каждый общественный дѣятель есть произведеніе своего времени и

сынъ своего народа; нельзя отрицать того громаднаго вліянія, какое имѣютъ на общественнаго дѣятеля обстоятельства его времени; но кто же станетъ отрицать и обратное вліяніе дѣятеля на его народъ и на его время? Пускай воля общественнаго дѣятеля вызвана давленіемъ времени и обстоятельствъ; но невозможно отрицать единоличнаго проявленія этой воли въ событіяхъ. Примѣромъ Кутузова самъ авторъ лучше всего подтверждаетъ эту истину, слѣдовательно, и разрушаетъ собственную свою натянутую теорію. Графъ Толстой говоритъ намъ, что Кутузовъ тѣмъ именно и великъ, что онъ не мудрилъ, не назначалъ сраженій, не писалъ диспозицій, не составлялъ блестящихъ плановъ поимки въ плѣнъ Наполеона, и пр. и пр.; Кутузовъ, одинъ только во всей арміи, по словамъ автора, понималъ, что полчища Наполеона и безъ генеральныхъ сраженій погибнутъ, истаятъ въ Россіи. Но въ томъ-то и дѣло, что онъ одинъ понималъ это, и что, отступая отъ непріятеля, уступая ему безъ боя Москву, избѣгая генеральныхъ сраженій, даже и при обратномъ движеніи французской арміи, онъ имѣлъ противъ себя и неудовольствіе государя, и явное противодѣйствіе со стороны приближенныхъ, и ропотъ войска и народа. Не очевидно ли, что личная, именно личная воля одного человѣка, Кутузова, хотя иногда и не въ полной мѣрѣ, управляла дѣйствіями русской арміи въ 1812 году, и что еслибъ, напримѣръ, главное командованіе арміею довѣрить Беннигсону, какъ онъ того втайнѣ и желалъ, то исходъ отечественной войны могъ бы быть совсѣмъ иной?.. Когда, послѣ переправы черезъ Березину, русскія войска вступили въ Вильну, Кутузовъ понялъ, что роль его сыграна; онъ понялъ, что необходимая часть войны, защита отечества, кончена, и что продолженіе войны будетъ уже, такъ сказать, бесполезною, романическою ея частью. Не одобряя, поэтому, дальнѣйшаго движенія русскихъ войскъ, онъ исполнялъ на этотъ счетъ приказанія императора Александра съ тою же напускною плацпарадною торжественностью, съ какою, въ 1807 году, спускалъ русскіе багальоны въ роковыя топи Аустерлица. Мысль компаній

1813-го и 1814-го годовъ, безъ сомнѣнія, принадлежитъ самому Александру: его плѣнила мысль, изгнавъ врага изъ отечества, освободить отъ его ига и другіе народы, стать благодѣтелемъ человечества. Хотя много и въ войскѣ и въ обществѣ русскомъ увлекались подобно Александру, но нѣтъ сомнѣнія, что, несмотря на это „стремленіе“ *восточнаго* народа (т. е. русской арміи) на западъ, наши полки очень спокойно и не безъ удовольствія повернули бы назадъ, еслибъ имъ это было приказано, точно такъ же, какъ гораздо поздѣе, въ 1849 году, когда ужъ никакого не было у насъ воинскаго стремленія на западъ, армія русская пошла же усмирить венгровъ, потому только, что ей это было приказано. Какъ же, послѣ этого, совершенно отрицать личное вліяніе въ исторіи? какъ не видѣть, что образъ дѣйствій русской арміи въ отечественную войну во многомъ зависѣлъ отъ личной воли Кутузова, а командіи 1813-го и 1814-го годовъ предприняты были, главнѣйшимъ образомъ, по личной волѣ Александра?..

Авторъ отрицаетъ существованіе реакціи въ царствованіи императора Александра; онъ не видитъ никакого поворота или перелома въ характерѣ этого государя, который, по словамъ графа Толстого, до конца жизни оставался тѣмъ же, чѣмъ всегда былъ; онъ говоритъ, что, исполнивъ свое призваніе (т. е. освободивъ народы отъ ига Наполеона) и почуввавъ на себѣ руку божію, Александръ созналъ ничтожность своей мнимой власти, отвернулся отъ нея, передалъ ее въ руки презираемыхъ имъ и въ самомъ дѣлѣ презрѣнныхъ людей, и воскликнулъ: „Не намъ, не намъ, а имени твоему“! Все это прекрасно; рѣзкаго поворота отъ либерализма къ реакціи не было въ царствованіе Александра, и онъ, разумѣется, оставался самимъ собою, но сдѣлался вдругъ инымъ человѣкомъ; перемѣна совершилась постепенно, весьма естественно, истекая изъ свойствъ характера самого Александра. Самый фактъ реакціи стоитъ внѣ всякаго сомнѣнія, и самое это нравственное отреченіе отъ власти, о которомъ говоритъ авторъ, и передача ея въ руки презрѣнныхъ людей, развѣ это не реакція? Александръ, по

словамъ автора, какъ человѣкъ, имѣлъ право на отдохновение: „Я человѣкъ тоже, какъ и вы—говоритъ Александръ у автора—оставьте меня жить, какъ человѣка, и думать о своей душѣ и о Богѣ“. Такъ; но то, что позволительно частному человѣку, не позволительно правителю, отъ котораго, что бы ни говорилъ графъ Толстой, зависѣли судьбы милліоновъ людей. Да и самое это право на эстетическую думу о своей душѣ, даже и для частнаго человѣка, очень сомнительно съ точки зрѣнія ученія Христа. Работа для другихъ скорѣе можетъ быть названа работою для Бога, чѣмъ созерцательный, эгонистическій піетизмъ. Притомъ, изъ множества историческихъ свидѣтельствъ, въ томъ числѣ и изъ записокъ Фаригагена фонъ-Энзе видно, что Александръ далеко не до такой степени стоялъ въ сторонѣ отъ управленія Россіею въ реакціонную пору, какъ хотѣтъ увѣрить графъ Толстой...

Мы сказали уже, что вторая часть эпплога (цѣля 60 страницъ!) занята сплошнымъ философскимъ трактатомъ. Тутъ авторъ осмѣиваетъ всѣхъ историковъ, какъ военныхъ, такъ и общихъ, какъ тѣхъ, которые объясняли событія измѣненіемъ личной воли, такъ и тѣхъ, которые причину событій искали въ дѣйствіи многихъ силъ, или же изучали исторію народовъ въ ихъ культурѣ, цивилизаціи. Не подергая серьезной критикѣ ни одного изъ историковъ, не цѣлая ни одной подлинной цитаты, авторъ приписываетъ и докую и всѣмъ другимъ неаѣности, которыхъ тѣ никогда и не думали говорить. До сихъ поръ, по мнѣнію автора, истъ историки, сколько ихъ ни было, городили вздоръ, и не имѣли ни малѣйшаго понятія о дѣйствительныхъ причинахъ событій въ исторіи народовъ. Автору первому суждено провозвѣстить міру истину. Какая же это истина, и чѣмъ объясняетъ онъ причины историческихъ событій? Да ничѣмъ, или что то же, таинственнымъ и недоступнымъ для еловѣческаго пониманія вѣлѣніемъ рока.

Тутъ же, авторъ сплоча рѣшаетъ одинъ изъ труднѣйшихъ вопросовъ философіи—вопросъ о свободной волѣ (libre arbitre), очевидно склоняясь на сторону ученія о необ-

ходимости человѣческихъ поступковъ, и если въ каждомъ конкретномъ явленіи, въ каждомъ человѣческомъ поступкѣ видитъ какъ бы смѣсь свободы и необходимости, то лишь потому, что этотъ поступокъ не можетъ быть подвергнутъ безусловно всестороннему анализу, и что не могутъ быть выполнены опредѣлены отношенія человѣка къ пространству, времени и причинамъ, вызывающимъ движеніе его воли. Въ методѣ, которымъ авторъ рѣшаетъ упомянутый вопросъ, не видно ни знанія, ни серьезной критики, ни хоть какого-нибудь знакомства съ мыслителями, разрабатывавшими тотъ же вопросъ, но зато бездна юношеской, почти ребячской самоувѣренности. Онъ и знать не хочетъ, что говорилось и дѣлалось до него, и, сидя въ кабинетѣ, „собственнымъ умомъ“, доходитъ до рѣшенія вопроса, надъ которымъ мучительно работаютъ лучшіе умы Европы. Англіійскій мыслитель Джонъ Стюартъ Милль тоже признаетъ законъ необходимости въ человѣческихъ поступкахъ; но онъ не считаетъ своего мнѣнія послѣднимъ словомъ въ наукѣ, и охотно перосматриваетъ вопросъ съ людьми почти противоположнаго ему лагеря. Пыиѣшній глава школы позитивистовъ во Франціи, г. Литре, въ одной изъ статей своего журнала *) отвергаетъ свободную волю въ человѣкѣ, но въ частной корреспонденціи, возбужденной этою статьей, онъ признаетъ вопросъ о свободной волѣ однимъ изъ труднѣйшихъ философскихъ вопросовъ, и обѣщаетъ вернуться къ нему. Для графа Толстого нѣтъ и не можетъ быть такихъ колебаній; онъ разомъ разрѣшаетъ всѣ философскія трудности и успокаивается на мысли, что просвѣтилъ міръ новою истиною... Мы не понимаемъ только, что есть общаго между философскимъ вопросомъ о свободной волѣ и болѣе чѣмъ реалистическою картинкою первой части эпилога, гдѣ Наташа, растрепанная и почесаная, копается въ дѣтскихъ пеленкахъ, чтобъ по тому или другому цвѣту пятенъ, ихъ покрывающихъ, судить о степени здоровья дѣтей...

Изъ „Голоса“ 1869 г.

* * *

*) „La Philosophie positive“, tome III (juillet—décembre 1868, pp. 231—264.

*) Идти ничего удивительного, что такое произведение, как роман графа Л. Толстого, возбуждает сильные толки: толки и за и против возбуждали всё больше или меньше замечательные произведения. Но удивительны самые толки, их характер, как и вообще удивительна судьба наших русских толков, наших отголосков такъ-пазымаемого нашего общественного мнѣнія, возбуждаемыхъ тѣмъ или другимъ литературнымъ произведениемъ. Исторія новѣйшихъ толковъ по поводу еще не оконченнаго романа гр. Толстого тѣмъ любопытнѣе, что эти толки, очевидно, литературные выразители если не общественного мнѣнія, то разныхъ кружковъ и партій, изъ которыхъ складывается наше современное общество. Когда они замолкнутъ, что, конечно, случится только по окончаніи романа, было бы въ высшей степени любопытно собрать и издать ихъ вмѣстѣ, или поговорить о нихъ обстоятельно въ большой журнальной статьѣ: выводъ изъ нихъ, во всякомъ случаѣ, останется продуктомъ нашего общественного сознанія, нашей современной философіи. Настоящею замѣткой мы имѣемъ въ виду представить матеріалъ будущему изслѣдователю этого вопроса.

Мы проходимъ мимо статей, черпавшихъ матеріалы изъ „Войны и Мира“, для характеристикъ нашихъ дѣдушекъ и бабушекъ, съ спеціальною цѣлью доказать ихъ скудоуміе и пошлость, сравнительно съ „новыми“, фабрикуемыми людьми: статьи эти слишкомъ наивны, и значеніе ихъ черезчуръ эфемерно; къ счастью или къ несчастью, но современная русская публика не только вышла изъ подъ вліянія наивныхъ и заливчатскихъ критикъ, но и имѣющихъ претензію на серьезность и поученіе она не слушаетъ, продолжая упорно зачитываться произведеніями гр. Л. Толстого, Тургенева и пр. Мы имѣемъ въ виду статьи другого характера, хотя и неотносящіяся къ литературной критикѣ, но задѣвающихъ, если можно такъ выразиться, за живое романъ гр. Л. Толстого, ведущія съ нимъ ожесточенную войну и

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1869 г., № 144. Статья М. Де-Пуле, подъ заглавіемъ: „Война Изъ-за Войны и Мира“.

черезъ это несомнѣнно способствующія его успѣху, хотя и отрицательнымъ, конечно, образомъ. Историческая подкладка романа гр. Толстого дала въ руки его противниковъ цѣлый арсеналъ оружія, вызвала противъ него цѣлый сонмъ. Ставъ на почву *прозаической дѣятельности*, они ожесточенно напали на бѣднаго романиста, обвиняя его въ извращеніи фактовъ, исторіи, въ посягновеніи на народную славу, на славу русскаго оружія, патріотизмъ и проч. Въ самомъ дѣлѣ, въ чемъ еще не обвиняли злополучнаго автора „Войны и Мира“! Онъ оказался виновнымъ и противъ тактики и стратегіи, и противъ военныхъ и штатскихъ; кн. Вяземскій прямо называетъ его *мѣтовщикомъ*, т. е. *нигилистомъ*. Если натягивать до нелѣпости, то за все—про все можно обвинить графа Л. Толстого: онъ *посягаетъ*—стало-быть, во всемъ и виновенъ! Съ *посягательствомъ* же или *посяновеніемъ* нельзя шутить, какъ доказывалъ недавній еще примѣръ одного изъ защитниковъ Севастополя, помѣстившаго въ „Русскомъ Архивѣ“ живой рассказъ о достопамятномъ времени осады этого города. Попытка автора представить Корнилова и Нахимова съ будничной стороны ихъ жизни, обыкновенными смертными, не составлявшая, впрочемъ, сущности рассказа, была сочтена за *посягательство* и, какъ извѣстно, возбудила бурю и коллективные протесты, конечно, приостановившіе продолженіе рассказовъ. Все это было бы смѣшно, еслибъ не было дико. Но если до извѣстной степени еще объяснима *нетерпимость*, обнаруженная по отношенію къ воспоминаніямъ севастопольца, то по отношенію къ роману Толстого, выводящему на сцену не современниковъ, даже не отцовъ, а дѣдовъ, русскую жизнь, давнымъ давно вымершую, такая *нетерпимость* свидѣтельствуетъ только о низкомъ еще уровнѣ нашего общественнаго развитія.

Всякое талантливое произведеніе вноситъ свой вкладъ въ общественное сознаніе, потому что оно прежде всего глубоко правдиво; взятое изъ прошлой жизни, привязанное къ событіямъ исторической важности, оно просвѣтляетъ это сознаніе своею *поэтической правдой*, какъ просвѣтляетъ его *правдою фактической исторіи*.

Каковы бы ни были недостатки романа графа Толстого, но, въ смыслѣ просвѣтленія общественнаго сознанія, въ смыслѣ познанія недавняго, но исчезнувшего безвозвратно нашего прошлаго, о которомъ только что начинается лепетъ нашей исторіи, значеніе „Войны и Мира“ далеко не маловажно. Главный недостатокъ романа графа Толстого состоитъ въ умышленномъ или не умышленномъ забвеніи художественной азбуки, въ нарушеніи границъ возможности для поэтического творчества; авторъ не только силится одолѣть и подчинить себѣ исторію, но въ самодовольствѣ кажущейся ему побѣды, вноситъ въ свое произведеніе чуть не теоретическіе трактаты, т. е. элементъ безобразія въ художественномъ произведеніи, глину и кирпичъ д-бокъ мрамора и бронзы. Но, несмотря на это, изумляешься силѣ поэтического творчества въ авторѣ „Войны и Мира“, и прощаешь ему его дерзкую (или дѣтскую) смѣлость за ту высокую поэтическую правду, которою проникнуть весь романъ. Смѣлость, по пословицѣ, города беретъ; талантливая смѣлость гр. Толстого сдѣлала то, чего еще не сдѣлала исторія,—дала намъ книгу о жизни русскаго общества въ теченіи цѣлой четверти вѣка, представленной въ изумительно яркихъ образахъ. Конечно, графомъ Толстымъ не *послѣднее* слово сказано объ этой жизни; но ему принадлежитъ честь *перваго* слова, даже въ простомъ историческомъ смыслѣ, въ смыслѣ этнографическихъ этюдовъ, даже послѣ разныхъ *воспоминаній* и *записокъ*, послѣ исторіи Михайловскаго-Данилевскаго и Богдановича. Несомнѣнно, эти этюды не во всемъ безупречны; есть между ними не удававшіеся, слабые; но гдѣ же и у кого искать лучшихъ? У князя Виземскаго, Порова, Глинки?... Въ романѣ Загоскина „Рославлевъ“? Гдѣ наша литература 1812 года? много ли у насъ мемуаровъ, относящихся къ этому времени и вообще къ эпохѣ войнъ нашихъ съ Наполеономъ? Если же допустить игру праздными фразами и укорами, то позволительно спросить: почему же современники этой эпохи, еще и теперь здравствующие, не предупредили графа Толстого? Почему они послѣ него выступили съ своими тощими во-

споминаніями? Если имъ не по силамъ исторія или большой романъ изъ эпохи, въ которой они дѣйствовали, то на произведеіе, въ родѣ *Семейной Хроники* С. Т. Аксакова, неужели не хватило бы у нихъ силъ? Будьте же благодарны, господа, графу Л. Толстому, какъ благодарны ему русская литература: четвертью вѣка позже немислени романъ изъ эпохи 12-го года, въ родѣ „Войны и Мира“, потому что безвозвратно исчезнетъ одушевлявшій его духъ, плохо сохраняющійся въ мертвыхъ письменныхъ памятникахъ. Будьте справедливы, господа и не требуйте отъ одного человѣка непосильнаго и невозможнаго: вѣдь, графъ Л. Толстой не историкъ, хотя несомнѣнно, для написанія своего историческаго романа, онъ долженъ былъ если не собрать, то прочесть цѣлую бібліотеку книгъ, брошюръ, статей и пр., относящихся до изображенной имъ эпохи, на что, конечно, не всякій отважится. Какъ поэтъ, авторъ произведенія, вмѣщающаго дѣло съ поэтической, бытовой, а не біографической или стратегической правдой, графъ Толстой, по настоящему неподсуденъ нападающимъ на него противникамъ; но вступая съ ними ни въ какія пренія, онъ можетъ отослать ихъ къ Михайловскому-Даниленскому и Богдановичу, къ архивамъ и кладбищамъ.

Но и здѣсь, по отношенію художественной стороны романа, или точнѣе, по причинѣ безтолковой путаницы понятій о романѣ и исторіи, въ чемъ повинны всѣ бойцы противъ „Войны и Мира“, обвиненія, взводимыя ими на гр. Толстого, разлетаются прахомъ. Графъ Л. Толстой, изволите видѣть, будто-бы *оношляетъ* нашу прошлую жизнь, славную эпоху 12-го года будто-бы низводитъ съ пьедестала! Графъ Толстой, если-бы и захотѣлъ, не могъ-бы этого сдѣлать,—по свойству своего таланта, глубоко объективнаго, по самымъ крупнымъ недостаткамъ своего романа. Авторъ „Войны и Мира“—фаталистъ самый крайній. Что бы ни говорили объ этомъ и о странности его воззрѣній вообще, но его романъ, какъ цѣльное поэтическое созданіе, а не какъ рядъ болѣе или менѣе удавшихся картинъ, только и спасается отъ распадѣнія, благодаря этимъ крайно-

стамъ; фатумъ судьбы царить надъ всѣмъ произведеніемъ гр. Толстого, даетъ ему поэтическое единство, а изображаемой въ немъ жизни придаетъ *величавое*, эпическое теченіе. Гр. Толстой мастеръ анализировать, любить, пожать, пофилософствовать. Очень можетъ быть (и есть), что его философствованія неудачны, результаты его анализа ошибочны: очень можетъ быть, что военныя доблести, храбрость и т. п. не таковы; что битвы не такъ происходятъ въ дѣйствительности, что генералы и историческіе дѣятели повозвышеннѣе, попоэтичнѣе Толстовскихъ; но что же изъ этого? Послѣдній школьникъ знаетъ, что онъ читаетъ романъ, а не исторію, и что по книгѣ Толстого нельзя готовиться къ экзамену. *Кого* и съ чѣмъ такимъ пониманіемъ приводитъ Толстой, *восторженный*, въ послѣднемъ своемъ романѣ, эпикъ? На что и на кого онъ посягаетъ? Развѣ цѣлая, изображенная имъ эпоха не является грандіозной? Развѣ наши битвы съ французами не выходятъ у него, въ концѣ концовъ, дѣйствительными битвами гигантовъ? Развѣ щепетильность, а нерѣдко и суетность авторскаго анализа и присущій ему скептицизмъ ослабляютъ ту бодрость и свѣжесть духа, разлитая по всему произведенію, восторженнаго *духа эпохи*, намъ теперь мало понятнаго, вымершаго, но посомнѣнно существовавшего и превосходно схваченнаго гр. Толстымъ? Развѣ дремлющій и читающій романы Кутузовъ, опрыскивающій себя духами Наполеонъ и держащій въ рукахъ бисвитъ императоръ Александръ І-й, не герои, по истинѣ эпическіе герои колоссальной эпохи гр. Л. Н. Толстого? Въ то время, когда идемъ L'Empereur'a и Государя, мысль о маленькомъ человѣкѣ, обрызгивающемся духами, и о прекрасной личности, привѣтливо бросавшей съ балкона бисвиты, воодушевляетъ и поднимаетъ цѣлыя массы, когда дремлющій глазъ Кутузова является въ концѣ всерѣшающей судьбой, — развѣ читатель въ эту пору только и видитъ духи, бисвиты, снѣжіе глаза и жѣтающій спать насморкъ? Развѣ, наконецъ, весь строй романа гр. Толстого, такой высокій, при всемъ своемъ эпическомъ спокойствіи, не допустившій

во всемъ сочиненіи ни одной комической страницы, совѣстенъ съ какимъ-нибудь скорбнымъ или жалкимъ чувствомъ? Если же нужно говорить о патріотическомъ чувствѣ — въ періодъ говоренія, въ которомъ мы теперь проживаемъ, хотя, казалось недавно, мы доросли уже до неупотребленія ихъ всеу—патріотизмъ графа Толстого безконечно духовнѣе Кукольниковскаго, Загоскинскаго и иныхъ новѣйшихъ. Странная пора, когда приходится говорить о патріотизмѣ и *русскомъ направленіи* одного изъ талантливейшихъ представителей русской литературы!.. Не такъ думаютъ князь П. А. Вяземскій и графъ А. О. Ростопчинъ, сынъ Ростопчина московскаго, ополчившіеся противъ „Войны и Мира“ въ „Русскомъ Архивѣ“ — первый въ январской, послѣдній въ майской книжкѣ за этотъ годъ.

Князь Вяземскій сыплетъ на графа Толстого цѣлую кучу обвиненій и уликъ, прямыхъ и косвенныхъ; по словамъ князя, „Война и Миръ“ — протестъ противъ 1812 года, отрицаніе и униженіе исторіи, проявленіе нравственно-литературнаго матеріализма, — въ своемъ родѣ раскольникъ *Нитовицина*, опошленіе жизни, событій, общества и проч. и проч. Замѣчательно, что кн. Вяземскій не только стараго *Ростова*, но и *Белухова* причисляетъ къ людямъ пошлымъ, къ героямъ „Ревизора“ и „Мертвыхъ душъ“; но еще замѣчательнѣе, что романъ „Войну и Миръ“ онъ считаетъ чуть не сатирическимъ произведеніемъ, добродушно совѣтуя автору не оставаться на лощинахъ и плоскостяхъ: „потрудитесь“, говоритъ князь, „всходить на пригорки, и насъ самихъ взводите на нихъ. Тамъ воздухъ чище, благообразнѣе; тамъ болѣе свѣта; тамъ небосклонъ обширнѣе; тамъ яснѣе и дальше смотришь и пр.“. Но кто же виноватъ, что князь Вяземскій не захотѣлъ взойти на пригорокъ выѣсть съ графомъ Толстымъ, именно стоящимъ не на лощинахъ и плоскостяхъ? Тогда бы онъ непременно замѣтилъ; что историческое міросозерцаніе Толстого (а слѣдовательно и выходящій изъ него патріотизмъ) принадлежитъ къ Карамзинской, такъ хорошо знакомой князю школѣ; по-крайней-мѣрѣ оно, во всякомъ случаѣ, безконечно

и превозрѣнія писателей псевдопатріотическихъ, прежнихъ и современныхъ, отъ Н. В. Кукольника до г. Всеволода Крестовскаго включительно! Странно, наконецъ, что кн. Вяземскій, самъ маститый поэтъ и литераторъ, другъ Пушкина и Гоголя, позабываетъ, что писатели, подобные Тургеневу, Гончарову и Толстому, суть выразители не отрицательнаго, а положительнаго направленія, о которомъ такъ искренно толковалъ Гоголь! Они идутъ не въ слѣдъ за нами, а по той дорогѣ, на которой онъ заблудился. Смыслъ думать, что по патріотическому воодушевленію къ прошлому, на что бьетъ кн. Вяземскій, гр. Толстой, notwithstanding на объективный характеръ его дарованія, развѣ мало чѣмъ уступаетъ Гоголю, какъ автору „Тараса Бульбы“; притомъ же, если кто захочетъ слышать въ этомъ отношеніи повѣсть Гоголя и романъ Толстого, не слѣдуетъ забывать громаднхъ размѣровъ второго и близости къ намъ изображенной въ немъ эпохи, т. е. самыхъ неблагопріятныхъ для свободнаго творчества условій.

Гр. А. О. Ростопчинъ уже безъ всякихъ околпчностей приближаетъ графа Толстого въ неблагонамѣренности: „Какъ русскій“ (еще бы! конечно, не якутъ), благодарю его (кн. П. А. Вяземскаго), пишетъ онъ въ послѣдней книжкѣ „Русск. Архива“, за то, что онъ заступился за память осмѣянныхъ и оскорбленныхъ отцовъ нашихъ, изъявляя ему сердечную признательность за его стараніе возстановить истину о моемъ отцѣ, характеръ котораго такъ искаженъ у графа Толстого“. Чѣмъ же, однако, искаженъ въ „Войнѣ и Мирѣ“ характеръ Ростопчина московскаго? Не тѣмъ ли, что эта дѣйствительно крупная личность той эпохи представляется маленькой и вертлявой, не сходящей съ ходуль, и что дремлющая фигура Кутузова ее давитъ? Но, вѣдь, съ фаталистической точки зрѣнія автора, посреди грозныхъ образовъ его судьбы и предопредѣленія, не одинъ Ростопчинъ, но и всѣ фигуры кажутся мелкими, и самые размѣры величайшихъ событій суживаются, пожалуй, до прозаической правды — что происходитъ вовсе не отъ камердинерскаго воззрѣнія на господъ, о чемъ намекаетъ кн. Вяземскій въ

своей статьѣ, не отъ нягилистическихъ отношеній къ прошлому автора „Войны и Мира“. Гр. А. О. Ростопчинъ искаженіе характера своего отца, можоть быть, видитъ въ томъ, что Толстой не поставилъ его выше Кутузова, не обставилъ сцены умерщвленія Верещагина такими же поэтическими декораціями, какъ, напримѣръ, смерть князя Андрея Болконскаго? Тогда, — это другое дѣло. Тогда почтенному графу или самому надобно засѣсть за исторію и доказать, что верещагинское дѣло есть патріотическій подвигъ, актъ необычайнаго величія духа, или попросить объ этомъ генерала Богдановича; ибо призываемый пмъ на судъ авторъ романа „Войны и Мира“ на вопросы:—почему ты не воспѣлъ отцу моему гимна за верещагинское дѣло? почему въ фактѣ убіенія Верещагина не узрѣлъ ничего грандіознаго, римскаго?—какъ правдивый художникъ, графъ Толстой иначе ничого не можетъ сказать, какъ: — не могъ! Можетъ быть, покойные Загоскинъ и Кукольникъ сдѣлали бы по желанію гр. А. О. Ростопчина; конечно, историкъ новѣйшаго времени не нарисуетъ, подобно романпсту блѣдой фигуры въ лисьей шубѣ, стусевывающей и уничтожающей личность графа О. В. Ростопчина; конечно, правдиво и реально онъ оцѣнитъ дѣятельность московскаго главнокомандующаго; но темнаго пятна верещагинскаго дѣла уже ни какъ не станетъ смывать съ его памяти — и не смоешь! Бѣдный, повторяемъ, авторъ „Войны и Мира!“ Ну что если еще ополчатся противъ него потомки Багратиона. Барклая, Ростовы, Курагины, Безухіе!... Бѣдное русское самосознаніе и восхваляемая терпимость!..

Князь Вяземскій посвящаетъ, какъ извѣстно, нѣсколько неблаговолительныхъ стиховъ памяти Бѣлинскаго, напечатанныхъ, впрочемъ, послѣ его смерти.

Бѣлинскій умеръ; живъ Бѣлинскій!
Его не пресѣкаемъ родъ!

восклицаетъ князь. О вкусахъ, конечно, не спорять; мы охотно вѣримъ, что князь Вяземскій не поминаетъ „зломъ и лихомъ его (Бѣлинскаго) журнальной кутерьмы“. Но будь

живы: Бѣлинскій, Грановскій, вообще люди, создавшіе у насъ европейски—просвѣщенное, цивилизующее направле-
ніе (конечно, русское, ибо другого китайскаго, напримѣръ, они создать не могли), немислимы были бы многія изъ со-
временныхъ явленій, не позабылась бы такъ скоро азбука
чуть не первичной цивилизаціи. Толки о романѣ гр. Тол-
стого, въ смыслѣ укоровъ въ *послѣдствѣхъ, искаженій*
и *низведеній* и въ безсмысленномъ смѣшеніи поэзіи съ исто-
ріей и стратегіей, мы иначе не считаемъ, какъ забвеніемъ
задовъ, понятнымъ шагомъ на пути прогресса... Послѣ
нихъ, можно до всего договориться: можно провозглашать,
напримѣръ, что гг. Кельсіевъ и Всеволодъ Крестовскій
благонамѣренно-патріотическіе писатели, а графъ Л. Н.
Толстой—обличитель неблагонамѣренный и притомъ же—
нигилистъ *)!

Изъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» 1869 г. Статья М. Де-Пуле.

* *

**) Въ апрѣльской книжкѣ „Русскаго Вѣстника“ присяж-
ный рецензентъ его, г. Щебальскій, удостоилъ причислить
къ числу нигилистовъ гр. Л. Н. Толстого за его романъ.
Вѣроятно, графу Толстому покажется такое причисленіе
крайне курьезнымъ, ибо графъ въ „Войнѣ и Мирѣ“ обна-
ружилъ все возможное, но только не нигилизмъ, въ томъ
смыслѣ, какой придается нигилизму извѣстной частью на-
шего общества и литературы. Графъ высказывается въ
своёмъ романѣ за торжество семейныхъ принциповъ, уня-
чтожаетъ значеніе и важность политическихъ стремленій,
проповѣдуетъ бесплодность гордыхъ теорій разума, пропо-
вѣдуетъ безсиліе человѣческой личности передъ волей руко-
водящаго промысла—и вотъ за все это его обзываютъ ни-
гилистомъ, т. е. отрицателемъ, разрушителемъ въ нѣкото-
ромъ родѣ! Удивительные рецензенты и критики въ органѣ

*) До этого дѣйствительно договорился г. Щебальскій въ послѣдней книжкѣ „Русскаго Вѣстника“. (Примѣч. ред.).

**) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1869 г., № 145. Отрывокъ изъ фелье-
тона З. (В. Буренина), подъ заглавіемъ „Журналистика“.

г. Каткова! г. Щобальскій какъ критикъ, уже не въ первый разъ высказываетъ удивительныя вещи. Но такъ давно онъ разбиралъ стихотворенія г. Тютчева, и желая доказать, что этотъ поэтъ отвѣчаетъ въ своихъ произведеніяхъ даже требованіямъ *полезности*, привелъ его извѣстную пьесу: „Пошли Господь свою отраду“, какъ такую, которая имѣетъ свойство побуждать читателей къ подаянію нищимъ! Кто бы могъ приписать такое значеніе художественному творчеству г. Тютчева, кто бы могъ придумать, что его стихотворенія есть въ нѣкоторомъ родѣ важное средство для возбужденія и поддержанія благотворительности? Но г. Щобальскій придумалъ это, и не только придумалъ, но и напечаталъ съ такою же смѣлостью, какъ печатаетъ теперь о принадлежности графа Толстого къ числу нигилистовъ. Впрочемъ, обвиненію въ нигилизмъ вся и всѣхъ, по всей вѣроятности, любимый конекъ г. Щобальскаго, и его строго судить за высказываніе подобныхъ обвиненій не подобаетъ, потому что у всякаго присяжнаго журнальнаго поставщика такъ—называемыхъ текущихъ статей есть непременно какой-нибудь конекъ.

Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ 1869 года.

* * *

*) Комаръ съ дубу свалился,
Великій шумъ приключился!

Читатель, прости великодушно, что мы, чуть-ли не въ десятый разъ говоримъ объ этомъ безсмертномъ произведеніи графа Толстого... Не говорили-бы о немъ, еслибы поклонники его сіятельства не поспѣли съ этимъ романомъ, какъ съ писаной торбой. Покойный А. С. Норовъ, князь П. А. Вяземскій, кажется, ясно указали на темныя (даже и просто грязныя) стороны этой современной Толемахиды; графъ А. Ѳ. Ростопчинъ, въ справедливомъ негодованіи на искаженія въ описаніи характера его отца, протестовалъ

*) „Петербургская Газета“ 1869 г., № 77. Статья П. П., подъ заглавіемъ: „Послѣднее слово о Войнѣ и Мирѣ“.

противъ безцеремонности автора „Войны и Миръ“. Казалось-бы сеидамъ гр. Толстого оставалось молча восхищаться его произведеніемъ... Ничуть не бывало! Ничтожество, до котораго низвелъ гр. Толстой героевъ 1812 года, на стѣны лѣзетъ, желая доказать, что всѣ критики „Войны и Мира“ заблуждаются, и что это произведение гениальнѣйшее изъ гениальнѣйшихъ. Въ № 144-мъ. „С.-Петербур. Вѣдом.“ (словае тахіма крикуновъ и задорешекъ) защитникомъ гр. Толстого явился нѣкій Monsieur de Poulet (въ русскомъ переводѣ цыпленокъ), сплящійся доказать, что кн. *Вяземскій* находится въ крайнемъ заблужденіи на счетъ гр. Толстого, а что гр. А. О. Ростоичинъ требуетъ отъ автора, гимна въ честь своего отца, за верещагнское дѣло. Г. de-Poulet заключаетъ свою филиппику опасеніемъ за гр. Толстого, „если еще ополчатся противъ него потомки Багратиона, Барклая, Ростоны (?) Курагины (?) и Безухіе (?)!“. Успокойтесь, г. де-Пуле, успокойтесь: послѣдніе три фамиліи изобрѣтены авторомъ „Войны и Мира“, и не ополчатся на своего родителя. Въ случаѣ же нападенія на гр. Толстого какого нибудь *Безугаю*, онъ можетъ смѣло расчитывать на заступничество цѣлаго легіона *внслухихъ*.

Повторяемъ, циническая статья г. де-Пуле, не стояла бы, конечно, и отвѣта, еслибъ онъ не вызвалъ насъ на маленькое замѣчаніе слѣдующими строками: „съ посягательствомъ же или посягновеніемъ нельзя шутить,—какъ доказалъ недавній еще примѣръ одного изъ защитниковъ *) Сенаstopoli, помѣстившаго въ „Русскомъ Архивѣ“ живой **) рассказъ о достопамятномъ времени осады этого города. Но *попытка* автора, представить Корнилова и Нахимова съ будничной стороны ихъ жизни, обыкновенными смертными была сочтена за *посягательство* и, какъ извѣстно, возбудила бурю и коллективные протесты, конечно ***) приостановившіе продолженіе рассказовъ. *Все это было-бы смѣшно, если бъ не было дико*“.

*) Къ сожалѣнію и несчастію ихъ.

**) Нѣтъ, не *живой*: а скажите лучше, *пожарящій мертвыхъ* и бросающій грязью на могилы героевъ.

***) И слава Бору!

Эту послѣднюю фразу мы возвращаемъ вамъ, г. де-Пуле, съ напоминаніемъ (если у насъ такъ коротка память), что честь почина (или, по вашему, инициативы) коллективнаго протеста на пасквиль, напечатанный въ „Русскомъ Архивѣ“, принадлежить редакціи „Петерб. Газеты“, и что въ главѣ подписавшихъ протестъ были имена людей, до которыхъ не дорости, не только вамъ—но и гениальному автору „Войны и Мира“. Тогда мы искренно сожалѣли, что между защитниками Севастополя выискался *одинъ*, не постыдившійся поднять руку на лавры нашихъ незабвенныхъ Корнилова и Нахимова, а теноръ приходится пожалѣть гр. Толстого, въ средѣ поклонниковъ котораго явился такой неловкій защитникъ, каковъ г. де Пуле.

Изъ „Петербургской Газеты“ 1869 г. Статья II. II.

* * *

*) Въ 1868 году появилось одно изъ лучшихъ произведеній нашей литературы, „Война и Миръ“. Успѣхъ его былъ необыкновенный. Давно уже ни одна книга не читалась съ такою жадностію. Притомъ, это былъ успѣхъ самаго высокаго разряда. „Войну и Миръ“ внимательно читали не только простые любители чтенія, до сихъ поръ восхищающіеся Дюма и Февалемъ, но и самые изыскательные читатели,—тѣ, имѣющіе основательное или неосновательное притязаніе на ученость и образованность; читали даже тѣ, которые вообще презираютъ русскую литературу, и ничего не читаютъ по-русски. И такъ какъ кругъ нашихъ читателей съ каждымъ годомъ возрастаетъ, то вышло, что ни одно изъ нашихъ классическихъ произведеній,—изъ тѣхъ, которыя не только имѣютъ успѣхъ, но и заслуживаютъ успѣха,—не расходилось такъ быстро и въ такомъ количествѣ экземпляровъ, какъ „Война и Миръ“. Присовокупимъ къ этому, что еще ни одно изъ замѣчательныхъ произведеній нашей литературы не имѣло такого большого объема, какъ новое произведеніе гр. Л. II. Толстого.

*) Н. Страховъ. Отрывокъ изъ обширной статьи его, напечатанной въ „Зарѣ“ 1869 года.

Приступимъ же прямо къ анализу совершившагося факта. Успѣхъ „Войны и Мира“ есть явленію чрезвычайна простое и отчетливое, не заключающее въ себѣ никакой ложности и запутанности. Этого успѣха нельзя приписать никакимъ побочнымъ, постороннимъ для дѣла причинамъ. Гр. Л. Н. Толстой не старался увлечь читателей ни какими-нибудь запутанными и таинственными приключеніями, ни описаніемъ грязныхъ и ужасныхъ сценъ, ни изображеніемъ страшныхъ душевныхъ мукъ, ни, наконецъ, какими-нибудь дерзкими и новыми тенденціями, — словомъ, ни однимъ изъ тѣхъ средствъ, которыя дразнятъ мысль или воображеніе читателей, болѣзненно раздражаютъ любопытство картинами неизвѣданной и неиспытанной жизни. Ничего не можетъ быть проще множества событій, описанныхъ въ „Войнѣ и Мирѣ“. Всѣ случаи обыкновенной семейной жизни, разговоры между братомъ и сестрой, между матерью и дочерью, разлука и свиданіе родныхъ, охота, сватки, мазурка, игра въ карты и пр., — все это съ такою же любовью возведено въ перлъ созданія, какъ и Бородинская битва. Простые предметы занимаютъ въ „Войнѣ и Мирѣ“ такъ же много мѣста, какъ, напримѣръ, въ „Евгеніи Онегинѣ“ безсмертные описанія жизни Парныхъ, зпмы, весны, поѣздки въ Москву и т. п.

Правда, рядомъ съ этимъ гр. Л. Н. Толстой выводитъ на сцену великія событія и лица огромнаго историческаго значенія. Но никакъ нельзя сказать, чтобы именно этимъ былъ возбужденъ общій интересъ читателей. Если и были читатели, которыхъ привлекло изображеніе историческихъ явленій, или даже чувство патріотизма, то, безъ всякаго сомнѣнія, было не мало и такихъ, которые вовсе не любили искать исторіи въ художественныхъ произведеніяхъ, или же сильнѣйшимъ образомъ вооружены противъ всякаго подкупа патріотическаго чувства, и которые, однако-же прочли „Войну и Миръ“ съ живѣйшимъ любопытствомъ. Замѣтимъ мимоходомъ, что „Война и Миръ“ вовсе не есть историческій романъ, т. е., вовсе не имѣетъ въ виду дѣлать изъ историческихъ лицъ романтическихъ героевъ и,

разсказывая ихъ похождения, соединять въ себѣ интересъ романа и исторіи.

И такъ, дѣло чистое и ясное. Какія бы цѣли и намѣренія ни были у автора, какихъ бы высокихъ и важныхъ предметовъ онъ ни касался, успѣхъ его произведенія зависитъ не отъ этихъ намѣреній и предметовъ, а оттого что онъ сдѣлалъ, руководясь этими цѣлями и касаясь этихъ предметовъ, то есть, отъ *высокаго художественнаго выполнения*.

Если гр. Л. Н. Толстой достигъ своихъ цѣлей, если онъ заставилъ всѣхъ вверить глаза на то, что занимало его душу, то только потому, что исполнилъ своимъ орудіемъ, искусствомъ. Въ этомъ отношеніи примѣръ „Войны и Мира“ чрезвычайно поучителенъ. Рѣдва-ли многіе отдали себѣ отчетъ въ мысляхъ, руководившихъ и одушевлявшихъ автора, но всѣ одинаково поражены его творчествомъ. Люди, приступавшіе къ этой книгѣ съ предвзятыми взглядами, — съ мыслию найти противорѣчіе своей тенденціи, или ея подтвержденіе, — часто недоумѣвали, не успѣвали рѣшить, что имъ дѣлать — негодовать или восторгаться, но всѣ одинаково признавали необыкновенное мастерство загадочнаго произведенія. Давно уже искусство не обнаруживало въ такой степени своего всеобщаго, неотразимаго дѣйствія.

Но художественность не дается даромъ. Да не подумаетъ кто-нибудь, что она можетъ существовать отдѣльно отъ глубокихъ мыслей и глубокихъ чувствъ, — что она можетъ быть явленіемъ по серіознымъ, не имѣющимъ важнаго смысла. Въ этомъ случаѣ нужно отличать истинную художественность отъ ея фальшивыхъ и уродливыхъ формъ. Попробуемъ анализировать творчество, обнаружившееся въ книгѣ гр. Л. Н. Толстого, и мы увидимъ, какая глубина лежитъ въ его основаніи.

Чѣмъ всѣ были поражены въ „Войнѣ и Мирѣ“? Конечно, объективностію, образностію. Трудно представить себѣ образы болѣе отчетливые, — краски болѣе яркія. Точно видишь все то, что описывается, и слышишь, всѣ звуки того, что совершается. Авторъ ничего не рассказываетъ

отъ себя: онъ прямо выводитъ лица и заставляетъ ихъ говорить, чувствовать и дѣйствовать, при чемъ каждое слово и каждое движеніе вѣрно до изумительной точности, то есть, вполне носитъ характеръ лица, которому принадлежитъ. Какъ будто имѣешь дѣло съ живыми людьми, и притомъ видишь ихъ гораздо яснѣе, чѣмъ умѣешь видѣть въ дѣйствительной жизни. Можно различать не только образъ выраженій и чувствъ каждаго дѣйствующаго лица, но и манеры каждаго, любимыя жесты, походку. Важному князю Василию пришлось однажды, въ необыкновенныхъ и трудныхъ обстоятельствахъ, пройти на цыпочкахъ; авторъ въ совершенствѣ знаетъ, какъ ходитъ каждое изъ его лицъ. „Князь Василій, говоритъ онъ, не умѣлъ ходить на цыпочкахъ, и неловко подпрыгивалъ всѣмъ тѣломъ“ (Т. 1-й, стр. 115). Съ такою же ясностію и отчетливостію авторъ знаетъ всѣ движенія, всѣ чувства и мысли своихъ героевъ. Когда онъ разъ вывелъ ихъ на сцену, онъ уже не вмѣшивается въ ихъ дѣла, но помогаетъ имъ, предоставляя каждому изъ нихъ вести себя сообразно со своею натурой.

Изъ того же стремленія соблюсти объективность происходитъ, что у гр. Толстого нѣтъ картинъ, или описаній, которыя онъ дѣлалъ бы отъ себя. Природа у него является только такъ, какъ она отражается въ дѣйствующихъ лицахъ; онъ не описываетъ дуба, стоящаго среди дороги, или лунной ночи, въ которую не спалось Наташѣ и князю Андрею, а описываетъ то впечатлѣніе, которое этотъ дубъ и эта ночь произвели на князя Андрея. Точно такъ, битвы и событія всякаго рода рассказываются не по тѣмъ понятіямъ, которыя составилъ себѣ о нихъ авторъ, а по впечатлѣніямъ лицъ, въ нихъ дѣйствующихъ. Шенграбенское дѣло описано большею частію по впечатлѣніямъ князя Андрея; Аустерлицкая битва—по впечатлѣніямъ Николая Ростова; пріѣздъ императора Александра въ Москву изображенъ въ волненіяхъ Пети, и дѣйствіе молитвы о спасеніи отъ нашествія—въ чувствахъ Наташи. Такимъ образомъ, авторъ нигдѣ не выступаетъ изъ за дѣйствующихъ лицъ и рисуетъ событія не отвлеченно, а, такъ сказать, плотью

и кровью тѣхъ людей, которые составляли собою матеріалъ событій.

Въ этомъ отношеніи „Война и Миръ“ представляетъ истинныя чудеса искусства. Схвачены не отдѣльныя черты, а цѣликомъ—та живая атмосфера, которая бываетъ различна около различныхъ лицъ и въ разныхъ слояхъ общества. Самъ авторъ говоритъ о *любвонной и семейной атмосферѣ* дома Ростовыхъ; но припомните другія изображенія того же рода: атмосфера, окружавшая Сперанскаго; атмосфера, господствовавшая около *дядюшки* Ростовыхъ; атмосфера театральной залы, въ которую пошла Наташа; атмосфера военнаго госпиталя, куда зашелъ Ростовъ, и пр. и пр. Лица, вступающія въ одну изъ этихъ атмосферъ или переходящія изъ одной въ другую, неизбежно чувствуютъ ихъ вліяніе, и мы переживаемъ его мѣстѣ съ ними.

Такимъ образомъ достигнута высшая степень объективности, т. е., мы не только видимъ передъ собою поступки, фигуру, движенія и рѣчи дѣйствующихъ лицъ, но и вся ихъ внутренняя жизнь предстаетъ передъ нами въ такихъ же отчетливыхъ и ясныхъ чертахъ; ихъ душа, ихъ сердце ничѣмъ не заслоняются отъ нашихъ взоровъ. Читая „Войну и Миръ“, мы въ полномъ смыслѣ слова *созерцаемъ* тѣ предметы, которые избралъ художникъ.

Но что же это за предметы? Объективность есть общее свойство поэзіи, которое должно всегда въ ней присутствовать, какіе бы предметы она ни изображала. Самыя идеальныя чувства, самая высокая жизнь духа должны быть изображаемы объективно. Пушкинъ совершенно объективенъ, когда воспоминаетъ о *нѣкоторой величавой женѣ*; онъ говоритъ:

Бѣ чела я помню покрывало
И очн, свѣтлыя, какъ небеса.

Онъ слышалъ ея голосъ:

Пріятнымъ, сладкимъ голосомъ, бывало,
Съ младенцами бесѣдуетъ она.

Точно такъ, онъ вполне объективно изображаетъ ощущенія „Пророка“:

И внялъ я неба содроганье,
 И горній ангеловъ полетъ,
 И гадъ морскихъ подводный ходъ,
 И дольней лозы прозябанье.

Объективность гр. Л. Н. Толстого, очевидно, обращена въ другую сторону, — не на идеальные предметы, а на то, что мы противопоставляемъ идеалу, — на такъ называемую дѣйствительность, на то, что не достигаетъ идеала, уклоняется отъ него, противорѣчить ему и, однакоже, существуетъ, какъ бы свидѣтельствуя о его безсиліи. Гр. Л. Н. Толстой есть *реалистъ*, то есть принадлежитъ къ давно господствующему и весьма сильному направленію нашей литературы. Онъ глубоко сочувствуетъ стремленію нашихъ умовъ и вкусовъ къ реализму, и его сила заключается въ томъ, что онъ умѣетъ вполне удовлетворить этому стремленію.

Въ самомъ дѣлѣ, реалистъ онъ волюнтаристичный. Можно подумать, что онъ не только изображаетъ свои лица съ неподкупной вѣрностію дѣйствительности, а какъ будто даже умышленно совлекаетъ ихъ съ идеальной высоты, на которую мы, по вѣчному свойству человеческой природы, такъ охотно и легко ставимъ людей и событія. Безжалостно, безпощадно гр. Л. Н. Толстой обнаруживаетъ всѣ слабыя стороны своихъ героев; онъ не утаиваетъ ничего, не останавливается ни передъ чѣмъ, такъ что наводитъ даже страхъ и тоску о несовершенствѣ человѣка. Многія чувствительныя души не могутъ, напр., переварить мысли объ увлеченіи Наташи Курагинымъ; не будь этого, — какой вышелъ бы прекрасный образъ, нарисованный съ изумительной правдивостію; но поэтъ-реалистъ безпощаденъ.

Если смотрѣть на „Войну и Миръ“ съ этой точки зрѣнія, то можно принять эту книгу за самое ярое *обличеніе* александровской эпохи, — за неподкупное разоблаченіе всѣхъ язвъ, которыми она страдала. Обличены — своскорыстіе, пустота, фальшивость, развратъ, глупость тогдашняго высшего круга; бессмысленная, лѣнивая, обжорливая жизнь московскаго общества и богатыхъ помѣщиковъ, въ родѣ Ро-

стовыхъ; затѣмъ, величайшіе безпорядки вездѣ, особенно въ арміи, во время войнъ; повсюду показаны люди, которые, среди крови и битвъ, руководятся личными выгодами и приносятъ имъ въ жертву общее благо; выставлены страшныя бѣдствія, происходившія отъ несогласія и мелочного честолюбія начальниковъ, — отъ отсутствія твердой руки въ управленіи; выведена на сцену цѣлая толпа трусовъ, подлецовъ, воровъ, развратниковъ, шулеровъ; ярко показана грубость и дикость народа (въ Смоленскѣ мужъ, бьющій жену; бунтъ въ Богучаровѣ).

Такъ что еслибы кто нибудь издумалъ написать по поводу „Войны и Мира“ статью, подобную статьѣ Добролюбова „Темное царство“, то нашелъ бы въ произведеніи гр. Л. Н. Толстого обильные матеріалы для этой темы. Одинъ изъ писателей, принадлежащихъ къ заграничному отдѣлу нашей литературы, П. Огаревъ, когда-то подвелъ всю нашу нынѣшнюю литературу подъ формулу обличенія, — именно сказалъ, что Тургеневъ есть обличитель помещиковъ, Островскій — кунцовъ, а Некрасовъ — чиновниковъ. Слѣдуя такому взгляду, мы могли бы порадоваться появленію новаго обличителя и сказать: гр. Л. Н. Толстой есть обличитель военныхъ, — обличитель нашихъ воинскихъ подвиговъ, нашей исторической славы.

Весьма знаменательно, однако, что подобный взглядъ нашелъ себѣ только слабо отголоски въ литературѣ — явное доказательство, что самые пристрастные глаза не могли не видѣть его несправедливости. Но что подобный взглядъ возможенъ, на это мы имѣемъ драгоцѣнное историческое свидѣтельство; одинъ изъ участниковъ войны 1812 года, ветеранъ нашей литературы, А. С. Поровъ, увлеченный пристрастіемъ, внушающимъ къ себѣ невольное и глубокое уваженіе, принялъ гр. Л. Н. Толстого за обличителя. Вотъ подлинныя слова А. С. Порова.

„Читатели поражены, при первыхъ частяхъ романа („Война и Миръ“), сначала грустнымъ впечатлѣніемъ представленнаго имъ въ столицѣ пустого и почти безразличнаго высшаго круга общества, но, вмѣстѣ съ тѣмъ,

„имѣющаго вліаніе на правительство; а потомъ, отсутствіемъ всякаго смысла въ военныхъ дѣйствіяхъ и едва не отсутствіемъ военныхъ доблестей, которыми всегда такъ справедливо гордилась наша армія“. „Громкій славою 1812 годъ, какъ въ военномъ, такъ и въ гражданскомъ быту представленъ намъ мыльнымъ пузыремъ; цѣлая фаланга нашихъ генераловъ, которыхъ боевая слава прикована къ нашимъ военнымъ лѣтописямъ, и которыхъ имена переходятъ доселѣ изъ устъ въ уста новаго военного поколения, будто бы составлена была изъ бездарныхъ, слѣпыхъ орудій случая, дѣйствовавшихъ иногда удачно, и объ этихъ даже ихъ удачахъ говорится только мелькомъ и часто съ проніею. Неужели таково было наше общество, неужели такова была наша армія?“ „Будучи въ числѣ очевидцевъ великихъ отечественныхъ событій, я не могъ безъ оскорбленнаго патріотическаго чувства дочитать этотъ романъ, имѣющій претензію быть историческимъ“ *).

Какъ мы сказали, эта сторона произведенія гр. Л. Н. Толстого, столь больно затронувшая А. С. Норова, не произвела замѣтнаго впечатлѣнія на большинство читателей. Отчего же? Оттого, что ее слишкомъ сильно заслоняли другія стороны произведенія, — что на первый планъ выступали въ немъ другіе мотивы, болѣе поэтическаго свойства. Очевидно, гр. Л. Н. Толстой изображалъ темныя черты предметовъ не потому, чтобы желалъ ихъ выставить на видъ, а потому, что хотѣлъ изображать предметы вполнѣ, со всѣми ихъ чертами, слѣдовательно, и съ темными. Цѣлью его была *правда* въ изображеніи, — неизмѣнная вѣрность дѣйствительности, и эта-то правдивость и приковывала къ себѣ все вниманіе читателей. Патріотизмъ, слава Россіи, нравственные правила, — все забывалось, все отходило на задній планъ передъ этимъ реализмомъ, выступившимъ во всеоружіи. Читатель жадно слѣдилъ за этими картинами; какъ будто художникъ, ничего не проповѣдуя, никого не

*) „Война и Миръ“ (1805—1812) съ исторической точки зрѣнія и по соопоставленіямъ современника. По поводу сочиненія графа Л. Н. Толстого „Война и Миръ“. А. С. Норова. Сиб. 1868 стр. 1 и 2.

обличія, подобно нѣкоторому волшебнику, переносилъ ея изъ одного мѣста въ другое, и давалъ ему самому видѣть, что тамъ дѣлалось.

Все ярко, все образно и, въ то же время, все реально, все вѣрно дѣйствительности, какъ дагерротипъ или фотографія; вотъ въ чемъ сила гр. Л. Н. Толстого. Чувствуешь, что авторъ не хотѣлъ преувеличить ни темныхъ ни свѣтлыхъ сторонъ предметовъ, но хотѣлъ набросить въ нихъ никакого особеннаго колорита или эффектнаго освѣщенія, — что онъ всею душою стремился передать дѣло и его настоящее, дѣйствительное видѣ и свѣтъ, — вотъ, неодолимая прелесть, побуждающая самыхъ упорныхъ читателей! Да, мы, русскіе читатели, давно уже упорны въ отношеніи къ художественнымъ произведеніямъ, давно уже вооружены сильнѣйшимъ образомъ противъ того, что называется поэзіею, идеальными чувствами и мыслями; мы какъ будто потеряли способность увлекаться идеализмомъ въ искусствѣ, и упрямо упираемся противъ малѣйшаго смѣщенія въ эту сторону. Мы или не вѣримъ въ идеалъ, или (что гораздо вѣрнѣе, такъ какъ не вѣрить въ идеалъ можетъ частное лицо, но не народъ) ставимъ его такъ высоко, что не вѣримъ въ силу художества, — въ возможность какого-либо воплощенія идеала. При такомъ положеніи дѣла художеству осталась одна дорога — реализмъ; что вы сдѣлаете, чѣмъ вооружитесь противъ правды, — противъ изображенія жизни, какъ она есть?

Но реализмъ реализму рознь; искусство, въ сущности, никогда не отказывается отъ идеала, всегда стремится къ нему; и чѣмъ яснѣе и живѣе слышно это стремленіе и созданіяхъ реализма, тѣмъ они выше, тѣмъ ближе къ настоящей художественности. Немало у насъ людей, которые понимаютъ это дѣло грубо, именно — воображаютъ, что они должны для наилучшаго успѣха въ искусствѣ превратить свою душу въ простой фотографическій приборъ, и снимать въ него тѣ картинки, какія попадутся. Наша литература представляетъ множество подобныхъ картинокъ: за то простодушные читатели, воображавшіе, что передъ ними вы

ступаютъ дѣйствительно художники, немало потомъ удивлялись, видя, что изъ этихъ писателей ровно ничего не выходитъ. Дѣло, однако-же, понятное; эти писатели были вѣрны дѣйствительности не потому, чтобы она у нихъ ярко была озарена ихъ идеаломъ, а потому что сами не видѣли дальше того, что писали. Они стояли въ уровень съ тою дѣйствительностью, которую описывали.

Гр. Л. Н. Толстой не реалистъ-обличитель, но онъ и не реалистъ-фотографъ. Тѣмъ и дорого его произведеніе, въ томъ его сила и причина успѣха, что, удовлетворяя вполнѣ всѣмъ требованіямъ нашего современнаго искусства, онъ выполнилъ ихъ въ самомъ чистомъ ихъ видѣ, въ самомъ глубокомъ ихъ смыслѣ. Сущность русскаго реализма въ искусствѣ никогда еще не обнаруживалась съ такою ясностію и силою; въ „Войнѣ и Мирѣ“ онъ поднялся на новую ступень, вошелъ въ новый періодъ своего развитія.

Сдѣлаемъ еще шагъ въ характеристикѣ этого произведенія, и мы уже будемъ близко къ цѣли.

Въ чемъ заключается особенная, ярко выступающая черта таланта гр. Л. Н. Толстого? Въ необыкновенно тонкомъ и вѣрномъ изображеніи душевныхъ движеній. Гр. Л. Н. Толстого можно назвать по преимуществу *реалистомъ-психологомъ*. По прежнимъ своимъ произведеніямъ онъ давно извѣстенъ, какъ изумительный мастеръ въ анализѣ всякаго рода душевныхъ переживаній и состояній. Этотъ анализъ, разрабатываемый съ какимъ-то пристрастіемъ, доходилъ до мелочности, до неправильной напряженности. Въ новомъ произведеніи всѣ крайности ого отпали, и осталась вся его прежняя точность и проникательность; сила художника вышла свои предѣлы, и улеглась въ свои берега. Все вниманіе его устремлено на душу человѣческую. У него рѣдки, кратки и неполны описанія обстановки, костюмовъ, словомъ — всей внѣшней стороны жизни; но за то нигдѣ не упущено впечатлѣніе и вліяніе, производимое этою внѣшнюю стороною на душу людей, а главное мѣсто занимаетъ ихъ внутренняя жизнь, для которой внѣшняя служитъ только поводомъ или неполнымъ выраженіемъ. Малѣйшіе от-

тѣнки душевной жизни и самыя глубокія ея потрясенія изображены съ одинаковою отчетливостію и правдивостію. Чувство праздничной скуки въ Отраденскомъ домѣ Ростовыхъ и чувство всего русскаго войска въ самый разгаръ Бородинской битвы, молодыя душевныя движенія Наташи и волненія старика Болконскаго, теряющаго память и близкаго къ удару паралича, — все ярко, все живо и точно рассказъ г-на Л. Н. Толстого.

И такъ, вотъ гдѣ сосредоточивается весь интересъ автора, а, въ силу того, и весь интересъ читателя. Какъ бы огромныя и важныя событія ни происходили на сценѣ, будь-то это Кремль, захлебнувшійся народомъ, вслѣдствіе пріѣзда Государя, или свиданіе двухъ императоровъ, или страшная битва съ громомъ пушекъ и тысячами умирающихъ, — ничто не отвлекаетъ поэта, а вмѣстѣ съ нимъ и читателя, отъ пристального взглядыванія во внутренній міръ отдѣльныхъ лицъ. Художника какъ будто вовсе не занимаетъ событіе, а занимаетъ только то, какъ дѣйствуетъ при этомъ событіи человѣческая душа, — что она чувствуетъ и вноситъ въ событіе?

Спросите теперь себя, чего же ищетъ поэтъ? Какъ упорное любопытство заставляетъ его слѣдить за малѣйшими ощущеніями всѣхъ этихъ людей, начиная отъ Наполеона и Кутузова до тѣхъ малюпкихъ дѣвочекъ, которыхъ князь Андрей засталъ въ своемъ разоренномъ саду?

Отвѣтъ одинъ: художникъ ищетъ слѣдовъ красоты души человѣческой, — ищетъ въ каждомъ изображаемомъ лицѣ той искры Божіей, въ которой заключается человѣческое достоинство личности, — словомъ, старается найти и опредѣлить со всею точностію, какимъ образомъ и въ какихъ мѣрахъ идеальныя стремленія человѣка осуществляются въ дѣйствительной жизни.

И. Страховъ. Изъ „Зари“ 1869 г.

КРИТИКА СЕМИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

*) Историческій романъ едва ли не самый любимый родъ произведеній нашей публики въ настоящее время, если въ томъ романъ замѣтно хотя сколько-нибудь таланта, и если онъ не составляетъ перифраза учебниковъ. Чѣмъ ближе описываемая эпоха къ нашему времени, тѣмъ, разумѣется, болѣе интереса возбуждаетъ романъ, но даже и авторы романовъ изъ временъ давно минувшихъ не могутъ жаловаться на невниманіе публики. Даже князь Серебряный, касавшійся до нелзя избитой нашими писателями эпохи Іоанна Грознаго, прочтенъ рѣшительно всѣми. Такое же вниманіе, правда, минутное—у насъ все недолговѣчно—обратили на себя „Густавъ Эрховичъ“ Вольмана и „Гатчинская мاشкада“, отрывокъ изъ романа Кукольника, которому смерть помѣшала окончить его. Понятно, что еще болѣе интереса долженъ былъ возбудить романъ изъ эпохи царствованія Александра, эпохи сравнительно очень близкой къ намъ, но о которой—какъ и обо всемъ близко насъ касающемся—изъ публики обращаются только отрывочныя и одностороннія свѣдѣнія. Талантъ графа Толстого ручался въ томъ, что теперь эта эпоха предстанетъ предъ нами не въ сухомъ остоѣ военныхъ и административныхъ мѣръ, но въ живыхъ контурахъ монографій, указывавшихъ въ послѣднее время на нѣкоторыя ея стороны, а облеченная рукою поэта въ плоть и кровь. Первые томы романа оправдали эти ожиданія, и онъ далеко до своего окончанія былъ признанъ замѣчательнѣйшимъ произведеніемъ нашей литературы послѣдняго времени. Смѣлая обрисовка историческихъ личностей, вполне отрѣшенная отъ рутинности и казенности; эти эскизы, быть можетъ, и не советъ исторически

*) „Новороссійскій Телеграфъ“ 1870 г., № 12, 28, 33. „Война и Миръ“. Изд. гр. Л. Н. Толстого. Томъ шестой“. Статья А. Воиновичева.

иѣрные, но во всякомъ случаѣ мастерскіе и осмысленныя—Александра, Наполеона, императора Франца, Сперанскаго, Кутузова и пр.; оригинальныя, во многомъ поразительно вѣрныя и точныя мысли, картины такихъ явленій, какъ война, сраженіе, лагерный бытъ, о которыхъ у людей, никогда не бывшихъ близко къ театру войны, существуютъ самыя ложныя (я самыя вредныя по своимъ послѣдствіямъ) представленія, разнообразіе и рельефность характеровъ, начиная отъ Анны Павловны, этой реликвіи придворнаго міра, до скромнаго и робкаго Тушина или сколка съ павѣстной когда-то въ обществѣ личности Долохова,—все это заставляло людей, интересующихся успѣхами русской литературы, ожидать выхода каждаго тома сочиненія графа Толстого съ лихорадочнымъ любопытствомъ. Автора во многомъ и многіе упрекали, отчасти справедливо, напр., въ томъ, что иныхъ сторонъ эпохи онъ или вовсе не коснулся или смотрѣлъ на нихъ съ предвзятой точки зрѣнія; слышались на него и другого рода упреки, напр., упрекъ въ недостаткѣ патріотизма, выразившемся будто бы въ неблагоприятныхъ сужденіяхъ о Кутузовѣ, хотя, сказать мимоходомъ, автора скорѣе можно упрекнуть въ пристрастіи къ Кутузову, а романъ назвать апофеозомъ послѣдняго, принимая, разумѣется, въ расчетъ воззрѣнія автора на историческія личности. Но даже и эти упреки свидѣтельствовали о томъ значеніи, какое придавалось всѣмъ роману графа Толстого. Но съ пятымъ томомъ интересъ этотъ начинаетъ уменьшаться; несмотря на то, что въ этомъ томѣ есть нѣсколько живыхъ и мѣткихъ сценъ, какъ то, чувствуется, что творческая сила автора падаетъ, что непосредственный художникъ, даже въ чисто романтической части, уступаетъ мѣсто резонеру, а въ достоинство міросозерцанія графа Толстого публика имѣла мало довѣрія: всѣмъ памятна его повѣсть „Казаки“, въ которой рядомъ съ живымъ и художественнымъ изображеніемъ оригинальнаго быта и народа являлось возведеніе въ идеалъ безсмысленной, почти скотской жизни. Но какъ мы ни были приговорены найти 6-ой томъ хуже предыдущихъ, мы не ждали

такого фіаско. Изъ первой нашей статьи читатели видѣли наше мнѣніе о несостоятельности автора, какъ мыслителя, по въ 6-мъ томѣ онъ является также несостоятельнымъ, какъ художникъ, потому что характеры дѣйствующихъ лицъ ихъ не выдержаны, и еще болѣе по тѣмъ жалкимъ тенденціямъ, которыя авторъ хочетъ выдать намъ за идеалы семейной и общественной жизни. Что за несчастный строй нашей жизни, вслѣдствіе котораго наши лучшіе художники, то Гоголи, то Толстые, впадаютъ въ фатализмъ или мистицизмъ, и ради нихъ отказываются отъ разума!..

Романъ, какъ видно, сильно надобѣлъ графу, и онъ спѣшитъ съ нимъ покончить. Уморивъ еще въ предшествующихъ томахъ отца и сына Болконскихъ, Елену, Анатоля, онъ спѣшитъ въ началѣ 6-го тома покончить еще съ нѣсколькими: старикомъ Ростовымъ, младшимъ сыномъ его Андреемъ и др. Онъ оставляетъ въ живыхъ лица, которыя должны воплотить въ собѣ идеалы, повидимому, столь дорогие автору. Для этого его избранныки: Пьеръ Безуховъ, Наташа, княжна Марья, должны подготовиться путемъ долгого искуса.

Пьеръ, какъ извѣстно изъ 5-го тома, находился въ Москвѣ въ плѣну у французовъ. Отступая, они взяли его въ числѣ другихъ плѣнныхъ съ собою. Искушанный и измученный, съ босыми израненными ногами, онъ долженъ былъ о страшныхъ мученіяхъ идти за отрядомъ, такъ какъ поставленныхъ приказано было подстрѣливать. Но это испытаніе и было тѣмъ горниломъ очищенія, чрезъ которое долженъ былъ пройти Пьеръ. Особенно душеспасительна была для него бесѣда создана старичка, почти идіота, Каратаева, наканунѣ смерти послѣдняго (онъ не имѣлъ силъ идти, и былъ застрѣленъ). Бесѣда была не хитрая: Каратаевъ разказалъ анекдотъ о купцѣ, котораго невинно сослали въ Сибирь, потомъ узнали о его невинности; пришло прощеніе и награжденіемъ, но было уже поздно: „а его ужъ Богъ ростилъ—померъ“, закончилъ Каратаевъ, и долго, молча улыбаясь, смотрѣлъ передъ собою. Почему этотъ разказъ произвелъ на Пьера сильное и притомъ какое-то мисти-

чески благотворное дѣйствіе, догадаться трудно, но, по словамъ автора, Пьеръ совершенно переродился. Освобожденный изъ плѣна партизанами Денпсовымъ и Долоховымъ, онъ сталъ совершенно уже не тѣмъ, какимъ мы его знали. „Ахъ какъ славно, какъ славно!“ повторилъ онъ почувствовавъ себя на свободѣ и въ комфортной обстановкѣ. „То самое, чѣмъ онъ прежде мучился, говоритъ о немъ авторъ—чего онъ искалъ постоянно, цѣли жизни, теперь для него не существовало... онъ чувствовалъ, что ея нѣтъ и не можетъ быть. Онъ не могъ теперь имѣть цѣли потому—что онъ имѣлъ теперь вѣру, но вѣру ни въ какія-нибудь правила, или слова, или мысли, но вѣру въ живого, всегда опущаемаго Бога. Прежде онъ искалъ его въ цѣляхъ, которыя онъ ставилъ себѣ. Это исканіе цѣли было только исканіе Бога; и вдругъ онъ узналъ въ своемъ плѣну не словами, но разсужденіями, но непосредственнымъ чувствомъ то, что ему давно ужъ говорила нянюшка (sic): что Богъ—вотъ Онъ, тутъ, вездѣ“. Онъ въ плѣну узналъ, что Богъ въ Каратаевѣ болѣе великъ, безконеченъ и неопредѣлимъ, чѣмъ въ признаваемомъ масонами Архитектонѣ вселенной. Обращеніе на путь истинный, отъ нечестиваго исканія цѣли въ жизни къ благочестивому квиетизму, не могло тотчасъ же не принести добрыхъ плодовъ и не осѣнить мудростію довольно безалаберную голову Пьера даже въ дѣлахъ житейскихъ: „Прежде онъ находился въ недоумѣніи при каждомъ вопросѣ, касающемся его состоянія... теперь, къ удивленію своему, онъ нашелъ, что во всѣхъ этихъ вопросахъ не было больше сомнѣній и недоумѣній. Въ немъ теперь явился судья, по какимъ то неизвѣстнымъ ему самому законамъ рѣшавшій, что было нужно и чего не нужно дѣлать. Онъ былъ такъ же, какъ прежде, равнодушенъ къ денежнымъ дѣламъ; но теперь онъ зналъ, что должно сдѣлать и чего не должно. Первымъ приложеніемъ этого новаго судьи было для него просьба плѣннаго французскаго полковника, прішедшаго къ нему, много рассказывавшаго о своихъ подвигахъ и подъ конецъ заявившаго почти требованіе о томъ, чтобы Пьеръ далъ ему 4,000 франковъ

для отсылки жонѣ и дѣтямъ. Пьеръ божь малѣйшаго труда и напряженія отказалъ ему, удивляясь впоследствии, какъ было просто и легко то, что прежде казалось неразрѣшимо труднымъ“.

Видишь кто върутитъ, тепло ему на свѣтъ. Добродѣтели Пьера не остаются безъ награды. Онъ, какъ извѣстно, давно уже любилъ Наташу, но даже самому себѣ не смѣлъ признаться въ этой любви. Теперь онъ вдовъ, она потеряла своего жениха; принятствій къ браку никакихъ не было, и при встрѣчѣ ихъ въ Москвѣ авторъ въ первый же вечеръ заставляеть Наташу влюбиться въ Пьера. Бракъ этотъ, какъ и бракъ Николая Ростова съ княжной Марьей Болконской, есть въ глазахъ автора нѣчто въ родѣ обтравленной земли, гдѣ должны кончиться все жизненные требованія и сомнѣнія, разрѣшиться все задачи; потому то уступленіемъ къ нему долженъ быть, какъ мы сказали, долгій искусъ. Пленъ и бесѣды съ Каратаевымъ были очистиющими средствами для Пьера; такимъ же средствомъ для Наташи была болѣзнь князя Болконскаго, хожденіе за нимъ, смерть брата, наконецъ, уединенная жизнь съ княжной Марьей. Читатель готовъ подумать, что все это дѣйствительно развивающія средства; что бесѣда князя Андрея Болконскаго, смерть на ея рукахъ должны были потрясать, но благотвительно подѣйствовать на характеръ и понятія Наташи, должны были изъ живой, очаровательной, но легкомысленной дѣвочки сдѣлать женщину, полную глубокой мысли и трезваго чувства, способную управлять своими чувствами и съ разумнымъ, но теплымъ участіемъ относиться ко всемъ явленіямъ жизни. Все это должно бы быть, но автору заблагоразсудилось иное. Пьеръ, если помнить читатель, былъ другомъ князя Болконскаго, въ тяжелую для Наташи пору, послѣ ея попытки къ бѣгству съ Анатолемъ Курагинымъ и разрыва съ Болконскимъ, онъ явился и сдѣлался ея другомъ, самымъ преданнымъ, нѣжнымъ и заботливымъ. Понятно, что Наташа могла питать къ нему чувство очень теплое симпатіи, что мало-по-малу это чувство могло перейти въ другое, болѣе нѣжное и горячее, но

заставить Наташу влюбиться въ Пьера тотчасъ съ потерн-
 нѣмъ и опрометчивостію дѣвочки—большая безтактность въ
 художественномъ отношеніи, мало оправдываемая тѣмъ, что
 передъ новою любовью Наташа считала нужнымъ въ длин-
 номъ разсказѣ опорожнить свою душу отъ впечатлѣній,
 оставленныхъ въ ней Болконскимъ. „Только для чего-жъ
 въ Петербургѣ?“ черезъ чуръ наивно восклицаетъ она,
 когда княжна Марья сообщаетъ ей, что изъ почтенія къ
 памяти брата, столь недавно умершаго, она просила Пьера
 уѣхать на нѣкоторое время. Также наивно нѣсколько лѣтъ
 тому назадъ дѣвочка Наташа, въ то время невѣста Бол-
 конскаго, кричала: „подайте мнѣ его, мнѣ его нужно се-
 часъ“. Считаемо нужнымъ вообще замѣтить, что мы не
 вѣримъ 6-му тому романа графа Толстого. Тотчасъ по по-
 явленіи перваго тома въ столичныхъ кружкахъ ходили слухи,
 что для своего романа авторъ пользовался какими-то
 семейными воспоминаніями, что всѣ введенныя имъ лица
 не плодъ его фантазіи, а дѣйствительно существовавшіе, и
 что фамиліи ихъ слегка замаскированы перемѣной нѣкото-
 рыхъ буквъ. Если не ошибаемся, авторъ опровергалъ гдѣ-
 то въ журналѣ реальность героевъ своего романа вообще,
 хотя и соглашался, что нѣкоторые изъ нихъ какъ, напр.
 Денисовъ и, кажется, Долоховъ, лица хорошо веѣмъ по-
 нятныя. Во всякомъ случаѣ, судя по шестому тому, мы
 приходимъ къ заключенію, что авторъ творилъ не свободно,
 что онъ былъ чѣмъ-то связанъ. Уже въ первыхъ томахъ
 есть намеки на развязку, послѣдовавшую въ 6-мъ, но что
 это не есть слѣдствіе строго обдуманнаго художественнаго
 плана, доказывается тѣми натяжками, къ которымъ авторъ
 долженъ былъ прибѣгнуть для того, чтобы привести свой
 романъ къ предположенному концу. Съ нимъ какъ будто
 случилось слѣдующее: введенныя имъ лица, силою его же
 творческаго таланта, изъ маріонетокъ обратились въ жи-
 выхъ людей, зажили своею собственною жизнію, и не за-
 хотѣли подчиниться причудамъ автора, когда онъ въ упо-
 неніи своей державной власти вздумалъ насиловать ихъ
 природу. Разгнѣванный авторъ, не умѣя сладить иначе.

уморилъ самыхъ неподатливыхъ, и сталъ калѣчить и уродовать остальныхъ. Но въ этомъ случаѣ авторъ поступаетъ съ большею жестокостію, нежели какойнибудь бухарскій ханъ: онъ не только убиваетъ и гнетъ въ три погибели, онъ клеветаетъ на беззащитныхъ; такъ клеветаетъ онъ на Сою. Кроме того, авторъ искажаетъ факты: во первыхъ, умышленно передаетъ ихъ намъ не такъ, какъ они происходили; во вторыхъ, объясняетъ ихъ такъ, какъ они объяснены быть не могутъ. Все намъ сказанное мы постараемся доказать, разбирая женитьбу и жизнь графа Николая Ростова.

Николай Ростовъ—любимецъ автора. За что такая милость этому недалекому гусару, мы не знаемъ, но она очевидна, по крайней мѣрѣ для насъ. Это не пристрастіе художника, выразившееся въ болѣе тщательной и тонкой отдѣлкѣ, но пристрастіе адвоката, слишкомъ близко принимающаго къ сердцу интересы своего кліента:—какъ адвокатъ графъ Толстой слабъ и неубѣдителенъ, а художническій инстинктъ въ немъ такъ силенъ, что мизерная натура Ростова проглядываетъ постоянно какъ бы помимо воли автора—это непростительное пристрастіе задобреннаго судьи. Въ 6-мъ томѣ говорится о смерти старика Ростова, о большихъ долгахъ, имъ оставленныхъ, о томъ, что Николай Ростовъ не захотѣлъ, какъ ему совѣтывали, отказаться отъ наслѣдства и вмѣстѣ отъ далеко превышавшихъ его долговъ,—о томъ, что поступилъ въ гражданскую службу и небольшимъ жалованьемъ (1,200 р.) содержать себя и мать, стараясь при этомъ съ помощью Соли, чтобы мать не замѣтила пережвны въ ихъ положеніи. Все это прекрасно и дѣлаетъ честь и характеру графа Николая Ростова, и уваженію его къ памяти отца, и почтительности къ привычкамъ матери. Мы всему этому вѣримъ, но далѣе разсказывается менѣе вѣроятное. Уплативъ небольшую часть долговъ тридцатью тысячами, занятыми у зятя Безухаго, Николай изъ скудныхъ доходовъ своихъ не только долженъ былъ находить средства для удовлетворенія существенныхъ потребностей, но еще поддерживать извѣстный *decorum*

когда-то богатого дома, *decorum*, правда ни къ чему не нужный и никого не обманывавшій, но несоблюденіе котораго могло служить для графа источникомъ такого-же реального страданія, какъ голодь и холодъ. Все это дѣлалось ради привычекъ графини матери, говоритъ авторъ. Мы склонны думать, что и привычки сына играли въ этой нѣкоторую роль. Очень естественна, при весьма практическомъ, далеко отъ всякой идеализаціи характерѣ графа Ростова, при тѣхъ традиціяхъ, въ которыхъ онъ былъ воспитанъ, мысль поправить дѣла выгодной женитьбой. Выгодная невѣста имѣлась налицо.

Если читатель вспомнитъ, какъ въ одномъ изъ предшествовавшихъ томовъ авторъ описывалъ встрѣчу княжны Марьи съ Ростовымъ, спасшимъ ее отъ крестьянской неурядицы и возможности французскаго плѣна, то согласится, что авторъ тогда еще твердо рѣшился устроить ихъ бракъ. Ради него онъ и уморилъ Андрея Болконскаго. Этого брака хотѣли также родители Николая, и въ немъ одномъ видѣли спасеніе отъ нищеты. Сентиментальная и *некрасивая* (авторъ нигдѣ не забываетъ придать ей этотъ эпитетъ) княжна Марья нѣжно полюбила своего романческаго избавителя. Не было-бы ничего удивительнаго, какъ мы сказали, если-бы Николай Ростовъ безъ всякой восторженности принастался къ выгодной невѣстѣ. Въ принципѣ онъ давно уже рѣшился на это, отказавшись (*tacito consensu*, правда) отъ Соии. Примѣнить свое рѣшеніе фактически ему, разумѣется, ничего не стоило; это было вполне въ его характерѣ и въ правилахъ того круга (да и всѣхъ нашихъ круговъ), гдѣ онъ жилъ. Ради приличія онъ могъ, пожалуй, „прикинуться влюбленнымъ, внимательнымъ и огорченнымъ“, по неспособности ясно сознавать свои чувства, могъ, пожалуй, и самъ себя увѣрить въ томъ, что въ его бракѣ играетъ роль хотя искра дѣйствительнаго чувства, но показать все это читателю была прямая обязанность автора, и онъ между тѣмъ эгоистическій и весьма хладнокровный расчетъ выдаетъ намъ за сентиментальный порывъ, если не за болѣе глубокое чувство. Сама княжна Марья и впоследствии, какъ

говорить авторъ (182 стр.), „думала, что ея состояніе имѣло вліяніе на выборъ Николая“, а между тѣмъ вотъ какъ рассказываетъ авторъ о его женитьбѣ. Когда княжна Марья навѣстила его мать, Николай принялъ ее сухо, почти неѣжливо и потѣхалъ къ ней съ визитомъ только вслѣдствіе крайнихъ настояній матери; десять минутъ визита просидѣлъ сдержанно и почти сердито, но при прощаньи разыгралась слѣдующая сцена: „Мы такъ сблизились съ вами, говорила княжна Марья, и съ вашимъ семействомъ, и я думала, что вы не почтете неумѣстнымъ мое участіе; но я ошиблась, сказала она. Голосъ ея вдругъ дрогнулъ. Я не знаю почему, продолжала она, оправившись, вы прежде были другой и...“

— Есть тысячи причинъ *почему* (онъ сдѣлалъ особое удареніе на словѣ *почему*). Благодарю насъ, княжна, сказалъ онъ тихо. Иногда тяжело.

— Такъ вотъ отчего! Вотъ отчего! говорилъ внутренній голосъ въ душѣ княжны Марьи. Иѣтъ я не одинъ этотъ веселый, добрый и открытый взглядъ, но одну красивую вышность полюбила въ немъ; я угадала его благородную, твердую, самоотверженную душу, говорила она себѣ.—Да онъ теперь бѣденъ, а я богата... Да, только отъ этого... Да, еслибы этого не было... И, вспоминая прежнюю его неѣжность, (?) и теперь глядя на его доброе и грустное лицо, она вдругъ поняла причину его холодности.

— Почему же, графъ, почему? вдругъ почти вскрикнула она невольно, подвигаясь къ нему. Почему, скажите мнѣ?—Онъ молчалъ.—Я не знаю, графъ, вашего *почему*, продолжала она. Но мнѣ тяжело, мнѣ... Я признаюсь вамъ въ этомъ. Вы за что-то хотите лишить меня прежней дружбы. И мнѣ это больно. У меня такъ было мало счастья въ жизни, что мнѣ тяжела всякая потеря... Извините меня, прощайте. Она вдругъ заплакала и пошла изъ комнаты.

— Княжна! постойте ради Бога, вскрикнулъ онъ, стараясь остановить ее. Княжна!

Она оглянулась. Нѣсколько секундъ они молча смотрѣли въ глаза другъ другу, и далекое, невозможное вдругъ стало близкимъ, возможнымъ и неизбежнымъ

Могла-ли происходить такая сцена? Могла, по, по первымъ, ее приводить не стоило,—во вторыхъ, что это за сентиментальное толкъ о далекомъ и близкомъ, невозможномъ и неизбежномъ. Графу Ростову казалось невозможнымъ добратся до денегъ княжны Марьи, и вдругъ онъ сами неизбежно попали къ нему? Другого побужденія, кромѣ корыстнаго, мы не видимъ въ женитьбѣ его на княжнѣ Волконской, сколько бы рядовъ точекъ не ставилъ авторъ. Какъ мы сказали, послѣдній не только старается внести въ заблужденіе читателя въ пользу графа Ростова, для этого же онъ изводитъ клевету на другія лица. Читатель помнитъ, вѣроятно, воспитанницу Ростовыхъ Союю, изъ которую съ малолѣтства влюбленъ Николай, и на которой онъ далъ слово жениться. Благородная дѣвушка, видя, что это противно волѣ родныхъ, которые ищутъ богатой невесты, да что и самъ Николай не прочь отъ послѣдней, возвратила ему слово, и въ то же время всю свою жизнь посвятила ему и его роднымъ, его матеря и дѣтямъ. Автору казалось мало такого формальнаго права Ростова жениться на другой, онъ силится увѣрить насъ и въ правдивномъ. „Мнѣ ее (Союю) ужасно жалко иногда, говоритъ Наташа графинѣ Марѣѣ; я ужасно желала прежде, чтобы Nicolas женился на ней; но я всегда какъ бы предчувствовала, что этого не будетъ. Она *пустоцѣтъ*, знаетъ какъ на клубникѣ? Иногда мнѣ и жалко, а иногда я думаю, что она не чувствуетъ этого, какъ чувствовали-бы мы.“

Такъ говоритъ въ конецъ поглупѣвшая Наташа, но авторъ принимаетъ слова ея за откровеніе: „дѣйствительно, казалось, что Союя не тяготится своимъ положеніемъ, и совершенно примирилась съ своимъ назначеніемъ *пустоцѣтъ*“.

Она дорожила, казалось, не столько людьми, сколько всей семьей (? Она, какъ кошка, прижилась (?) не къ людямъ, а къ дому. Она ухаживала за старой графиней, ласкала и баловала дѣтей, всегда была готова оказывать тѣ медкія услуги, на которыя она была способна; но все это принималось невольно съ слишкомъ слабою благодарностью“...

Итакъ Соня—кошка и пустоцвѣтъ, потому что, отказавшись отъ собственнаго счастья, она цѣлью своей жизни положила дѣлать сколько могла добра всѣмъ окружающимъ; потому что, затаявъ свои личные чувства, чтобы не быть причиною семейныхъ непріятностей (графиня Марья и такъуже ее ревнуетъ), она въ отношеніи ко всѣмъ является равнообязательною. И за все это она чуть-ли еще не виновата въ томъ, что „все это принималось невольнo и съ слишкомъ слабою благодарностью“! Не правда ли необыкновенно логично и гуманно со стороны автора. Неужели и онъ, также какъ Николай, мать его, жена и сестра, Пьеръ и др. не видятъ, что бѣдная дѣвушка бросала милостыню своимъ сѣтельнымимъ идіотамъ, на способность пониманія и человѣческія чувства которыхъ имѣла слишкомъ мало причинъ рассчитывать для того, чтобы нуждаться въ ихъ благодарности.

Пристрастіе автора къ графу Ростову выразилось не только въ разсказѣ о его женитьбѣ. Авторъ дѣлаетъ его идеаломъ хозяина и семьянина и проводникомъ тѣхъ идей, которыя такъ дороги графу Толстому. Въ эпилогѣ, относящемся къ 1820 году, авторъ переноситъ насъ въ имѣніе Ростовыхъ Лысыя горы, и съ особенною тщательностію и вниманіемъ разсказываетъ намъ подробно о воззрѣніяхъ и хозяйственныхъ пріемахъ своего любимца. „Николай былъ хозяинъ простой, не любилъ нововведеній, особенно англійскихъ... Онъ сначала всматривался въ мужика, стараясь понять, что ему нужно, что онъ считаетъ дурнымъ и хорошимъ, и только притворялся, что распоряжается и приказываетъ, въ сущности же только учился у мужиковъ и пріемамъ, и рѣчамъ, и сужденіямъ о томъ, что хорошо и что дурно. И только тогда, когда понялъ вкусы и стремленія мужика, научился говорить его рѣчью..., когда почувствовалъ себя сроднившимся съ нимъ, только тогда сталъ онъ смѣло управлять имъ, т. е. исполнять по отношенію къ мужикамъ ту самую должность, исполненіе которой отъ него требовалось“. Фразировка графа Толстого нѣсколько смѣна, но сопоставляя другія мѣста романа, можно дога-

даться о мысли автора. Здѣсь нѣтъ рѣчи о какихъ-нибудь хозяйственныхъ соображеніяхъ, но въ крупнѣйшей хозяйственной экономіи приказанія играли нѣкоторую роль, и по содержанію своему, а какъ форма, какъ обрядъ; нужно только было, чтобы приказанія не шли въ разладъ съ тѣмъ, что должны дѣлать мужики и что они сдѣлали бы и безъ приказаній. Читатель замѣчаетъ въ той роли, которая дана хозяину въ лицѣ Николая, поразительное сходство съ ролью какую авторъ приписываетъ въ лицѣ Кутузова образцовому полководцу, но отнести это къ послѣдовательности и строгости идей графа Толстого было бы ошибкой; это скорѣе результатъ бѣдности мысли, которая падаетъ на одинъ предметъ, добавокъ невѣрный, никакъ не можетъ съ нимъ разстаться. Приведенный примѣръ однообразія пріемовъ единственный. „Принимая въ управленіе имѣніе,—говоритъ авторъ—Николай сразу, безъ ошибки, *по какому-то инстинкту*, назначилъ бурмистромъ, старостой, выборнымъ (хорошъ назначенный выборный!) тѣхъ самыхъ людей, которые были бы выбраны самими мужиками (?), если бы они могли выбирать, и начальники его никогда не съмѣлились“... „Во всѣхъ распоряженіяхъ, касавшихся мужиковъ онъ никогда не испытывалъ ни малѣйшаго сомнѣнія. Всякое распоряженіе его онъ это зналъ—будетъ одобрено всѣмъ противъ одного или нѣсколькихъ“. Онъ не умѣлъ сказать въ чемъ состояло это мѣрило того, что должно или чего не должно, но мѣрило это въ его душѣ было твердо и непоколебимо“. Въ приведенныхъ нами тирадахъ, во первыхъ то же непосредственное знаніе *должнаго*, которое проявляется и въ прослѣдственномъ Пьерѣ Безухомъ. Во вторыхъ, и угодно ли обратить вниманіе на складъ мыслей автора, представляющихъ послѣдній вѣдетъ со своимъ фаворитомъ предполагать, что Николай назначалъ именно тѣхъ людей, которые выбрали бы сами мужики (а вы, графъ, пытались проверить это?), и что всѣ его распоряженія были бы одобрены всѣми противъ одного или нѣсколькихъ, и даже, прибавимъ мы отъ себя, были бы навѣрное поддержаны очень энергически тѣми душевнатытельными средствами, которыми

находились въ распоряженіи помѣщика въ доброе старое время противъ крестьянъ, неохотно подчинявшихся благодѣяніямъ помѣщичьей опеки.

Въ отношеніи къ Николаю Ростову авторъ ударяется даже въ пророчество. Во все время, которое объимаетъ романъ графа Толстого, достославный герой его живъ и здравъ и помышлять о смерти не имѣетъ ни малѣйшей причины. Это не мѣшаетъ однако автору, забѣгая въ далекое будущее, увѣрить читателя, будто „долго послѣ его (Николая Ростова) смерти въ народѣ хранилась набожная (?) память объ его управленіи. Хозяинъ былъ—(говорили о немъ мужики) напередъ мужицкое, а потомъ свое. Ну и потачки не давалъ. Одно слово, хозяинъ“! Если всѣ эти отзвѣвы о Ростовѣ авторъ и дѣйствительно слышалъ отъ крестьянъ (въ чемъ мы нѣсколько сомнѣваемся, вслѣдствіе поддѣлки подъ такъ называемую мужицкую рѣчь), а не измыслилъ ихъ самъ, то неужели не пришло ему въ голову, что на сужденія крестьянина о бирахъ съ барами же не слѣдуетъ слишкомъ полагаться.

Квинтъ-эссенція 6-го тома романа графа Толстого—это изображеніе примѣрной супружеской жизни, олицетворяемой двумя парами: Безухими и Ростовыми, въ которой главные черты, во первыхъ, какая-то безличность супруговъ въ отношеніи другъ къ другу съ умысломъ, хотя, быть можетъ, и не съ полнымъ сознаніемъ, проводимая авторомъ; во вторыхъ, ограниченность, тѣсная замкнутость интересовъ и понятій. Въ отношеніяхъ супруговъ, представляемыхъ намъ авторомъ какъ идеалъ, нечего искать нѣжной, но сознательной и осмысленной привязанности именно къ извѣстной личности, взаимнаго уваженія, обмѣна мыслей или убѣжденій. О послѣднихъ между ними нѣтъ и помину, а привязанность ихъ неосмысленная, животная привычка, съ примѣсью однако нѣкихъ качествъ, которыя сопровождаютъ человѣческія привязанности въ низшихъ, неразвитыхъ натурахъ: молочной, ни на чемъ не основанной ревности и молочной подозрительности. „Жену развѣ я люблю, говоритъ Николай Марья, а не люблю, а такъ, не знаю, какъ тебѣ сказать. Безъ

тебя, и когда вотъ такъ у насъ какая-то кошка пробѣжитъ, я какъ будто пропазъ, и ничего не могу. Ну что, я люблю палецъ свой? я не люблю, а попробуй, отрѣжь его“... Что все это говорится Николаемъ Ростовымъ—бѣда не большая, но дѣло въ томъ, что все это принимается за должное и нормальное самимъ авторомъ, хотя въ другомъ мѣстѣ имъ проводится и другія воззрѣнія на этотъ счетъ. Если бы Николай могъ сознавать свое чувство, то онъ нашелъ бы, что главное основаніе его твердой, нѣжной и гордой (?) любви къ женѣ имѣло основаніемъ всегда это чувство удивленія предъ ея душевною, предъ тѣмъ почти недоступнымъ Николаю возвышеннымъ нравственнымъ міромъ, въ которомъ всегда жила его жена“.

Авторъ особенно настаиваетъ на какой-то общности мыслей и чувствъ, господствующей между супругами, и старается убѣдить въ томъ читателя очень не хитрымъ способомъ. Супруги, напимѣръ, не разговариваютъ другъ съ другомъ, а *думаютъ вслухъ*. „Ты знаешь, Мари, о чемъ я думалъ, началъ онъ (Николай)..., начиная думать вслухъ при женѣ. Онъ не спрашивалъ о томъ, готова ли она слышать (а что-же ей больше дѣлать среди одуряющей тоски безсмысленной жизни); ему все равно было (?) Мысль пришла ему, стало быть и ей. И онъ рассказалъ (?). ей свое намѣреніе уговорить Пьера остаться съ ними до весны“. Только-то? спросите вы. Гора родила мышъ. Объ этомъ не стоило думать ни вслухъ ни про себя, тѣмъ болѣе, что ни для Николая ни для читателя въ дальнѣйшемъ пребываніи Пьера, никуда притомъ уѣзжать не собиравшагося, надобности не предостояло. Очевидно, все это неудачный пріемъ для болѣе картиннаго представленія читателю неудачной мысли.

Почти то же авторъ повторяетъ о Пьерѣ и Наташѣ.

„Наташа, оставшись съ мужемъ одна, тоже разговаривала такъ, какъ только разговариваютъ жена съ мужемъ, т. е. съ необыкновенной ясностью и быстротою *познавая и сообщая мысли другъ другу*, путемъ противнымъ всѣмъ правиламъ логики, безъ посредства сужденій, умозаключеній и

выводовъ, а совершенно особеннымъ способомъ. Наташа до такой степени привыкла говорить съ мужемъ этимъ (какимъ же?) способомъ, что вѣрнѣйшимъ признакомъ того, что что нибудь было не ладно между ей и мужемъ, для нея служилъ логическій рядъ мыслей Пьера. Когда онъ начиналъ доказывать, говорить разсудительно и спокойно, и когда она, увлекаясь его примѣромъ, начинала дѣлать то же, она знала, что это непременно поведетъ къ ссорѣ.

Если въ этой тирадѣ есть какой-нибудь смыслъ, то развѣ тотъ, что только вслѣдствіе стимула взаимнаго раздраженія супруги приобретали нѣкоторую способность человѣческой мысли. Что касается до ихъ мирныхъ разговоровъ, то они глупые до комизма. Послушаемъ образецъ.

„У Николинки есть эта слабость, что если не принято всѣмъ, онъ ни за что не согласится. А я понимаю, ты именно дорожишь тѣмъ, чтобы *ouvrir une carrière*, сказала она (Наташа), повторяя слова, разъ сказанныя Пьеромъ.

— Итъ, главное, для Николая, сказалъ Пьеръ, мысли и разсужденія — забава, почти препровожденію времени. Вотъ онъ собираетъ бібліотеку, и за правило поставилъ не покупать новую книгу, не прочти купонную — и Спемондъ, и Руссо, и Монтескье, съ улыбкой прибавилъ Пьеръ. Ты, вѣдь, знаешь, какъ я его... началъ было онъ смягчать свои слова; но Наташа поребила его, давалъ чувствовать, что это не нужно.

— Такъ ты говоришь, для него мысли — забава... Да, а для меня все остальное забава.

(Замѣьте, это говоритъ Наташа, Наташа 6-го тома, презъ голову которой не прошло ни одной мысли. Но очевидно, по программѣ, заданной ей авторомъ, она сжѣниваетъ себя съ мужемъ, свои ощущенія съ его. Вслѣдъ за нею и Пьеръ объявляетъ:)

— Я все время въ Петербургѣ какъ во снѣ всѣхъ идѣлъ. Когда меня занимаетъ мысль, то все остальное забава“.

Хорошо?

При той интимности, какая, по желанію графа Толстого,

существовать между его образцовыми супругами, кажется, не могло быть мѣста ревности, а между тѣмъ ревность на каждомъ шагѣ. Даже кроткая, безгласная, готовая постоянно приносить себя въ жертву графиня Марья ревнуетъ мужа то къ Сонѣ, то къ мужикамъ. Нечего говорить о Наташѣ: „ея ревность—она ревновала къ Сонѣ, гувернанткѣ, ко всякой красивой и некрасивой женщинѣ—была обычнымъ предметомъ шутокъ всѣхъ ея близкихъ“. Но эта ревность проявлялась не только въ формахъ, которыя могли подать поводъ къ шуткамъ; иногда она представляла намъ Наташу разъяренной тигрицей, и намъ было-бы жутко находиться съ ней съ глазу на глазъ на мѣстѣ Пьера. Въ минуту нѣжности Наташа вся—любовь и страсть; она готова на самоуниженіе, и кается во всѣхъ неудовольствіяхъ, бывшихъ между ней и мужемъ, одну себя признаетъ виноватою. „И о чемъ мы ссорились, спрашиваетъ она.

— Все объ одномъ, сказалъ Пьеръ, улыбаясь, ревновала.

— Не говоря, терпѣть не могу, вскрикнула Наташа. И холодный злой блескъ засвѣтился въ ея глазахъ. Ты видѣлъ ее, прибавила она помолчавъ.

— Видѣлъ, да и видѣлъ бы,—но узналъ.

Въ этихъ немногихъ словахъ авторъ отчетливо обрисовываетъ предъ нами эту бѣшеную и неразвитую женщину, готовую задушить мужа до смерти въ припадкѣ безотчетной нѣжности или задушить его въ припадкѣ безотчетной ярости. Одинъ изъ рецензентовъ „Войны и Мира“ находитъ преобразенную Наташу столь же прелестной, какъ и прежняя Наташа, хотя и въ другомъ родѣ. Эта прелесть не по нашему вкусу, и одинъ изъ капитальнѣйшихъ упрековъ, которые мы можемъ сдѣлать автору, состоитъ именно въ этомъ искаженіи одной изъ самыхъ поэтическихъ личностей его романа. Что онъ сдѣлалъ съ Наташей и съ какою цѣлью? Въ добавокъ нужно замѣтить, что въ описаніе этой бабы-яги, этой волчицы въ человѣческомъ образѣ съ ея бессмысленной нѣжностью къ мужу и бессмысленной привязанностію къ дѣтямъ, авторъ вноситъ желаніе предъ-явить ихъ намъ какъ нѣчто сочувственное и поучительное.

„Паташа не слѣдовала тому золотому правилу, проповѣ-
дываемому умными людьми, въ особенности французами,
что дѣвушка, выходя замужъ, не должна опускаться, не
должна бросать свои таланты, должна болѣе еще, чѣмъ въ
дѣвушкахъ, заняться своей внѣшностью... Паташа не за-
ботилась ни о своихъ манерахъ, ни о деликатности рѣчей,
ни о томъ, чтобы показаться своему мужу въ самыхъ вы-
ходныхъ позахъ, ни о своемъ туалетѣ, ни о томъ, чтобы
не стѣснять мужа своею требовательностію“. Предметъ,
въ который погрузилась вполне Паташа — была семья,
т. е. мужъ, котораго надо было держать такъ, чтобы онъ
нераздѣльно принадлежалъ ей, дому, — и дѣти, которыхъ
надо было носить, рожать, кормить и воспитывать“.

„Толки и разсужденія о правахъ женщинъ, объ отно-
шеніяхъ супруговъ, о свободѣ и правахъ ихъ, хотя и не
звывались какъ теперь *вопросами*, были точно такіе же,
какъ и теперь, но эти вопросы не только не интересовали
Паташу, но она рѣшительно не понимала ихъ“.

„Вопросы эти и тогда, какъ и теперь, существовали
только для людей, которые въ бракѣ видятъ одно удоволь-
ствіе, получаемое супругами другъ отъ друга, т. е. одно
начало брака, а не все его значеніе, состоящее въ семьѣ“.

„Паташа до такой степени опустила, что ея костюмы,
и прически, ей невинно сказанныя слова, ея ревность —
или обычнымъ предметомъ шутокъ всѣхъ ея близкихъ.
общее мнѣніе было то, что Пьеръ былъ подъ башмакомъ
своей жены, и дѣйствительно это было такъ“. „Подвласт-
ность Пьера заключалась въ томъ, что онъ не только уха-
ивать, но не смѣлъ съ улыбкой говорить съ другой жен-
щиной, не смѣлъ ѣздить въ клубы на обѣды, такъ, для
того, чтобы провести время, не смѣлъ расходовать деньги
на прихотей, не смѣлъ уѣзжать на долгіе сроки, иначе
къ по дѣламъ, въ число которыхъ жена включала и его
занятія науками, въ которыхъ она ничего не понимала,
въ которыхъ она приписывала большую важность. (Здѣсь
точно говорится о ключницѣ, случайно сдѣлавшейся женою
еяго. Что же касается *ученыхъ занятій* самого Пьера,

то несмотря на то, что авторъ упоминаетъ объ нихъ нѣ сколько разъ, читатель остается въ недоумѣніи, что это были за занятія). Взвѣсивъ этого, Пьеръ имѣлъ полное право у себя въ домѣ располагать не только самимъ собою какъ онъ хотѣлъ, но и всей семьею. Наташа у себя въ домѣ ставила себя на ногу рабы мужа“. По тону очевидно, что авторъ думаетъ, будто это все хорошо и въ порядкѣ вещей, но что это была за раба объясняется далѣе. „Весь домъ руководился только минимыми повелѣніями мужа, т. е. желаніями Пьера, которыя Наташа старалась угадывать... И она вѣрно угадывала то, въ чемъ состояла сущность желаній (а сейчасъ это были минимы) Пьера и разъ угадавъ ее, она уже твердо держалась разъ избраннаго. Когда Пьеръ самъ уже хотѣлъ измѣнить своему желанію, она боролась противъ него его же оружіемъ“.

Мы нарочно привели эти длинныя выписки для того, чтобы читатель могъ видѣть по манерѣ выраженій автора (преимущественно манера отрицательная: Наташа не была тѣмъ-то и тѣмъ-то), что это не простое изложеніе характера и привычекъ Наташи, а возведеніе ея въ идеальныя и матери. Нечего говорить о томъ, какъ узокъ и низокъ этотъ идеаль, и какъ мало достойно если не великаго, то замѣчательнаго художника легкомысленное, глумящееся отношеніе къ тому, что принято называть вопросомъ о правахъ женщины. Последней онъ готовъ предоставить, какъ Наташѣ, самую деспотическую власть надъ мужемъ, подъ условіемъ, чтобы она именовалась рабой его, и единственно, чего боятся авторъ, это представленіе ей права человѣческаго достоинства.

Единственное лицо, которое не искажено авторомъ въ 6-мъ томѣ, это лицо бывшей княжны, теперь графини Марьи. Но искажено потому, что эта личность—до нельзя приниженная, которую не требовалось передѣлывать для того, чтобы она подошла подъ мѣру безотвѣтной рабы - супруги, составляющей, какъ мы сказали, идеаль автора. Графиня Марья—единственное лицо 6-го тома, которое сохраняетъ симпатію читателя, несмотря на ограниченность своихъ

понятій и возрѣній. Все для другихъ, и ничего для себя, по прежнему девизъ ея. Грустно становится за нее, когда ее повергаетъ въ неописанное блаженство двусмысленная ласковость мужа съ приведеннымъ нами эпилогомъ объ отрѣзанномъ пальцѣ. Лицо графини Марьи наиболѣе выдержанное въ романѣ, но намъ казалось бы, что писатель для вѣрности изображенія вовсе не обязанъ приводить тотъ забавно искаженный русскій языкъ, которымъ, быть можетъ, дѣйствительно и говорила Марья. „Какъ ты не понимаешь *презестъ этнигъ чудо презестей*, говоритъ она мужу о ребенкѣ Паташи. „Онъ былъ въ капризъ и упрямство. Я попробовала угрожать ребенку, но онъ еще больше разсердился“ и т. и.

Что касается до дневника графини Марьи о томъ, какъ вели себя дѣти, изъ котораго мы выписали послѣднюю фразу, то намъ кажется, что онъ также приведенъ не с проста. Это вѣроятно воспоминаніе, соединенное съ какой нибудь моральной теоріей. Но признаемся, мы рѣшительно болѣе не въ состояніи пережевывать неудобоваримыя теоріи автора.

Въ эпилогѣ разсказывается между прочимъ о возвращеніи Пьера изъ Петербурга, куда онъ ѣздилъ по дѣламъ. Дѣла эти состоятъ въ организаціи какого-то тайнаго общества, въ которомъ Пьеръ, по его собственнымъ словамъ, игралъ очень важную роль.

„Положеніе въ Петербургѣ вотъ какое, процоувѣдуетъ онъ, спокойствіе могутъ дать только тѣ люди *sans foi ni loi*, которые рубятъ и душатъ сплеча: Магницкій, Аракчеевъ и tutti quanti“... Несмотря на такія свирѣпыя рѣчи, мы все таки видимъ, что общества, къ которымъ принадлежитъ Пьеръ, но тѣ, что разразились извѣстной декабрьской катастрофой, а скорѣе тѣ, членомъ которыхъ состоялъ незабвенный Репетиловъ, и задачей которыхъ было шумѣть и то какъ можно тише. „Въ Петербургѣ —я чувствовалъ это, повѣствуетъ Пьеръ жонѣ—бось меня все это разпадалось, каждый тянулъ въ свою сторону. Но мнѣ удалось всѣхъ соединить, и потомъ моя мысль такъ проста и ясна. Вѣдь,

я не говорю, что мы должны противодѣйствовать тому-то и тому-то. Мы можемъ ошибаться. А я говорю: возьмитесь рука съ рукою тѣ, которые любятъ добро, и пусть будетъ одно знамя— дѣятельная добродѣтель“. По авторъ указываетъ намъ въ лицѣ сына Волконскаго Андрюши и на подготавливающіеся элементы 14 декабря. Напряженно, въ лихорадочномъ состояніи слушаетъ онъ разглагольствованія Пьера. „А отецъ одобрялъ бы васъ“? спрашиваетъ онъ. Тотъ отрицательно утверждаетъ, и въ головѣ мальчика начинается работа. Онъ боленъ, сонъ его безнокосенъ, ему снятся войска и каски, Плутархъ и Цеволъ. „Отецъ, отецъ“, бредитъ онъ. „Я сдѣлаю то, чѣмъ бы даже онъ былъ доволенъ“. Такъ въ частую праздными и сытыми болтунами готовятся у насъ жертвы. Но мы не узнаемъ, что станется съ Андрюшей Волконскимъ. Романъ графа Толстого конченъ, и онъ едва ли приметъ за его продолженіе, если бы это и было удобно по соображеніямъ нелитературнымъ. Фантазія его утомилась, и изъ художника— явный признак паденія творчества— онъ безпрестанно обращается въ проповѣдника.

Намъ пришлось говорить только о послѣднемъ томѣ произведенія графа Толстого. Мы отнеслись къ нему несочувственно, но это не мѣшаетъ намъ признать вообще произведеніе графа Толстого замѣчательнымъ литературнымъ явленіемъ послѣдняго времени. Обнаруживъ въ своемъ романѣ огромный творческій талантъ и замѣчательный умъ, авторъ въ немъ рѣзко, нежели въ какомъ-нибудь другомъ произведеніи, обнаружилъ и недостатки своего творчества, изъ которыхъ главный—такъ называемое *міросозерцаніе* автора, т. е. отношеніе его къ жизненнымъ явленіямъ. Къ міросозерцанію автора лучше всего могло бы прістать слово *нигилизмъ*; но это не тотъ нигилизмъ, отрицающій авторитеты и преданія, который нѣсколько лѣтъ служилъ переломомъ нашего общества,—это нигилизмъ совершенно противоположнаго и болѣе вреднаго свойства,—это отрицаніе отъ разума и исканіе утѣхи отъ жизненныхъ сомнѣній подъ сѣнью мистицизма и фатализма,—это отреченіе отъ

мысли. Какъ ни опасно такое настроеніе, но можно надѣяться, что при той серьезности и добросовѣстности, какая проявляется во всѣхъ, даже самыхъ странныхъ взглядахъ автора, ему удастся одолѣть овладѣвшій имъ кошмаръ, и дать намъ произведенія, въ которыхъ поэтическое творчество не будетъ подрываться тенденціями обскурантизма.

А. Воишинникова.

* * *

*) Наконецъ, знаменитый романъ „Война и Миръ“ — оконченъ... но, вѣроятно, нѣкоторые любознательные читатели остались въ недоумѣніи, и желали бы спросить: „почему же этотъ романъ называется „Война и Миръ“?.. Впродолженіе всѣхъ шести томовъ, авторъ описываетъ намъ непрерывную войну, ну, а миръ-то когда же будетъ“?... И точно, объ мирѣ почти ничего не говорится. Гр. Толстой начинаетъ свою эпопею съ 1805 года, доводитъ ее до 18-го и прямо перескакиваетъ на 20-й годъ. О достопамятномъ парижскомъ мирѣ — нѣтъ и помину!.. Право, еслибъ въ этомъ послѣднемъ *шестомъ* томѣ не было заключительнаго *эпилога*, можно бы было предположить, что почтенный авторъ намеренъ написать еще *седьмой* томъ, потому что его романъ, по нашему мнѣнію, все таки остался не вполне окончаннымъ; несмотря на то, что половина дѣйствующихъ въ немъ лицъ перемерла, а остальные сочетались между собою законнымъ бракомъ. Точно будто самому автору надобно возпыть со своими уцѣлѣвшими героями романа, и опъ, на скорую руку, свелъ кое-какъ концы съ концами, чтобы поскорѣе пуститься въ свою безконечную метафизику... Это, какъ всѣмъ извѣстно, его любимый конекъ, на которомъ опъ заносится иногда въ недосигаемую высоту! Почтенный графъ, вначалѣ своего *эпилога*, задаетъ себѣ вопросъ: „Какая сила дѣлаетъ народами“, и затѣмъ на 60-ти страницахъ изволить тянуть на эту тему такую философскую кашу, что у насъ едва-едва хватило терпѣнія дочитать ее до конца (см. стр. 237—270).

*) „Петербургская Газета“ 1870 года, № 2-й. „Шестой томъ романа *Война и Миръ* соч. гр. Л. Н. Толстого“. Статья II.

Внося съзнавая нашу несостоятельность проникнуть глубинну премудрости: снательной философіи, мы представляемъ разобрать и оцѣнить ее по достоинству людямъ компетенгнымъ: ученымъ историкамъ и велемудрымъ мыслителямъ... намъ бы только было любопытно узнать: какъ то справятся съ этой премудростью московскія барышни и барышни, которыя собирались переездить на французскій языкъ этотъ романъ? Придется имъ, бѣдняжкамъ, поломать свои головки надъ этой мудреной задачей! Тутъ, пожалуй, и глубокомысленный пѣмецъ призадумается. Содержаніе шестого тома не многосложно; оно не изобилуетъ описаніемъ какихъ-нибудь важныхъ событій и вообще не заключаетъ въ себѣ особеннаго интереса. Старый гр. Ростовъ совершенно раззорился, разстроилъ все свое состояніе и отправился къ предкамъ... Супруга его, безо всякой надобности, осталась въ живыхъ, и до смерти надобѣдаетъ всѣмъ окружающимъ ее, старческимъ идиотизмомъ. Младшій сынъ ихъ, *Петя*, убитъ въ одной изъ партизанскихъ схватокъ; старшій сынъ *Николай*, получа послѣ своего отца нѣмнѣе съ неоплатными долгами, женился съ горю на княжнѣ *Марьѣ* съ знаменитыми „лучистыми“ (?) глазами; она давно раздумала идти въ монастырь, и, по выходѣ замужъ, ежегодно бываетъ въ интересномъ положеніи; *Соня*, когда то равнодушная къ Николаю, осталась старой дѣвой... *Наташа* (героиня романа), поплакавъ въволю о своемъ убитомъ женихѣ (кн. Волконскомъ), выходитъ, наконецъ, замужъ за *Пьера Безухова* (это по счету пятый предметъ ея любви). У первой четы четверо дѣтей, у второй троо—т всѣ они наслаждаются полнымъ счастіемъ, у своего домашнего очага!.. Съ экцентричной Наташей совершилась неожиданная метаморфоза (у нее во всемъ крайности): эта милая, шаловливая, рѣзвая барышня сдѣлалась теперь совершенной перяхой, ходитъ растрепанная и, какъ насѣдка, день и ночь возится со своими цыплятами, она совершенно отказалась отъ общества, и посвятила себя замкнутой семейной жизни: материнскія попеченія о дѣтяхъ составляютъ

теперь единственную цѣль ея жизни... Эти заботы о дѣтихъ доходятъ у нея иногда до нѣкотораго цинизма. Вотъ что говоритъ авторъ объ ней на страницѣ 194: „Она дорожила обществомъ тѣхъ людей, къ которымъ она, растрепанная, въ халатѣ, могла выйти большими (?) шагами изъ дѣтской съ радостнымъ лицомъ, и показать пеленку съ желтымъ, вмѣсто зеленого пятна, и выслушать утѣшеніе о томъ, что теперь ребенку гораздо лучше“.

Въ другомъ мѣстѣ (стр. 201) когда собрались въ дѣтскую ея брать съ женою, и Пьеръ нянчилъ свою маленькую дочку, Наташа очень мило замѣчаетъ; „Нѣтъ, Пьеръ отлично ихъ нянчить... онъ говоритъ, что у него рука какъ разъ сдѣлана по задку ребенка“.

— „Ну только не для этого, *поручь* смѣясь, сказалъ Пьеръ, подхватывая ребенка и передавая его нянѣ“. — Не знаю, какъ кому, а намъ эта фламандская живопись очень понравилась...

Вообще, гр. Толстой нисколько не стѣсняется въ выраженіяхъ, и употребляетъ буквально такія фразы, которыя, кажется, еще не бывали въ печати; напримѣръ, на страницѣ 93, фельдфебель, упрекая ругатню солдатъ, кричитъ имъ: „Вы чего? Господа тутъ, въ избѣ самъ анаралъ, а вы *материнники* (!!!) и проч.“. Потомъ на 95 стр. онъ же говоритъ: „а, вишь, *сукинъ сынъ* (!) Петровъ остался таки“... Впрочемъ, въ одномъ, мѣстѣ, дойдя уже до невозможнаго, авторъ замѣнилъ ругательство кн. Кутузова только начальными буквами и точками (стр. 91), которыя разумѣется, для мужчинъ довольно понятны, но какъ то всѣ эти крѣпкія словечки (скажемъ мы опять) передадутъ на французскій языкъ милыя московскія барышни?! Это любоньтно, очень любоньтно!.. Въ началѣ прошлаго года, въ нашей газетѣ (смотри №№ 3 и 4) были помѣщены двѣ статьи объ этомъ знаменитомъ романѣ, по поводу отзыва, о немъ же, покойнаго Авраама Серг. Порова; въ этихъ двухъ статьяхъ, говоря о *хваленомъ* слогѣ гр. Толстого, мы сдѣлали нѣсколько выписокъ; просимъ и на этотъ разъ нашихъ почтенныхъ читателей позволенія—доставить имъ

случай полюбоваться этимъ, такъ называемымъ, блестящимъ слогомъ: (Стр. 16) „Въ этой деревушкѣ, въ барскомъ домѣ, и по всему бугру въ саду, у колодцевъ и пруда и по всей дорогѣ въ гору отъ моста къ деревнѣ, но болѣе какъ въ 200-хъ саженахъ разстоянія, видѣлись въ колеблющемся туманѣ толпы народа. Слышны были явственно ихъ нерусскіе крики на выбиравшихся въ гору лошадей въ повозкахъ, и призывы другъ другу“. Что это такое? Какіе это крики на лошадяхъ? (Стр. 46). Пьеръ Безуховъ идетъ вмѣстѣ съ другими плѣнными и предастся тамъ размышленіямъ. „Онъ узналъ (говорить авторъ), что такъ какъ нѣтъ на свѣтѣ положенія, въ которомъ бы человѣкъ былъ счастливъ и вполне свободенъ, такъ и нѣтъ положенія, въ которомъ бы онъ былъ несчастливъ и несвободенъ. Онъ узналъ, что есть граница свободы, и что эта граница очень близка; (?) что тотъ человѣкъ, который страдалъ отъ того, что въ розовой постели его (?) завернулся одинъ листокъ (?), точно такъ же страдалъ, какъ онъ теперь, засыпая на голой землѣ, что когда онъ, бывало, надѣвалъ свои бѣлые, узкіе башмаки, онъ точно такъ же страдалъ, какъ и теперь, когда шелъ уже босой советомъ ногами (?), покрытыми болячками. Онъ узналъ, что когда онъ, какъ ему казалось, по собственной волѣ, женился на своей жепѣ (женлся на жепѣ?!), онъ былъ не болѣе свободенъ, чѣмъ теперь, когда его заперли на ночь въ конюшнѣ (ночь, это и мило и логично). Изъ всего того, что потомъ и онъ называлъ страданіемъ, по которое онъ тогда почти и не чувствовалъ, главное были босыя, стертые, заструпѣлыя ноги... Холода большого не было и днемъ; на ходу всегда бывало жарко, ночью были костры; они вѣ�ли согрѣвали его тѣло“. — Могутъ ли (съ позволенія сказать) они согрѣвать наше тѣло—этого не приведи Богъ никому испытать. „Во второй день перехода, осмотрѣвъ у костра свои болячки, Пьеръ счелъ невозможнымъ ступить на нихъ, но когда всѣ поднялись, онъ пошелъ прихрамывая, и потомъ, когда разогрѣлся, пошелъ безъ боли, хотя къ вечеру страшнѣе еще было смотрѣть на ноги. Но онъ не смотрѣлъ на нихъ, и

думалъ о другомъ. (И прекрасно!). Пьеръ шелъ въ гору по грязной, скользкой дорогѣ, глядя на свои ноги и на неровности пути. Изрѣдка онъ взглядывалъ на знакомую толпу, окружающую его, и опять на свои ноги. И то и другое одинаково свое и знакомое ему“. Еще бы! кто не знаетъ своихъ ногъ? „Пьеръ шелъ, оглядываясь по сторонамъ, считая шаги по три и загибая на пальцахъ“. Что жъ;—отъ бездѣлья и то руководѣлье! „Ему, казалось, что онъ ни о чемъ не думаетъ; но далеко и глубоко, идя то, что-то важное и утѣшительное думала его душа“.

— Далѣе: (стр. 77). „Наташа лежала въ постели, и въ полутьмѣ комнаты разсматривала лицо княжны Марьи. Похожа она на него? (т. е. на своего брата), думала Наташа. Да, похожа и не похожа. Но она особенная, чужая, совсемъ новая, неизвѣстная. И она любитъ меня. Что у ней на душѣ? Все доброе. Но какъ? Какъ она думаетъ? Какъ она на меня смотритъ? Да, она прекрасная. Маша, сказала она робко, притянувъ къ себѣ ее руку. Маша, ты не думай, что я дурная. Нѣтъ! Маша, голубушка. Какъ я тебя люблю. Будемъ совѣсьмъ, совѣсьмъ друзьями“.—Это—относительно блестящаго слога, *совѣсьмъ, совѣсьмъ* хорошо! Полюбуемся же теперь философiей. Рѣчь идетъ о силѣ, производящей событія: (стр. 238). „Для того, чтобы найти составляющія силы, равныя составной и равнодѣйствующей, необходимо, чтобы сумма составляющихъ равнялась составной. Это-то условіе никогда не соблюдено общими историками, и потому-то, чтобы объяснить силу равнодѣйствующую, они необходимо должны допускать, кромѣ недостаточныхъ, составляющихъ еще необъяснимую силу, дѣйствующую по составной“. (?) Хотя мы и боимся наскучить нашимъ почтеннымъ читателямъ своими выписками, но рѣшаемся, въ заключеніе статьи, сдѣлать еще одну, исполненную самой глубокой философiей.

Гр. Толстой задаетъ себѣ два вопроса: что такое *случай*? что такое *геній*? „Слова *случай* и *геній* не обозначаютъ ничего дѣйствительно существующаго, и потому не могутъ быть опредѣлены. Слова эти только обозначаютъ извѣстную

степень пониманія явленій... Для стада барановъ, тот баранъ, который каждый вечеръ отгоняется овчаромъ въ особый денникъ къ корму, и становится вдвое толще другихъ, долженъ казаться *тениемъ* (!) И это обстоятельство что каждый вечеръ, именно этотъ самый баранъ, облитъ жиромъ, убивается на мясо, должно (?) представляться по разительнымъ соединеніемъ *тениальности*, съ цѣлымъ рядомъ необычайныхъ *случайностей*. Ежели они (т. о. бараны) и не будутъ знать, для какой цѣли онъ откармливался, то, по крайней мѣрѣ, они будутъ знать, что всѣ случившеся съ бараномъ, случилось не печально, и имъ уже не будетъ нужды въ понятіи ни о *случаѣ* ни о *тени*. О, счастливо бараны!.. Какъ мы имъ завидуемъ: „имъ не будетъ нужды въ понятіи“... а какъ бы мы нуждались въ немъ, чтобъ хоть на сколько нибудь понять эту премудрую аллегорію!.. Но—шутки въ сторону—мы слышали, что нѣкоторые господа приходятъ въ телячій восторгъ отъ философіи г. Толстого; они говорятъ, что передъ нимъ и Бюкль, и Милль, и Фейербахъ, Дарвинъ и Мошоттъ и даже Брюкнеръ-швахъ!..

Хвалить, такъ ужъ хвалить; тутъ не уймешь много:

„Вѣсѣхъ нѣмцевъ за поясъ заткнемъ“!...

А мы, изъ дѣдушки Крылова,

Здѣсь кетати басенку прочтемъ:

„Такъ думаетъ ншой затѣйникъ,

„Что онъ въ подсолнечной гремѣть,

„А онъ дивитъ

„Свой только муравейникъ“!

Изъ „Петербургской Газеты“ за 1870 г. Статья II.

* * *

*) На дняхъ вышла въ свѣтъ послѣдняя часть романа графа Толстого, который въ первыхъ своихъ выпускахъ произвелъ такое сильное впечатлѣніе на читающую публику. Впрочемъ, тутъ же надо замѣтить, что впечатлѣніе это

„Русскій Пивальдъ“ 1870 г., № 3. „Война и Миръ“, т. VI. Сочиненіе г. Толстого“. Статья ***

охлаждало, по мѣрѣ приближенія романа къ концу; яркія, художественныя картины, произведенныя талантливою кистью автора, въ послѣдствіи стали блѣднѣть и блекнуть; философскія воззрѣнія, въ началѣ закупавшія читателя своею новизною и оригинальностью—значительно потеряли при дальнѣйшихъ разъясненіяхъ и повтореніяхъ; всякому стало очевидно желаніе автора поддерживать ихъ по чтобы ни стало. Въ послѣдней части авторское истощеніе становится въ особенности замѣтнымъ, а заключеніе, 2-я часть эпилога,—если только есть читатель, который въ состояніи ее осилить,—оставляетъ даже грустное впечатлѣніе.

Послѣдній томъ состоитъ изъ двухъ частей: въ первой оканчивается романъ, причемъ историческія событія доводятся до изгнанія французовъ за предѣлы Россіи; во второй (эпилогъ) авторъ встрѣчается со своими героями и героинями семь лѣтъ спустя, и описываетъ ихъ судьбу, и, наконецъ, въ заключеніи (2-я часть эпилога) пытается уяснить свои воззрѣнія на исторію и жизнь народовъ.

Способъ изложенія историческихъ и военныхъ событій въ послѣдней части романа остается у графа Толстого прежній, и блещетъ тѣми же достоинствами и недостатками, какъ и прежде, съ тою только разницею, что въ любимыхъ авторомъ и лучшихъ сценахъ слышится иногда повтореніе. Описывая послѣдній періодъ кампаніи 1812 года, авторъ по прежнему стремится доказать, что на ходъ военныхъ дѣйствій никто лично не имѣлъ вліянія, что все дѣлалось само собою, единственно возможнымъ, а потому и лучшимъ способомъ, что одинъ Кутузовъ понималъ смыслъ совершавшагося, а Наполеонъ выказалъ послѣднюю степень трусости въ этотъ замѣчательный періодъ кампаніи, именно тѣмъ, что уѣхалъ отъ своихъ разстроенныхъ войскъ.

Надо замѣтить, что этотъ періодъ даетъ весьма много матеріала для доказательства теоріи графа Толстого, и съ него бы надо было начать, но автору, вѣроятно, показалось бы не совсѣмъ эффектнымъ сходиться въ этомъ случаѣ съ мнѣніемъ историковъ, которые, за исключеніемъ лишь

нѣкоторыхъ, писавшихъ завѣдомо пристрастно, всѣ утверждаютъ, что при отступленіи у Наполеона не было никакихъ плановъ, что большею частію онъ поступалъ невольно, увлекаемый грозною необходимостью быстрого отступленія и своими голодными войсками, въ которыхъ пошатнулись узы дисциплины, дотолѣ державшія ихъ въ полномъ повиновеніи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, трудно согласиться съ авторомъ, что русскимъ войскамъ невозможно было достигнуть лучшихъ послѣдствій въ этотъ періодъ кампаніи: положеніе дѣлъ было - бы несравненно выгоднѣе, если - бы можно было заставить „великую армію“, или хотя значительную часть ея, положить оружіе: тогда, быть можетъ, упразднилась бы необходимость заграничнаго похода въ Германію и Францію. Между тѣмъ, къ чести французскихъ войскъ надо сказать, что они въ самыхъ затруднительныхъ обстоятельствахъ, босые, оборванные и голодные, не сдавались цѣлыми частями. (Исключенія въ этомъ смыслѣ весьма позначительны: такъ, напримѣръ, дивизія Партуно подѣ Березниною). Личность Кутузова восхваляется графомъ Толстымъ *безусловно*; каждое слово его, иногда случайно сказанное, иногда не имѣющее, повидимому, никакого значенія, выставляется за образецъ, но, къ сожалѣнію, въ порывѣ своего поклоненія старому фельдмаршалу, авторъ порѣдко забываетъ мѣру и даже грѣшитъ противъ истины.

При этомъ нельзя не указать на одно мѣсто въ романѣ графа Толстого, гдѣ онъ положительно искажаетъ смыслъ отзыва, сдѣланнаго въ одномъ сочиненіи о личности Кутузова. Графъ Толстой дѣлаетъ изъ „Исторіи Отечественной Войны“, г. Богдановича, слѣдующій выводъ: „что Кутузовъ былъ хитрый, придворный лжецъ, боявшійся имени Наполеона, и своими ошибками подѣ Краснымъ и Березниной лишившій русскія войска славы—полной побѣды надъ французами. Такова, продолжаетъ далѣе авторъ, судьба тѣхъ рѣдкихъ, всегда одиночныхъ людей, которые, постигая волю Провидѣнія, подчиняются ей свою личную волю. *Ненависть и презрѣніе* толпы наказываетъ этихъ людей за прозрѣніе высшихъ законовъ“.

Между тѣмъ, вотъ что мы читаемъ въ „Исторіи Отечества“ Войны“, томъ II, стр. 14: „Иностранные писатели, не вникнувъ въ положеніе дѣлъ, старались изслѣдовать, дѣйствительно ли Кутузовъ заслуживалъ почетнаго звѣста, на которое его поставили воля царя и гласъ народа, гласъ Божій. Для насъ, русскихъ, такое изслѣдованіе совершенно напрасно: мы чтимъ въ Кутузовѣ полководца, освободившаго Россію отъ чужеземнаго нашествія, готовимъ къ его памяти, и вовсе не занимаемся вопросомъ: возможно-ли было лучше исполнить то, что такъ хорошо совершилъ Кутузовъ? Напрасно иностранцы стараются унизить заслуги нашего полководца: лучшими цѣнителями ихъ могутъ быть тѣ, которымъ они принесли пользу. Напрасно говорятъ, что 67-ми лѣтній Кутузовъ былъ не способенъ командовать: до самой кончины онъ охранялъ свои умственные способности и, уже лежа на дрѣ смерти въ Гунцлау, подавалъ мудрые совѣты. Напрасно окушаются выставить на его счетъ другихъ генераловъ... отдавая каждому должное, скажемъ, что одинъ лишь Кутузовъ могъ рѣшиться на неровный бой при Бородинѣ и въ оставленіе столицы, священной въ понятіяхъ русскаго народа. Говорятъ, будто онъ могъ достигнуть болѣе важныхъ успѣховъ. Нельзя не сознаться въ справедливости этого мнѣнія, но весьма трудно рѣшать вопросъ о томъ, что могло быть и чего въ дѣйствительности не было и т.

Нѣкоторые писатели, стараясь помрачить славу нашего героя, упрекали его въ хитрости, двуличіи, дворскихъ интригахъ. Дѣйствительно, Кутузовъ былъ одаренъ умомъ весьма тонкимъ, доставлявшимъ ему средства выходить съ успѣхомъ изъ самыхъ затруднительныхъ обстоятельствъ и т. д. Обычная скрытность Кутузова, обратясь въ привычку, ставляла его хитрить даже и тогда, когда не было въ немъ нужды, а горькій опытъ долгой жизни, хотя и убѣждалъ его въ благодарности многихъ лицъ, однакоже не предохранилъ его отъ вліянія лицъ, употребившихъ во зло его благосклонность“. Далѣе авторъ въ томъ-же духѣ защищаетъ Кутузова отъ нападокъ иностранныхъ писателей,

и между прочимъ Тьера, называвшемъ его „до крайности развращеннымъ, лживымъ и т. д.“. Этого сопоставленія достаточно, чтобы судить о томъ, какъ обращается графъ Толстой съ попадающимъ ему подъ руку матеріаломъ, изъ котораго, мимоходомъ сказать, заимствовано имя самого не мало фактовъ, касающихся отечественной войны.

Указывая на нѣкоторые недостатки послѣдняго тома романа графа Толстого, мы, тѣмъ не менѣе, считаемъ необходимымъ обратить вниманіе читателей на многія художественно написанныя сцены, къ которымъ надо отнести мастерской очеркъ партизанскаго наѣзда и картинное изображеніе народной силы, выказавшейся въ эту достопамятную эпоху, когда, по выраженію автора... „дубина народной войны поднялась со всей своей грозной и величественной силой и, не спрашивая ничьихъ вкусовъ и правилъ, съ глухой простотой, но съ цѣлесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французовъ и тѣхъ поръ, пока не погибло все нашествіе“.

Въ эпилогѣ авторъ выводитъ снова своихъ оставшихся въ живыхъ героевъ и героинь и, сочетавъ законнымъ бракомъ Пьера Безухова съ Наташей, а графа Николая Ростова съ княжною Марьею Болконскою, описываетъ ихъ семейный бытъ.

Лучшимъ, вполне выдержаннымъ во всѣхъ подробностяхъ типомъ, является Денисовъ.

*Изъ „Русскаго Инвалида“ за 1870 годъ. Статья ****

* * *

*) Самой значительной литературной новостью послѣдняго времени, по крайней мѣрѣ, насколько заинтересована этимъ наша читающая публика, по справедливости слѣдуетъ назвать шестой и послѣдній томъ романа графа Л. Н. Толстого „Война и Миръ“. Романъ этотъ, какъ вѣроятно помнить читатели, съ появленіемъ первыхъ частей, сильно заинтересовалъ наше общество, и всѣ ждали съ нетерпѣ-

*) „Синъ Отечества“ 1870 г., № 3-й. „Новыя книги“. Статья—1—2.

нѣмъ слѣдующихъ томовъ его, такъ что выходъ каждой книжки былъ, можно сказать, событіемъ, какого мы давно уже не помнимъ въ нашей литературѣ. Романъ служилъ предметомъ разговоровъ, сужденій и большою частію самыхъ восторженныхъ похвалъ. Даже критика наша, полная такой разногласицы при оцѣнкѣ произведеній искусства, отнеслась къ сочиненію Л. Н. Толстого съ замѣчательнымъ вниманіемъ и симпатіей. Теперь, когда романъ совсѣмъ оконченъ, мы можемъ спокойно, оглядываясь на его первыя части и не ожидая уже больше ничего въ будущемъ, поговорить о его значеніи и литературныхъ достоинствахъ.

„Война и Миръ“, безъ всякаго сомнѣнія, принадлежить къ числу лучшихъ боллетристическихъ произведеній русской литературы за послѣдніе годы. Сочиненіе это рѣзко выдается изъ массы современныхъ романовъ и повѣстей, въ которыхъ обыкновенно на первомъ планѣ стоитъ какая-нибудь тенденція, заранее взятая авторомъ, а къ ней уже прибираются событія, фотографически выхватываемыя изъ жизни и связываемыя большою частію безъ всякой художественной обработки. Не таковъ романъ Л. Н. Толстого. Несмотря на то, что авторъ во многихъ мѣстахъ, особенно въ концѣ послѣдняго тома, падаетъ въ анализъ и рефлексію, онъ прежде всего художникъ, и романъ его представляетъ обширную картину, задуманную и выполненную по самому широкому плану, полную жизни, движенія и разнообразія.

Знаменательная эпоха русской исторіи, отъ австрійскаго похода 1805 года до окончанія отечественной войны, послужила канвой этого обширнаго романа, и авторъ обставилъ ее такимъ множествомъ историческихъ и вымышленныхъ лицъ и сценъ, что она обрисовывается въ глазахъ читателей, до самыхъ мелкихъ подробностей, вѣ въ изображеніи этой картины авторъ обнаруживаетъ крупный художественный талантъ. Мы не имѣемъ возможности касаться содержанія романа въ нашей небольшой статьѣ: на одинъ рассказъ сюжета потребовалось бы много страницъ. Напомнимъ только читателямъ хотъ такіе эпизоды, какъ аустер-

лицкое сраженіе, характеристику петербургскаго общества въ началѣ царствованія императора Александра I, прусскую компанію, бородинскую битву, пребываніе французовъ въ Москвѣ и отступленіе изъ нея. Каждый изъ этихъ эпизодовъ самъ по себѣ уже составляетъ большую картину.

Въ очертаніи и обрисовкѣ характеровъ авторъ „Войны и Мира“ такой же художникъ, какъ и въ компановкѣ картинъ. Какъ живы и вѣрны его Наполеонъ и Кутузовъ, Пьеръ Безухій и князь Болконскій, императоръ Александръ I и Ростопчинъ, княжна Марья и Наташа Ростова, Василій Денисовъ и послѣдній русскій солдатъ. Съ перваго взгляда всѣ эти портреты, по особенно мѣткимъ и мастерски снятымъ съ дѣйствительности чертамъ, похожи какъ будто на фотографіи, взятые прямо съ натуры; но вы скоро убѣждаетесь, что они написаны рукою художника. Въ каждомъ изъ нихъ авторъ умѣлъ уловить черты, иногда, можетъ быть, слишкомъ рѣзкія, но въ то же время настолько характерныя, что онѣ вполне доказываютъ художественность типа.

Въ доказательство того, съ какимъ мастерствомъ Л. Н. Толстой задумываетъ и выполняетъ сцены, то драматически-поразительныя, то комически-забавныя, намъ стоило бы открыть любой томъ и выписать первую попавшуюся страницу; но самое обиліе отрывковъ при этомъ выборѣ заставляетъ насъ отказаться отъ удовольствія подтвердить наглядно нашъ отзывъ. Какъ ни тяжело намъ ограничиться голословной замѣткою по этому предмету, но мы покоряемся необходимости, тѣмъ болѣе, что изъ дальнѣйшихъ словъ нашихъ читателей едва ли могутъ заподозрить насъ въ желаніи хвалить бездоказательно автора „Войны и Мира“.

Разсматривая безпристрастно романъ графа Л. Н. Толстого, мы находимъ его далеко несовершеннымъ. Прежде всего замѣчается въ немъ недостатокъ той строго-художественной цѣлости, какою отличаются произведенія великихъ мастеровъ. Картина, представляемая авторомъ, по своей обширности и неравномѣрности эпизодовъ, является до излишества многосложною и запутанною: въ ней нѣтъ ни симметріи

ни согласія частей. Она напоминаетъ не столько художественные романы Вальтеръ-Скотта или Диккенса, также обильные сценами и лицами, но правильные и гармонически скomпанованные, сколько тѣ средневѣковыя мистеріи и романческія повѣсти, гдѣ безчисленные эпизоды громоздятся одинъ на другой, и лица смѣняются, какъ въ волшебномъ фонарѣ, являясь иногда неизвѣстно вачѣмъ и исчезая неизвѣстно куда. Еслибы читатель не зналъ другихъ сочиненій Л. Н. Толстого, онъ могъ бы подумать, что, „Война и Миръ“ — произведение молодого, только что начинающаго таланта, который еще не умѣетъ справиться съ огромной массою принадлежащаго ему матеріала, не знаетъ, какъ группировать и отдѣлять его, и занутиваетъ фабулу излишними подробностями. Но такъ какъ романъ этотъ далеко не первое произведение автора, то мы имѣемъ право отнести къ нему строже и замѣтить, что неумѣнно романиста распорядиться своимъ матеріаломъ сильно вредить ему, и отнимаетъ много пролести у ого во всякомъ случаѣ несомнѣннаго таланта.

Другая странная, если не сказать болѣе, сторона сочиненія графа Толстого—это проведенная имъ черезъ весь романъ парадоксальная идея о зависимости историческихъ событій не столько отъ воли и обдуманыхъ дѣйствій какихъ бы то ни было личностей, сколько отъ какого-то фаталистическаго, независимаго отъ нихъ хода жизни. Гр. Толстой старается показать, что и война ведется не по разумному плану, и сраженія выигрываются чисто случайно, и миръ заключается словно не по волѣ людей, а тоже благодаря одному случаю. Что историкъ, гонимый за раскрытіемъ причинъ событій и опредѣленіемъ ихъ взаимной зависимости, часто вдаются въ фантастическіе вымыслы—это несомнѣнно; но и отрицаніе всякаго разумнаго вліянія личностей на тотъ или другой оборотъ событія—тоже парадоксъ, не менѣе фантастическій. Положимъ, напримѣръ, что французы, а за ними и другіе, увлекаясь Наполеономъ, драпировали его въ пышную мантию несбылагаго военнаго генія, а графъ Толстой справедливо и ловко снимаетъ съ

него этотъ покровъ, и показываетъ его въ настоящемъ свѣтѣ; но возможно ли, съ другой стороны, всѣ успѣхи Наполеона приписывать только счастливому случаю или неспособности противниковъ, съ которыми приходилось ему имѣть дѣло.

Наконецъ, мы не можемъ удержаться, чтобы не указать еще на одинъ важный недостатокъ Л. Н. Толстого: это языкъ его романа. Намъ кажется, что послѣ Пушкина и Лермонтова, Гончарова и Тургенева, писать порядочнымъ слогомъ небольшая трудность для даровитаго романиста. Между тѣмъ, что за языкъ въ послѣднемъ романѣ г. Толстого? Рѣчь его, тамъ гдѣ идетъ рассказъ отъ лица самого автора, сочетается часто изъ нагроможденныхъ одно на другое предложений въ такіе безобразные періоды, съ такимъ частымъ повтореніемъ однихъ и тѣхъ же словъ, что напоминаетъ невольное средневѣковую латынь или писаніе нашихъ старыхъ приказныхъ. Неужели послѣ стройной и изящной рѣчи Пушкина и Лермонтова, можно опять вернуться къ языку до-Карамзинскаго періода? И какой примѣръ подастъ даровитый романистъ подобной небрежностью молодымъ писателямъ? Если онъ цѣнитъ сколько-нибудь искусство, ему слѣдовало-бы подумать объ этомъ. Что касается до послѣдняго шестого тома „Войны и Мира“, то вообще онъ слабѣе первыхъ частей романа и показываетъ, что авторъ какъ бы утомился своимъ рассказомъ, и торопится его кончить. Бѣгство французовъ изъ Россіи очерчено авторомъ только въ немногихъ сценахъ и въ самомъ легкомъ эскизѣ; лица, съ которыми познакомились мы въ предыдущихъ частяхъ, или вовсе не являются, или показываются затѣмъ только, чтобы попрощаться съ читателями. Вторая же половина эпизода состоитъ изъ какого-то философско-историческаго трактата, въ которомъ авторъ хотѣлъ высказать свой взглядъ на значеніе взятой имъ въ основу своего романа эпохи и вообще на значеніе всей исторіи. Здѣсь онъ окончательно развиваетъ любимую свою тему о пружинахъ исторической жизни, и мы позволимъ себѣ кончить его словами.

„Какъ для астрономіи, пишетъ г. Толстой, трудность признанія движенія земли состояла въ томъ, чтобы отказаться отъ непосредственнаго чувства неподвижности земли и такого-же чувства движенія планетъ, такъ и для исторіи трудность признанія подчиненности личности законамъ пространства, времени и причинъ, состоитъ въ томъ, чтобы отказаться отъ непосредственнаго чувства независимости своей личности. Но какъ въ астрономіи новое воззрѣніе говорило: „правда, мы не чувствуемъ движенія земли, но, допустивъ ея неподвижность, мы приходимъ къ безсмыслицѣ; допустивъ-же движеніе, котораго мы не чувствуемъ, мы приходимъ къ законамъ“, такъ и въ исторіи новое воззрѣніе говоритъ: „правда, мы не чувствуемъ нашей зависимости, но, допустивъ нашу свободу, мы приходимъ къ безсмыслицѣ; допустивъ же свою зависимость отъ вѣшняго міра, времени и причинъ, приходимъ къ законамъ“.

Въ первомъ случаѣ надо было отказаться отъ сознанія не существующей неподвижности въ пространствѣ, и признать не ощущаемое нами движеніе; въ настоящемъ случаѣ точно также необходимо отказаться отъ несуществующей свободы, и признать не ощущаемую нами зависимость“.

Скажемъ въ заключеніе, что прочтя „Войну и Миръ“, мы пришли къ убѣжденію, что художественная часть романа Л. Н. Толстого неизмѣримо выше его своеобразной философіи.

Изъ „Сына Отечества“ за 1870 г. Статья—з—з.

* * *

*) Романъ графа Толстого, „Война и Миръ“ достаточно подробно разобранъ какъ въ нашей военной журналистикѣ, такъ и въ другихъ повременныхъ изданіяхъ. Критики съ наибольшимъ вниманіемъ останавливались на отрицательной сторонѣ его, на тѣхъ промахахъ и ошибкахъ, которые они клонны были видѣть въ трудѣ автора; о достоинствахъ же сочиненія почти всегда упоминается вскользь, и рѣдко.

*) „Военный Сборникъ“ 1870 года, № 6-й. „Военныя сцены изъ романа *Война и Миръ*, графа Толстого, т. VI“.

выясняются прекрасныя стороны таланта графа Толстого хотя онъ встрѣчаются въ романѣ на каждомъ шагѣ. Слѣдующая сторона таланта автора—это военныя сцены, при изображеніи которыхъ онъ становится настоящимъ мастеромъ и смѣлыми штрихами рисуетъ картину боевой жизни. Ея изображенія далеко непохожи на ту избитую батальную живопись, гдѣ войска представлены одѣтыми съ иголочки гдѣ все имѣетъ какой-то праздничный видъ, и даже смерти и кровь—эти ужасы войны—далеко не имѣютъ ужасающаго вида; гдѣ на первомъ планѣ картины является не играющая никакой роли лошадь, вызывающая верхъ знаній и положеній въ живописцѣ, или гренадеръ, умирающій въ позѣ гладиатора. Напротивъ, живописецъ гр. Толстого замѣчательно именно тѣмъ, что онъ умѣетъ схватить жизнь и движеніе массы и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ярко и рельефно обрисовать личности, которыя сами собою, по ходу дѣла, выдвигаются на первый планъ.

Читатели „Военнаго Сборника“ отчасти знакомы съ боевыми сценами изъ произведеній графа Толстого. Считаю нелишнимъ познакомить читателей со сценами, изъятыхъ изъ послѣдней части романа графа Толстого. Мы обратимъ вниманіе на наиболѣе выдающіяся черты описаній, и постараемся показать, какимъ образомъ авторъ часто изъ весьма скуднаго матеріала извлекалъ полныя жизни и правды картины. Лучшими сценами послѣдней части „Войны и Мира“ можно назвать: партизанскій набѣгъ и сцену костровъ при преслѣдованіи французовъ изъ Москвы.

Но прежде чѣмъ обратиться къ описанію смысла и значенія этихъ сценъ, скажемъ нѣсколько словъ по поводу именъ, встрѣчающихся въ романѣ гр. Толстого.

Имена эти, весьма похожія на имена дѣйствительныхъ участниковъ войны 1812 года, по разѣ вводили въ заблужденіе людей, мало знакомыхъ съ исторіей эпохи: Волконскаго называли Волконскимъ, Денисова Денисомъ Давыдовымъ и даже Долохова, одного изъ героевъ партизанскаго набѣга, называли Дороховымъ. Между тѣмъ, по описанію автора, Долоховъ, молодой офицеръ, командовавшій небольшою пар-

тизанскою партію, а Дороховъ былъ генераломъ и командовалъ значительнымъ отрядомъ, служившимъ точкою опоры для другихъ партизановъ. Кромѣ того, познакомившись короче съ романомъ, можно положительно сказать, что всѣ типичныя лица, выведенныя гр. Толстымъ, всецѣло принадлежатъ ему, и не имѣютъ ни малѣйшаго притязанія на заимствованіе. Самъ авторъ заявилъ въ одномъ изъ пумеровъ „Русскаго Архива“, что онъ вовсе не желалъ выставить кого-либо изъ отшедшихъ героевъ 12-го года, а брать знакомыя фамиліи, потому что тѣ лучше звучатъ для русскаго уха, чѣмъ фамиліи выдуманныя. Тѣмъ не менѣе, основаніемъ разсказа о партизанскомъ набѣгѣ Долохова послужили гр. Толстому разсказы о подвигахъ извѣстнаго Фигнера во время отечественной войны, которые мы находимъ умѣстнымъ припомнить здѣсь, чтобы показать, изъ какого матеріала авторъ создалъ свой типъ партизана.

Извѣстный въслѣдствіи партизанъ, артиллеріи капитанъ Фигнеръ, съ самаго начала отечественной войны отличался фанатическою ненавистью къ Наполеону, имѣвшею даже мистическій оттѣнокъ, что было тогда въ модѣ: онъ ежедневно ходилъ по церквамъ и со слезами молился Богу объ избавленіи Россіи отъ чудовища. По занятіи непріателемъ Москвы, Фигнеръ, съ разрѣшенія главнокомандующаго, отправился въ оставленную столицу и, переодѣваясь въ различные костюмы, днемъ вывѣдывалъ, что ему было нужно, а ночью, собравъ жителей, нападалъ на французовъ и производилъ безпорядокъ и суматоху въ мѣстахъ ихъ расположенія. По открытіи партизанскихъ дѣйствій, Фигнеръ получилъ небольшой отрядъ, съ которымъ онъ и дѣйствовалъ въ тылу французской арміи, отличаясь необычайною смѣлостью нападенія, доходившею до дерзости, и жестокостью, съ которою онъ обращался съ французами *). У его подвиговъ было много разсказовъ послѣ кампаніи 12-го года, и вотъ, между прочимъ, что пишетъ одинъ изъ офицеровъ (Бискупскій), находившійся въ отрядѣ Фигнера.

*) Заимствовано изъ „Исторіи отечественной войны“ г. Богдановича.

Фигнеръ, по свидѣтельству Бискупскаго, не разъ пересѣдѣлъ въ французскій мундиръ и, пользуясь французскимъ языкомъ, извѣстнымъ ему въ совершенствѣ, добывалъ такіа свѣдѣнія, которыя, иными путемъ, ему не давались. Одинъ разъ, пересѣдѣвши въ бѣлый плащъ французскаго кирасира, онъ привелъ свой отрядъ на опушку лѣса, и, приказавъ людямъ слѣзть съ коней и соблюдать всѣвозможную тишину, самъ выѣхалъ на просѣку, вдоль которой пролегла дорога, и остановился въ тишинѣ, у опушки лѣса. Вскорѣ раздался топотъ лошадей, говоръ солдатъ и показались на дорогѣ французскіе кирасиры, въ колоннѣ по шести. Давъ пройти тремъ эскадронамъ, и будучи замѣченъ, Фигнеръ самъ сдѣлалъ окликъ „qui vive“; тогда одинъ изъ кирасирскихъ офицеровъ, ѣхавшій на флангъ, отдѣлился отъ эскадрона и подъѣхалъ къ Фигнеру, который, обмѣнявшись съ нимъ нѣсколькими словами, повернулъ лошадь и шагомъ поѣхалъ въ лѣсъ. Присоединившись къ отряду, Фигнеръ тотчасъ же двинулся далѣе и, пройдя по заглухшимъ тропинкамъ, по указанію крестьянъ-проводниковъ, довольно большое пространство, снова вышелъ на большую дорогу, сѣвшилъ свой отрядъ, приказавъ ему ждать, а самъ съ двумя офицерами польскаго уланскаго полка, мундиръ которыхъ подходилъ къ французскому, отправился на большую дорогу. Выѣхавъ изъ лѣса, всадики увидѣвъ, верстахъ въ двухъ отъ себя, на открытомъ мѣстѣ, у села, довольно обширный французскій лагерь. „Подѣмъ къ нимъ“, сказалъ Фигнеръ, и вмѣстѣ съ своими товарищами, маленькою рысцею подъѣхалъ къ лагерю такъ беззаботно, что часовымъ даже не пришла въ голову остановить его. Приблизясь къ кирасирскому полку, ночью проходившему мимо его отряда, Фигнеръ обратился къ стоявшимъ вмѣстѣ двумъ офицерамъ, пожелавъ имъ добраго утра, и вступилъ съ ними въ продолжительную бесѣду, между тѣмъ какъ офицеры его, разговаривая по неволѣ съ обступившими ихъ кирасирами, считали себя погибшими. Наконецъ, онъ распрощался съ офицерами, повернулъ лошадь и отъѣхалъ нѣсколько шаговъ; но вдругъ

опять возвратился къ своимъ новымъ знакомымъ,—сдѣлалъ нѣсколько вопросовъ, и хладнокронно отправился въ лѣсъ къ своему отряду.

Въ другой разъ, Фигнеръ, съ находившимся въ его отрядѣ гусарскимъ поручикомъ Орловымъ переодѣвшись во французскіе мундиры, отправился прямо въ авангардъ большой арміи, гдѣ была расположена главная квартира Мюрата. Пробравшись незамѣтно чрезъ цѣпь ведетовъ, Фигнеръ подѣхалъ къ мосту на рѣчкѣ, прикрывавшей французскій бивуакъ. Нѣхотный часовой встрѣтилъ его окликомъ „qui vive“; но Фигнеръ, вмѣсто отзыва, котораго, конечно, не зналъ, разругалъ часового за незнаніе службы и за неумѣстное требованіе отзыва отъ офицера, повѣряющаго передовые посты. Осторожный часовой пропустилъ партизановъ въ лагерь, куда Фигнеръ явился какъ свой, подѣзжалъ ко многимъ кострамъ, говорилъ съ офицерами и, узнавъ все, что ему было нужно, возвратился къ мосту. Тамъ снова сдѣлалъ наставленіе часовому, чтобы онъ не осмѣливался останавливать рундовъ, переѣхалъ черезъ мостъ, и сначала пробирался шагомъ, а потомъ, приблизясь къ цѣпи подетовъ, промчался чрезъ нее вмѣстѣ съ Орловымъ подъ пулями, и возвратился къ отряду.

Вотъ, отчасти, та канва, которая послужила гр. Толстому для мастерскаго описанія партизанскаго набѣга. Читатели увидятъ, что сдѣлалъ авторъ изъ этого хотя не безынтереснаго, но довольно сухого разсказа. Прежде всего авторъ представляетъ общую характеристику партизанскихъ дѣйствій въ отечественную войну“...

(Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Такъ называемая партизанская война началась со вступленія неприятеля въ Смоленскъ“... И кончающаяся: „Казакъ и мужики, лазившіе между французами, считали, что теперь уже все возможно“).

Вотъ краткій очеркъ партизанскихъ дѣйствій, дополненный въ другихъ мѣстахъ романа многими яркими чертами. Мѣткое сравненіе французской арміи съ иссохшимъ деревомъ, теряющимъ свои листья, вѣрно объясняетъ тогдашнее

положеніе французовъ; великая армія, вслѣдствіе совокупности многихъ обстоятельствъ, лишилась того связующа звена, которое, по справедливости, можно назвать душою арміи—лишилась дисциплины. Но голодъ и лишенія разнаго рода имѣли вліяніе на слабость французской арміи потому что военная исторія имѣетъ доказательство, что босня и голодная войска дерутся отлично, но именно отъсутствіе дисциплины. Во время пребыванія французской арміи въ Москвѣ, дошло до того, что не только солдаты, но и офицеры равнодушно смотрѣли на свои обязанности и позволяли высказывать неуваженіе не только къ своимъ генераламъ, но и къ императору. Въ приказѣ одного изъ маршаловъ читаемъ: „Все офицеры, какого бы то ни было чина, проходя съ войсками мимо императора, должны салютовать шнагоу его величеству. Сегодня на разводѣ это не исполнялось. Постановляя на видъ г.г. офицерамъ такое несоблюденіе ихъ обязанностей, маршалъ предписываетъ начальникамъ частей войскъ, чтобы они имѣли надзоръ за порядкомъ службы“ *).

Между тѣмъ части, сохранившія дисциплину, были страшны партизанамъ въ самыя критическія минуты похода. Даниловъ рассказываетъ о нападеніи своихъ партизановъ на отрядъ старой гвардіи и, отдавая должную справедливость этимъ войскамъ, говоритъ, что, при нападеніи партизановъ, колонна въ грозномъ молчаніи продолжала свое движеніе, и ни однимъ выстрѣломъ не отвѣчала на крикъ и гиканье казаковъ, гарцовавшихъ въ почтительномъ разстояніи. Далѣе авторъ переходитъ къ описанію набѣга...

(Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „22-го октября Денисовъ, бывший однимъ изъ партизановъ, находился съ своимъ отрядомъ въ самомъ разгарѣ партизанской страсти“... И кончающаяся: „Нападать другой разъ Денисовъ считалъ опаснымъ, чтобы не вострожить всю колонну, и потому онъ послалъ впередъ въ Шамшево бывшего при его партіи мужика Тихона Щербатаго захватить, если

*) „Отечественная война“ геп. Богдановича.

можно, хоть одного изъ бывшихъ тамъ французскихъ передовыхъ квартирмейстеровъ“)...

Прежде чѣмъ изложить картину набѣга, мы познакомимъ читателя съ личностями Денисова и Долохова, согласно съ описаніемъ графа Толстого: черты ихъ разбросаны въ разныхъ мѣстахъ сочиненія. Личность Денисова, одна изъ самыхъ выдержанныхъ въ романѣ, совершенно удалась автору и очерчена имъ чрезвычайно рельефно. Это одна изъ тѣхъ непосредственныхъ, нетронуемыхъ рефлексомъ натуръ, которыя не колеблются при встрѣчѣ съ неожиданностями и съ подводными камнями жизни, но всегда знаютъ, навѣрное, какъ имъ поступить въ данномъ случаѣ; которыя инстинктивно отличаютъ доброе отъ злого, и всегда остаются вѣрными самимъ себѣ, но ломая своихъ инстинктовъ, не раскаиваясь въ своихъ поступкахъ. Рѣшимость и удалъ Денисова приходили къ нему не въслѣдствіе сложныхъ умозаключеній, но просто потому, что онѣ были сродни его натурѣ. Такое равновѣсіе между головой и сердцемъ весьма благоприятно для военного человѣка, и такіе, много смѣющіе люди чаще всего способны вселить къ себѣ обожаніе солдатъ, и водить массу на такіа дѣла, которыя не по плечу другому, гораздо болѣе умному и развитому человѣку.

Денисовъ, извѣстный всей кавалерійской дивизіи подъ именемъ Васьки Денисова, былъ типъ гусара Александровскихъ временъ, со всеми его достоинствами и недостатками. Смѣсь барства и аристократическихъ привычекъ съ грубостью рубаки и лихостью наѣздника были отличительными свойствами этого кружка. Съ военной точки зрѣнія, въ немъ было дорого тѣсное товарищество, связывавшее эту военную семью, и любовь къ своему дѣлу. Денисовъ былъ лицетвореніемъ этого кружка. Плотный, маленькій, лохматый, съ черными блестящими глазами и лѣсомъ жесткихъ курчавыхъ волосъ, онъ былъ отличный наѣздникъ, знатокъ лошадей и мазурнствъ, горькій пьяница время отъ времени, ю, выѣствъ съ тѣмъ, поэтъ и человѣкъ, умѣвшій чутко понимать прекрасное, и инстинктивно сторониться отъ всего злого и подлового. Отличительное свойство его характе-

ра—рѣшимость, приходящая къ нему во всѣхъ случаяхъ жизни: правилась ему дѣвушка—онъ не мямлилъ, а прямо дѣлалъ предложеніе; ему отказывали—онъ пилъ съ гора, а потомъ здоровая натура указывала ему другую дѣятельность, и онъ не погибалъ отъ непріятностей; не оглядываясь проматывалъ послѣднюю копейку, а одинъ разъ, когда его эскадронъ голодалъ отъ недостатка фуража и несправности провіантскихъ чиновниковъ, онъ взялъ штурмомъ свой же, русскій, транспортъ, и прокормилъ свой эскадронъ, за что чуть ли не попался сърою шинелью. Горячій и своенравный, онъ часто готовъ былъ на насилие, но никогда оно не было направлено противъ слабого и забитаго, а всегда въ защиту его, и если онъ кого обрывалъ, такъ за дѣло. Авторъ, анализируя нравственные побужденія своихъ героев и, съ безпристрастіемъ оператора, выставляя душевныя ихъ язвы, во все продолженіе романа не нашелъ ничего дурного въ этомъ типѣ, и выдержалъ тонъ до конца.

Другой партизанъ, дѣйствовавшій вмѣстѣ съ Денисовымъ, былъ Долоховъ, натура несравненно болѣе сложная и нервная, но далеко не такая симпатичная. Прежде всего это былъ въ высшей степени страстный человѣкъ, готовый до увлеченія предаться волнующему его чувству, въ порывѣ страсти готовый на жестокость; даже французовъ онъ ненавидѣлъ какою то особою, личною ненавистью. Вмѣстѣ съ тѣмъ, этотъ человѣкъ, который, казалось, смѣялся надъ всѣмъ—надъ чувствомъ, надъ молодостью, даже надъ честью—обожалъ до страсти свою старуху мать, съ которою онъ жилъ. Мало дорожившій своею жизнію, холодный и безстрастный въ пылу сраженія, онъ также способенъ былъ командовать самостоятельнымъ отрядомъ, и сообщалъ увѣренность своимъ подчиненнымъ...

(Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Былъ осенній, теплый, дождливый день...“ И кончающаяся: „Въ серединѣ вытянувшихся казаковъ двѣ фуры, на французскихъ и подпругенныхъ въ сѣдлахъ казачьихъ лошадяхъ, громыхали по ниямъ и сучьямъ и бурчали по наполненнымъ водою колеямъ дороги“).

Нельзя не остановиться на этой мастерской картинѣ, изображенной авторомъ. Читатель видитъ передъ собою общее впечатлѣніе, производимое слѣдованіемъ партизанскаго отряда по глухой, лѣсной дорогѣ; предъ нимъ обрисовываются отдѣльныя личности и малѣйшія мелочи, намѣченные авторомъ нѣсколькими мѣткими штрихами. Физиономіи лошадей, поза людей, снаряженный костюмъ ихъ, все это нарисовано такъ живо, что передъ читателемъ возстаетъ лѣсной походъ въ осенній, мокрый день; такъ и слышатся звуки, дополняющіе картину: шлепанье копытъ по грязи и тихій говоръ толпы...

(Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Лошадь Денисова, обходя лужу, которая была на дорогѣ, потянулась въ сторону и толкнула его козѣнкой о дерево...“ И кончающаяся: „Офицеръ этотъ, очень молоденькій мальчикъ, съ широкимъ, румянымъ лицомъ и быстрыми, веселыми глазами, подскочилъ къ Денисову и подаль ему промокшій конвертъ“).

Это былъ Петя Ростовъ, старинный знакомый Денисова, который зналъ его ребенкомъ, былъ друженъ со всѣмъ его семействомъ, и даже не равнодушенъ къ его сестрѣ. Ростовъ привезъ отъ нѣмца-генерала вторичное приказаніе присоединиться. Это заставило задуматься лихого партизана и пожалѣть о добычѣ, готовой выскользнуть изъ его рукъ. Посоветовавшись съ своимъ сотрудникомъ, казачьимъ есауломъ, Денисовъ рѣшился атаковать непріятеля только своимъ небольшимъ отрядомъ, вмѣстѣ съ Долоховымъ, и для того направился къ опушкѣ лѣса, чтобы окончательно рассмотреть расположеніе непріятеля. Молодой Ростовъ, предвидѣвшій дѣло и рванувшійся къ непріятелю, по горячности своей натуры, несмотря на приказаніе генерала возвратиться, остался при Денисовѣ.

(Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Дождикъ прошелъ; только надалѣ туманъ и капли воды съ вѣтокъ черевьевъ...“ И кончающаяся: „Лоциной нельзя будетъ — грасина“, сказалъ есаулъ. „Конной увязнѣшь, надо объѣзжать полѣвѣ“).

Какъ видѣтъ читатель, это рекогносцировка и планъ атаки, не въ сухомъ изложеніи учебника, а въ полной и оживленной картинѣ. Тутъ есть и скрытное движеніе съ соблюденіемъ всѣхъ предосторожностей, и тщательный, близкій осмотръ непріятеля, и полный планъ атаки со всѣми подробностями исполненія, съ расчетомъ на мѣстность и, главное, на свой задоръ и увѣренность въ людяхъ. Затѣмъ авторъ переходитъ къ описанію чрезвычайно типичной личности мужика, приставаго къ партиѣ...

(Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Въ то время, какъ они вполголоса говорили такимъ образомъ, внизу въ лощинѣ отъ пруда, шелкнулъ одинъ выстрѣлъ, забѣлѣлся дымокъ, другой, и послышался дружный, какъ будто веселый крикъ сотенъ голосовъ французовъ, бывшихъ на полуротѣ...“ И кончающаяся:—„Ну зовокъ, сказалъ ссаулъ“).

Тихонъ Щербатый, описанный авторомъ, это типъ русскаго мужика, выводимаго изъ терпѣлія непрощенными гостями, и расходившагося не на шутку. Въ лицѣ его, по нашему мнѣнію, мѣтко изображается весь характеръ народнаго возстанія въ тяжелую годину отечественной войны. Сначала онъ, вѣроятно, какъ и всѣ, не могъ понять смысла вторженія непріятеля въ его родное село, но когда увидѣлъ кровь и зарено пожаровъ, когда напелъ потоптанными свои поля, обработанныя съ тяжелымъ трудомъ и окропленныя его потомъ, тогда чувство мести охватило его: онъ поднялся и олицетворилъ собою ту дубину, которая гвонѣла французовъ до послѣдняго издыханія. Во всемъ остальномъ онъ оставался тѣмъ же наивнымъ и добродушнымъ мужичкомъ: не боявшійся ходить въ одиночку чуть не въ главную квартиру французскихъ маршаловъ, онъ чувствовалъ себя не въ своей тарелкѣ предъ сельскимъ старостой и становымъ и предъ всякаго рода начальствомъ. Главное достоинство народной силы въ то время было ея единодушіе, но крайней мѣрѣ въ тѣхъ губерніяхъ, которыя непосредственно терпѣли отъ французовъ; весь народъ тогда состоялъ изъ такихъ Тихоновъ, которые не въ ожиданіи награды или отличія, но въ полномъ сознаніи правоты

своего дѣла и необходимости поступать такъ, а не иначе, дѣлали дѣло, очищали свое отечество отъ забѣжавшихъ чужеземцевъ...” (Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Тихонъ Щербатый былъ одинъ изъ самыхъ нужныхъ людей въ партіи...“). И кончающаяся: „Но или потому, что онъ не удовлетворялся однимъ французомъ, или потому что просналъ ночь, онъ днемъ залѣзъ въ кусты, въ самую середину французовъ, и, какъ видѣлъ съ горы Денисовъ, былъ открытъ ими“).

Партизаны, посмотрѣвъ издали на французовъ и боясь быть открытыми, поѣхали назадъ къ лѣсной караулкѣ. Денисовъ, повидавшему, рѣшилъ, во чтобы-то ни стало, произвести нападеніе. Въ это время на сцену появился Тихонъ Щербатый... (Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Подъѣзжая къ лѣсной караулкѣ, Денисовъ остановился, взглядываясь въ лѣсъ...“). И кончающаяся: „Денисовъ вдругъ повеселѣлъ и подозвалъ къ себѣ Петю“...).

Затѣмъ авторъ описываетъ личность молодого Ростова и его поторженное юное настроеніе“.

(Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Петя, при выѣздѣ изъ Москвы оставилъ своихъ родныхъ, присоединился къ своему полку, и скоро послѣ этого былъ взятъ ординарцемъ къ генералу, командовавшему большимъ отрядомъ...“). И кончающаяся: „Но когда онъ увидалъ французовъ, увидалъ Тихона, узналъ, что въ ночь непременно атакуютъ, онъ, съ быстротою переходовъ молодыхъ людей отъ одного взгляда къ другому, рѣшилъ самъ съ собою, что генералъ его, котораго онъ до сихъ поръ очень уважалъ, дряннъ, нѣмецъ, что Денисовъ герой, и есаулъ герой, и что Тихонъ герой, и что ему было-бы стыдно уѣхать отъ нихъ въ трудную минуту“).

Между тѣмъ Денисовъ, со своими офицерами, подѣхалъ къ полянкѣ, гдѣ уже во всемъ разгарѣ проявлялась бивушная жизнь. Казаки и гусары устраивали себѣ шалаши и разводили огни, располагая костры на низкихъ мѣстахъ, чтобы спрятать ихъ отъ французовъ. Для офицеровъ нашлась палатка, въ которой они сами устроили себѣ столъ

изъ дверей и расположились ужинать. Несмотря на трудныя времена по части продовольствія, на столѣ красовались: водка, ромъ, бѣлый хлѣбъ и баранина. Здѣсь авторъ доканчиваетъ портретъ Пети и обрисовываетъ его молодую, сочувствующую всему хорошему душу“.

(Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Сидя вмѣстѣ съ офицерами за столомъ и разрывая руками, по которымъ текло сало, жирную, душистую баранину, Петя находился въ восторженномъ дѣтскомъ состояніи нѣжной любви ко всѣмъ людямъ и, вслѣдствіе того, увѣренности въ такой-же любви къ себѣ другихъ людей“... И кончающаяся: „Онъ только ощущивалъ въ карманѣ деньги, и былъ въ сомнѣніи, не стыдно ли будетъ дать ихъ барабанщику“).

Вслѣдъ затѣмъ въ избу вошелъ давно-ожидаемый Денисовымъ и начальникъ другого партизанскаго отряда—Долоховъ. Этотъ офицеръ давно уже былъ извѣстенъ своимъ набѣгами, и въ арміи ходило множество разсказовъ о его необыкновенной смѣлости и жестокости съ французами.

(Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Наружность Долохова странно поражала своею простотою“... И кончающаяся: „Потомъ Денисовъ разсказалъ про все, что онъ зналъ о положеніи французскаго отряда“).

Долоховъ, не удовольствовавшись этими свѣдѣніями, высказалъ намѣреніе посмотреть французовъ поближе и съѣздить въ ихъ лагерь.

Обратившись къ офицерамъ, Долоховъ вызвалъ желающихъ съ нимъ ѣхать, при чемъ молодой Ростовъ, съ необыкновенною поспѣшностью, вызвался ему сопутствовать, предчувствуя, что сообщество съ Долоховымъ приведетъ его къ какому нибудь геройскому подвигу, котораго онъ такъ жадно отыскивалъ. Несмотря на сопротивленіе Денисова, Ростовъ рѣшительно высказалъ свое намѣреніе ѣхать, и Денисовъ видѣлъ, что ему не удержать молодого человека. Здѣсь авторъ рельефно обрисовалъ черту жестокости въ характерѣ Долохова, по отношенію его къ плѣннымъ. Когда разговоръ зашелъ о молоденькомъ плѣнномъ барабанщикѣ, Долоховъ спросилъ...

(Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „—Ну, а остальныхъ ты куда дѣваешь? сказалъ Долоховъ“... И кончающаяся:— „Потому что, согласитесь сами, если не знать вѣрно сколько тамъ, отъ этого зависитъ жизнь, можетъ быть, сотенъ, а тутъ мы одни, и потомъ мнѣ очень этого хочется, и я непремѣнно, непремѣнно побѣду, вы уже меня не удерживайте, говорилъ онъ: только хуже будетъ“...).

Въ выше приведенномъ разсказѣ Долоховъ проводитъ мысль, что, въ извѣстныхъ случаяхъ, не слѣдуетъ брать плѣнныхъ, подразумѣвая подъ этимъ жестокое убійство. Сколько извѣстно, дѣйствительно, въ войну 1812 года бывали подобные случаи; французы гибли подъ вилами мужиковъ нерѣдко, но то, что случалось какъ исключеніе, конечно, нельзя подвести подъ общее правило, и ни русскій народъ ни, тѣмъ болѣе, армія не признавали такого способа веденія войны законнымъ, хотя, въ пылу мести и раздраженія, а не съ холоднымъ звѣрствомъ, иногда побивали толпы французовъ.

Между прочимъ, авторъ, въ другомъ мѣстѣ своего романа, словами другого своего героя, высказываетъ ту же мысль, предполагая, что если вести войну на смерть, то войны отъ того сдѣлаются рѣже, не будутъ вестись изъ-за причинъ мало уважаемыхъ, и что, въ сущности, кровопролитія будутъ менѣе. Съ этимъ, конечно, нельзя согласиться, какъ потому, что этому противорѣчитъ исторія, указывающая, что въ тѣ времена, когда войны были кровопролитны, когда уничтожались цѣлыя населенія, тогда онѣ и были часты,—такъ и потому, что такое убѣжденіе противно натурѣ человѣка. Русскій народъ менѣе всего способенъ на такую жестокость, особенно въ хладнокровномъ состояніи духа, и Суворовъ, знавшій хорошо русскаго солдата, говаривалъ: „убѣжденнымъ давай пощаду, они тоже люди“.

Авторъ переходитъ къ описанію побѣдки Долохова и Ростова во французскій лагерь, куда они отправились для ближайшаго ознакомленія съ состояніемъ французскихъ войскъ.

Одѣвшись во французскія шинели и кивера, Петя съ

Долоховымъ поѣхали на ту проську, съ которой Денисовъ смотрѣлъ на лагерь, и выѣхавъ изъ лѣса въ совершенной темнотѣ, спустились въ долину. Съѣхавъ внизъ, Долоховъ велѣлъ сопровождавшимъ его казакамъ дожидаться тутъ, и поѣхалъ крупной рысью по дорогѣ къ мосту. Петья, замирая отъ волненія, ѣхалъ съ нимъ рядомъ...

(Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: — „Если понадемся, я живымъ не отдамся, у меня пистолетъ, прощенталь Пети“... И кончающаяся: „Долоховъ поцѣловалъ его, засмѣялся и, повернувъ лошадь, скрылся въ темнотѣ“).

Выше мы приводили рассказъ очевидца изъ боевой жизни Фигнера, весьма схожій съ написанною графомъ Толстымъ сценою. Читатель можетъ судить, что сдѣлано художникомъ въ этомъ мастерскомъ описаніи; тутъ все вѣрно, все правда, скорѣе ощущаемая, чѣмъ видимая и доказанная. Психологическая сторона рассказа въ особенности замѣчательна, нѣсколькими штрихами авторъ изобразилъ душевное состояніе двухъ храбрецовъ и ту едва замѣтную подозрительность, которая родилась у французомъ инстинктивно, вслѣдствіе, быть можетъ, едва уловимой игры физиономій пришельцевъ, чуть слышанной вибраціи голоса. Эта подозрительность сказалась въ тихомъ шепотѣ и въ упорныхъ взглядахъ, обращенныхъ на нашихъ партизановъ.

Авторъ рассказываетъ далѣе возвращеніе Пети Ростова къ отряду Денисова, в ночь, проведенную имъ наканунѣ сраженія. Ростовъ заснулъ, убаюканный молодыми силами юности, полными безотчетливыхъ стремленій. Наконецъ, разсвѣло... (Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Быстро, въ полутьмѣ, разобрали лошадей, подтянули подпруги и разбрелись по командамъ“. И кончающаяся: „Денисовъ, съ мрачнымъ лицомъ, снявъ панаму, шелъ позади казаковъ, нестихъ къ вырытой въ сѣнѣ тѣло Пети Ростова“). Читая описаніе набѣга Денисова, невольно припоминаются слова мужика Тихона: „ахнете, всѣхъ возьмете“. Дѣйствительно, только при тогдашнемъ, крайне разстроенномъ состояніи французскихъ войскъ подобныя набѣги были возможны. Лишенные кавалеріи, исчезавшей отъ не-

достатка фуража, они не знали, что дѣлается во ста шагахъ отъ ихъ бивуаковъ, и каждую минуту ожидали нападенія неувидимаго непріятеля. „Les brigands sont partout“, говорилъ французъ. Это напряженное состояніе, конечно, весьма вредно дѣйствовало на войско, да къ тому-же сюда присоединился крайній недостатокъ въ продовольствіи, такъ что многія части, въ продолженіи цѣлыхъ подѣлъ, ничего не видали, кромѣ крупы и конины; для того, чтобы достать клочъ соломы или фуража, необходимо было посылать пѣхотныя войска, потому что кавалерія была почти уничтожена, да и пѣхоту приходилось снабжать артиллеріею и каждую минуту готовиться къ бою съ партизанами и осирѣтѣвшимъ населеніемъ. Впрочемъ, описаніе графа Толстого такъ рельефно высказываетъ состояніе французскихъ войскъ, что мы не находимъ нужнымъ прибавлять что-либо къ его разсказу.

Перейдемъ къ описанію другой бивуачной картины, въ которой авторъ подмѣчаетъ манеру и языкъ нашего солдата, и обрисовываетъ его прекрасныя качества. Разсказъ касается того періода времени, когда наши войска преслѣдуютъ непріятеля на пути отъ Смоленска... (Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „8-го ноября, въ послѣдній день красненскихъ сраженій, уже сморклось, когда войска приняли на мѣсто ночлега...“ И кончающаяся: „То вспыхивая, то потухая, то вздрагивая, онѣ хлопотливо о чемъ-то радостномъ, но таинственномъ, перешептывались между собою“.

Изъ „Военнаго Сборника“ 1870 г.

* * *

*) Шестымъ томомъ графъ Толстой окончилъ свой романъ. Замѣчательна судьба этого даровитаго произведенія. Уже послѣ первыхъ трехъ, четырехъ томовъ, „Войны и Мира“ многіе чувствовали, что романъ принимаетъ обширно и даже утомительныя размѣры, и что видимо приня-

*) „Биржевыя Вѣдомости“ 1870 г., № 149. „Война и Миръ. Сочиненіе графа Л. П. Толстого. Томъ шестой. Москва 1869 г.“.

тый авторомъ планъ прослѣдить отъ начала до конца судьбу каждаго изъ своихъ героевъ общаетъ еще цѣлый рядъ томовъ. Были даже положительныя завѣренія, что будетъ не менѣе семи томовъ, и можно было этому исполнѣ повѣрить. Неподражаемое умѣніе автора характеризовать самыми мелкими оттѣнками оригинальную самобытность каждой выводимой имъ личности, его мастерство въ срисовкѣ картинъ съ натуры — могли служить ручательствомъ, что художественный талантъ, въ соединеніи съ изумительно тонкимъ психологическимъ анализомъ, откроютъ ему въ его герояхъ множество новыхъ сторонъ характера, новыхъ житейскихъ положеній, типически воспроизводящихъ общую нравственную и художественную идею. Особенно можно было ожидать этого въ женскихъ личностяхъ: Наташѣ Ростовой, княжнѣ Болконской, сиротѣ Сонѣ, на которыхъ съ особенною любовію останавливался взглядъ автора, и которыя притомъ же вступили теперь въ пору цвѣтущей молодости и новыхъ ощущеній, совершенно отличныхъ отъ прежняго душевнаго міра ихъ.

Кромѣ личныхъ характеровъ, художественное изученіе автора, видимо для всѣхъ, съ замѣчательною энергіею было направлено на характеръ всего народа, вся нравственная сила котораго сосредоточилась въ войскѣ, боровшемся съ великимъ Наполеономъ. Въ этомъ смыслѣ романъ графа Толстого можно было въ нѣкоторомъ отношеніи считать эпопеею великой и народной войны, имѣющею своихъ историковъ, но далеко не имѣвшею своего пѣвца. Гдѣ слава, тамъ и сила. Въ славномъ походѣ грековъ на Трою, воспѣтомъ неизвѣстными пѣвцами, чувствуемъ роковую силу, дающую всему движенію и чрезъ духъ художника вносящую неизъяснимое наслажденіе въ нашъ духъ, — духъ потомковъ, тысячелѣтіями отдѣленныхъ отъ самаго событія. Много совершенно подобныхъ ощущеній даетъ авторъ „Войны и Мира“ въ эпопее 12 года, выдвигая предъ нами возвышенно простые характеры и такую величавость общихъ образовъ, за которою чувствуется неизслѣдимая глубина силы, способной къ невѣроятнымъ подвигамъ. Многими

блестящими страницами своего труда авторъ обнаружилъ въ себѣ всѣ необходимыя качества для истиннаго эпоса. Мы находимъ, кромѣ того, ясно самымъ романистомъ высказанные намеки, что свой романъ онъ, дѣйствительно, ставитъ на совершенно эпическое основаніе. Присутствіе роковой силы во всѣхъ дѣйствіяхъ Наполеона, воображавшаго, напротивъ, что „Россія увлечена своимъ рокомъ“, — роковое предопредѣленіе, сказывающееся во всѣхъ отдѣльных эпизодахъ борьбы, когда дѣйствительныя событія совершались, вопреки всѣмъ преднамѣреннымъ расчетамъ и соображеніямъ, — таково постоянное впечатлѣніе при чтеніи романа. Авторъ, видимо, съ намѣреніемъ производитъ его, и старается оставлять подъ нимъ читателя на возможно болѣе продолжительное время. Во второй половинѣ шестого тома, графъ Толстой даже говоритъ объ особенномъ смыслѣ всего событія — непостижимо роковомъ движеніи цѣлыхъ массъ сперва съ запада на востокъ, потомъ съ востока на западъ. Въ такомъ оснѣженіи 12-й годъ — эпоха русской отечественной славы — является уже однимъ изъ тѣхъ актовъ въ жизни всего человѣчества, которыми неневѣстная сила осуществляетъ общіе, непреложные законы, дѣйствіе коихъ постигается нами только въ особенно яркихъ явленіяхъ, и то уже долго послѣ совершенія самого событія. Идея „необходимости“, которую, впрочемъ, напрасно авторъ изображаетъ, какъ нѣчто большее, чѣмъ простое формальное выраженіе отношеній между явленіями, противопоставляется имъ „вмѣшательству божества“, столь обыкновенному у древнихъ; но, по нашему мнѣнію, заслуга автора въ томъ и состоитъ, что его „необходимость“ имѣла въ себѣ всѣ признаки провиденціальнаго вмѣшательства въ исторію, и совершенно покрывается принятымъ представленіемъ о вліяніи въ исторіи абсолютнаго, или что то же божественнаго принципа. Ставя русскаго читателя на эту высшую точку зрѣнія относительно русскаго народа въ отечественную войну, авторъ представляетъ ему весь народъ, какъ цѣльную глыбу нравственныхъ силъ, — какъ безмѣрно одаренное лицо, на челѣ котораго провидѣніе от-

мѣтило печать высшаго призванія, — и въ этомъ вѣщавственной высоты взялся авторъ провести своего героя — народъ чрезъ весь романъ.

Одинъ изъ самыхъ яркихъ признаковъ дарованія, можетъ быть тотъ, что оно всегда возбуждаетъ особыя ожиданія, — даже болѣе, чѣмъ оно выполнитъ. Художественныя таланты и художники-геніи раздѣляютъ въ этомъ отношеніи судьбы всѣхъ великихъ дарованій. Геніальный Наполеонъ нанесъ наконецъ, своего Александра, — геніальный Ньютонъ съ тверди небесной спустился, наконецъ, въ темныя тайны апокалипсиса. Гоголь, послѣ перваго же тома „Мертвыхъ Душъ“ былъ признанъ Гомеромъ — эпикомъ русскаго быта, — вся Русь, такъ сказать, замѣла въ ожиданіи великаго художническаго слова, — самъ художникъ встревожился намѣреніемъ произвести великое, дивное созданіе, — и разрѣшился лишь — переннскою съ друзьями. Мы не хотимъ по вѣрять подобныхъ параллелей на романъ графа Толстого но не можемъ скрыть, по поводу послѣдняго, шестого тома что такія сравненія поневолѣ приходятъ въ голову. Великое начало — малый конецъ; это, впрочемъ, общая судьба всего истинно живущаго, для котораго и малое и великое равно малы, и равно велики.

Когда поставлены были такія сложныя задачи, какъ психологическій анализъ нѣсколькихъ отдѣльных типическихъ личностей, и, съ другой стороны — физиологическій, или, если хотите, математическій анализъ высшаго напряженія жизни въ цѣломъ народѣ, — естественно было ожидать, что романъ будетъ обширенъ по размѣру, но что, впрочемъ, самая обширность не будеть въ ущербъ занимательности содержанія. Въ послѣднемъ томѣ романа найдется не одно подтвержденіе для тѣхъ критиковъ, которые дѣлили романъ на двѣ, совершенно отличныя по занимательности части, — на художественныя картины и на историко-философскія разсужденія. Никто не отрицалъ, что и въ разсужденіяхъ своихъ графъ Толстой даровитъ и самобытонъ, что онъ смѣло ставитъ и посылно рѣшаетъ самые запутанные философскіе вопросы, что онъ освѣщаетъ предметъ совершенъ

но съ новыхъ сторонъ и непредвидѣнныхъ точекъ зрѣнія, что, наконецъ, иногда, какъ истинный художникъ-философъ, онъ нѣсколькими штрихами ставитъ насъ лицомъ къ лицу съ самою глубиною и сущностію вопроса. Но многимъ, и, повидному, совершенно справедливо, казалось, что въ романѣ не должно быть мѣста личнымъ разсужденіямъ автора о первѣнственныхъ историческихъ проблемахъ. Имѣя неограниченное право распоряжаться художественными инстинктами читателей и чаровать и приковывать ихъ вниманію къ идеямъ, осуществленнымъ въ художественныхъ образахъ, авторъ вовсе не къ мѣсту ищетъ сторонниковъ для своихъ теоретическихъ позрѣній. Какой пророкъ станетъ говорить не отъ лица высшей силы и языкомъ торговекъ? Какой чародѣй сталъ-бы изумленному зрителю излагать теорію ручного проворства и вовсе не волшебнаго физическаго закона? Многіе сочтутъ себя въ правѣ спросить: умѣстно-ли было и графу Толстому почти треть послѣдняго тома наполнить изложеніемъ своихъ взглядовъ и своихъ теорій объ отношеніи исторической необходимости къ личной свободѣ людей. Допустимъ даже, что авторъ хотѣлъ сдѣлать понятными отдѣльныя части своего изложенія,—хотѣлъ оправдать оригинальность нѣкоторыхъ своихъ картинъ,—или дать намъ отдѣльныя пити, изъ которыхъ сожана общая канва и узоръ романа. Но и въ такомъ случаѣ (хоть можно доказать, что и такая цѣль не достигнута авторомъ) едва-ли должно было задаваться самою тою цѣлію, нарушая самымъ непріятнымъ образомъ непосредственность художественнаго впечатлѣнія.

Ошибаются романисты, полагающіе, что ихъ идеи получаютъ болѣе убѣдительности въ формѣ дидактической, оказывающей. Кантъ говаривалъ, что его всегда коробитъ при видѣ проповѣдника, который даетъ ясно чувствовать, что онъ хочетъ въ чемъ-то убѣдить самый умъ слушателей, увлечь разсудокъ логикою и неопредѣленностію рациональныхъ доказательствъ. Кантъ былъ правъ въ томъ мнѣніи, что проповѣдникъ долженъ не доказывать, но излагать,—не спорить съ умомъ человека, а, такъ сказать,

Графъ Толстой въ своемъ романѣ рѣшительно вооружился противъ принятыхъ мифовъ о томъ вліяніи на событія, какоеистики приписывали генію Наполеона, личнымъ взглядамъ, планамъ и распоряженіямъ участниковъ войны или даже слѣбнымъ силамъ природы—морозу, голоду и т. п. Вы видите людей и не видите—народъ, человечество. Вы видите походы, марши, бѣгство и погоню,—а рѣшительно не замѣчаете великаго движенія мировыхъ силъ, достигшихъ въ данную минуту крайняго развитія, и ринувшихся на взаимное разрушеніе. Вы видите случаи, и не замѣчаете необходимости,—разбираете планы и диспозиціи, и не предчувствуете, что все это соръ, шелуха, которую нужно выбросить за бортъ, въ виду особенныхъ предопредѣлений, исполнившихся до послѣдней мелочи, независимо отъ воли дѣйствующихъ лицъ. Военный гонимъ, остроуміе, соображенія, неопровержимость тактическихъ аксіомъ—все это ничтожно предъ роковою силою событія, нашедшее свое выраженіе только въ томъ духѣ массъ, той неизвѣстной нравственной волнѣ, которую мы видимъ, чувствуемъ въ каждомъ моментѣ событія, и которой дивимся и покланяемся въ послѣднемъ русскомъ мужикѣ. „Выигранное сраженіе, иронически замѣчаетъ графъ Толстой, не принесло обычныхъ результатовъ, потому что мужики Карпъ и Вася, которые послѣ выступленія французовъ пріѣхали въ Москву съ подводами грабить городъ, и вообще не выказывали лично геройскихъ чувствъ, и все безчисленное количество такихъ мужиковъ не везли съна въ Москву за хорошія доньги, которыя имъ предлагали, а жгли его“. Художникъ занялъ такимъ образомъ возвышенный пунктъ относительно истинности историческихъ изысканій и самодовольной кропотливости военной науки. Идея превосходная, величавостію соответствующая великимъ событіямъ и благодарная для истинно художническаго таланта.

Изъ „Биржевыхъ Вѣдомостей“ 1870 г.

Въ продажѣ находятся слѣдующіе сборники критическихъ статей, изданные В. Зелинскимъ:

Собраніе критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева. Два выпуска. Изд. 2-о. М. 1895 г. Ц. по 2 рубля за выпускъ.--Прибавленіе къ „Собранію критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева“.—Цѣна 80 к.

Критическій комментарий къ сочиненіямъ Ф. М. Достоевскаго. Сборникъ критическихъ статей. Три части и прибавленію. Изд. 2-е. М. 1894 г. Ц. 3 р. 50 к.

Сборникъ критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ. Три части. М. 1886—1887 г. Ц. 3 р. (Каждая часть отдѣльно по 1 р.).

Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Четыре части. Ц. 4 р. (Каждая часть отдѣльно по 1 р.).

Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Пять частей. Ц. 5 р.

Русская критическая литература о произведеніяхъ Н. В. Гоголя. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Три части. Москва. Ц. по 1 р. за часть.

Критическіе разборы романа Тургенева: „Отцы и Дѣти“. Ц. 35 к.

Критическіе разборы романа Достоевскаго: „Братья Карамазовы“. Ц. 50 к.

Критическіе комментарии къ сочиненіямъ А. Н. Островскаго. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Пять частей. Ц. по 1 р. за часть.

Критическіе разборы „Дворянскаго гнѣзда“ и „Наканунъ“ — Тургенева. Перепечатано безъ измѣненій изъ „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева“. М. 1895 г. Ц. 70 к.

Сборникъ критическихъ статей о сочиненіяхъ М. Ю. Лермонтова. Двѣ части. Цѣна 2 р.

еще попутно указываются въ каждомъ словѣ диктанта совѣтательные случаи правописанія съ соответствующими разъясненіями; 3) особеннымъ способомъ печати развиваетъ ороеографическую зоркость и упрѣждаетъ зрительные навѣсы правильного письма; 4) система руководства, будучи основана на новѣйшей методикѣ, предупреждаетъ ошибки, а не заставляетъ учениковъ прежде дѣлать ихъ, а потомъ уже исправлять; 5) даетъ значительную возможность изучать правописаніе самостоятельно, безъ помощи учителя; 6) по этой книгѣ каждый безъ посторонней помощи можетъ проверить себя, насколько онъ грамотно или неграмотно пишетъ; 7) имѣя въ рукахъ это руководство, каждый отецъ, мать, репетиторъ, гувернантка и т. п., не будучи особенными знатоками какъ самой ороеографіи, такъ и методики ея преподаванія, — съ успѣхомъ могутъ руководить и контролировать дѣтей въ занятіяхъ по ороеографіи; 8) почему-либо отстающіе въ школахъ отъ товарищей и вообще неуспѣвающіе въ ороеографіи ученики, съ помощью этого руководства, посредствомъ самостоятельности, легко и скоро приобретаютъ ороеографическія званія и прочіи навыки правильно писать; 9) эта книга весьма пригодна для людей, самостоятельно готовящихся къ какому-либо экзамену, а еще болѣе — для самоучекъ; 10) въ школахъ, гдѣ учителю приходится заниматься одновременно съ двумя — тремя группами, по этой книгѣ весьма удобно назначать той или другой группѣ самостоятельными классными занятіями по русскому языку; 11) при веденіи обученія ороеографіи по этому руководству, проверка ученическихъ тетрадокъ имѣетъ во много разъ легче и скорѣе, чѣмъ при обыкновенномъ способѣ диктовки; 12) эта книга совмѣщаетъ въ себѣ всѣ три способа обученія правописанію, а именно: описываніе съ книги, диктовку и писаніе заученнаго наизусть.

8. Справочный словарь буквы Ъ. Полный списокъ коренныхъ и производныхъ словъ, пишущихся черезъ Ъ. Изд. 3-е. М. 1892 г. Ц. 25 к.

9. Таблицы для письменнаго грамматическаго разбора. № 1. Части рѣчи. № 2. Составъ словъ. № 3. Имя существительное. № 4. Глаголь. Цѣна каждой таблицы — 2 к.

10. Хрестоматія для объяснительнаго чтенія. Дополненіе къ книгѣ: „Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію“. М. 1892 г. Ц. 25 к.

II. Руководства по преподаванію русскаго языка:

11. Методическія указанія и образцовые уроки по преподаванію русской элементарной грамматики. Сводъ методическихъ разъясненій и примѣрныхъ грамматическихъ уроковъ, разработанныхъ извѣстными русскими педагогами. М. 1891 г. Ц. 1 р.

12. Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію, разраб. извѣстными русскими педагогами. М. 1891 г. Ц. 1 р.

13. Обученіе грамотѣ по звуковому способу. Сборникъ методическихъ разъясненій, указаній, приѣмовъ и примѣрныхъ уроковъ по обученію грамотѣ, разработанныхъ извѣстными педагогами. М. 1893 г. Ц. 1 р.

III. Пособія по исторіи русской литературы:

14. Собраніе критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній І. С. Тургенева. Два выпуска. Изд. 2-е. М. 1895 г. Ц. по 2 рубля за выпускъ. — Прибавленіе къ „Собранію критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній І. С. Тургенева“. — Цѣна 80 к.

15. Критическій комментарий къ сочиненіямъ Ф. М. Достоевскаго. Сборникъ критическихъ статей. Три части и прибавленіе. Изд. 2-е. І. 1894 г. Ц. 3 р. 50 к.

16. Сборникъ критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ. Три части. М. 1886—1887 г. Ц. 3 р. (Каждая часть отдѣльно по 1 р.).

17. Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Четыре части. М. 1887—97 г. Цѣна 4 р.

18. Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Пять частей. М. Цѣна 5 р.

19. Русская критическая литература о произведеніяхъ Н. В. Гоголя. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Три части. Москва. Цѣна по 1 р. за часть.

20. Критическіе разборы романа Тургенева: „Отцы и Дѣти“. Ц. 35 к.

21. Критическіе разборы романа Достоевскаго: „Братья Карамазовы“. Цѣна 50 к.

22. Критическіе комментаріи къ сочиненіямъ А. Н. Островскаго. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Пять частей. Цѣна по 1 р. за часть.

23. Критическіе разборы „Дворянскаго гнѣзда“ и „Наканунъ“ Тургенева. Перепечатано безъ измѣненій изъ „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній Н. С. Тургенева“. М. 1895 г. Ц. 70 к.

24. Сборникъ критическихъ статей о сочиненіяхъ М. Ю. Лермонтова. 2 части. (Каждая часть отдѣльно по 1 руб.).

IV. Серія разныхъ книжекъ:

25. Китайскія сказки. Переводъ съ французскаго, подъ редакціей В. Зелинскаго. Ц. 10 к.

26. Храмъ Христа Спасителя въ Москвѣ. Изд. 2-е. Ц. 10 к.

27. Bibliothèque d'enfants. Сборникъ историческихъ разсказовъ на французскомъ языкѣ, съ подстрочнымъ словаремъ, для вѣкового класснаго упражненія дѣтей во французскомъ языкѣ. № 1 (Louis XVII, Prascovie, Jeanne D'Arc). Ц. 10 к.

28. Мурадъ-Неудачникъ. Переводъ съ англійскаго. Повѣсть изъ Восточной жизни для дѣтей старшаго возраста. Ц. 10 к.

Складъ изданій В. А. ЗЕЛИНСКАГО: Москва, Патриаршіе пруды, домъ Мозмухина.

Выписывающіе изъ склада прилагаютъ на пересылку 20 к. на каждый рубль стоимости книгъ. За маломѣрный платежъ 10 к. Небольшія суммы можно присылать почтовыми марками въ заказныхъ письмахъ.

Черезъ посредство склада изданій В. Зелинскаго можно выписывать всякія книги.

2399



The KALMBACHER
BOOKBINDING CO.
CERTIFIED
LIBRARY BINDERY
TOLEDO, OHIO

